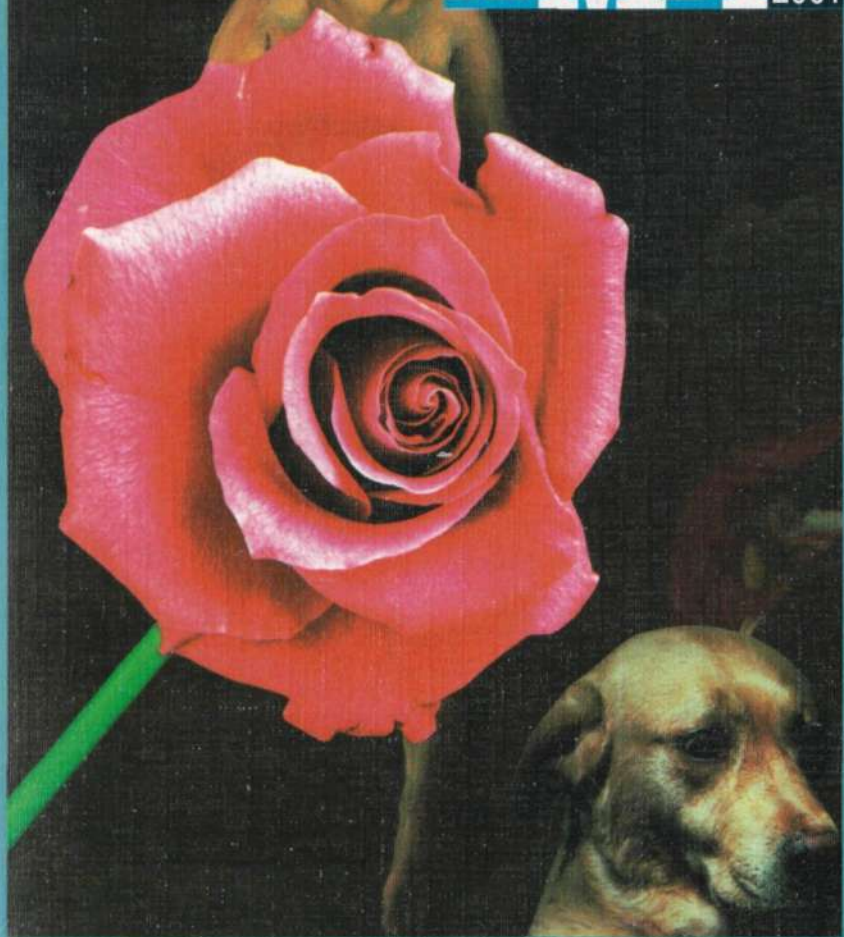


**ВРЕМЯ  
ИМЫ** 151  
2001



**ЮРИЙ СОЛНЦЕВ  
ПЕРЕУЛОК ЖИЛЬЦОВ**

# **ВРЕМЯ** ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

# **и МЫ**

ИЗДАЕТСЯ С 1975 ГОДА

---

Выходит один раз  
в три месяца

**151**  
**2001**

МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК  
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯ И МЫ

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ЖУРНАЛА  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

<b>ВАГРИЧ БАХЧАНЯН</b>	<b>ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ</b>
<b>ДМИТРИЙ БЫКОВ</b>	<b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>
(зам. гл. редактора)	<b>ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН</b>
<b>ДЖОН ГЛЭД</b>	<b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>
<b>ВЛАДИМИР ДОБИН</b>	<b>МОРИС ФРИДБЕРГ</b>
<b>ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ</b>	<b>ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ</b>
<b>ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ</b>	

*ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»*  
409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 0760S, USA  
Tel 201 592-61-55

*Московское отделение журнала «Время и мы»*  
Москва-Санкт-Петербург  
115598 Москва, Лебедянская ул., корп. 1, кв. 271  
Тел.: (095) 329-27-64

*Французское отделение журнала «Время и мы»*  
Париж-Гренобль-Ницца  
Адрес: Rue Nasionale 127, Paris 75013  
Тел.: 458-505-51  
Заведующий отделением Борис Носик

*По вопросам приобретения журналов обращаться:*  
ООО издательство «Хроно пресс»  
121099, Москва, а/я 880  
Тел.: (095) 978-89-39, 978-49-16, 112-10-89

OCR и вычитка - Давид Титиевский, ноябрь 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**СОДЕРЖАНИЕ**

<i>ПРОЗА</i>	
Юрий СОЛНЦЕВ	
Переулок жильцов.....	5
Виктория ПЛАТОВА	
Склад.....	69
<i>ПОЭЗИЯ</i>	
Валерий ВЫСОЦКИЙ	
Мираж.....	95
Лада НЕГРУЛЬ	
Сиреневый мотив.....	103
Владимир ДОБИН	
Будем верить.....	111
<i>ВЛАСТЬ И НАРОД</i>	
Владимир ШЛЯПЕНТОХ	
Советские лидеры разглядывают Путина с того света... 117	
Андрей НУЙКИН	
Олигархи.....	126
Анна ГЕРТ	
Нестяжатели.....	143
<i>СОВРЕМЕННЫЙ МИР</i>	
Виктор ПЕРЕЛЬМАН	
Американский оптимизм и вашингтонские бунтовщики .. 156	
Лев НАВРОЗОВ	
Парадокс 21 века.....	168
<i>ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО</i>	
Виктор ЛЕВЕНШТЕЙН	
День в приемной Федеральной Службы Безопасности... 190	
<i>ГОЛОСА «РУССКОГО СОВРЕМЕННОГО»</i>	
Г.БЛОК	
Герои «Возмездия».....	236
Евгений ЗАМЯТИН	
Воспоминания о Блоке.....	253
В.Ж.	
Прощеное воскресение в доме Распутина.....	263
<i>ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»</i>	
В.БОРИСОВ	
Каким видел мир Александр Родченко?.....	297



Юрий СОЛНЦЕВ

## ПЕРЕУЛОК ЖИЛЬЦОВ

1

Я живу в городе, где никто не живет. Чужие окна не смотрят в мое окно, далекие, как деревья другой стороны реки. Дома чужды друг другу, меж ними то улица, то пустырь — клочок «ничейной» земли.

Да мне и не интересно засматриваться в чужие окна, старость. Слух теряю и зрение. Я столько уже потерял в жизни и продолжаю терять! Не знаю — сколько, не жажду знать. Доктор знает. Он приезжает на дом раз в неделю, домашний врач. Я здоров, раз он не прописывает лекарств и не сказал ни разу мне о моей болезни, только вздыхает загадочно.

А они высказываются прямо, дети, внуки. «Проживешь» до ста говорят в лицо, а за стеной говорят «протянет». Слышу все, не прикидываюсь глухим. Это они говорят: «глухарь», тешат себя. Думают тут не слышно, раз нет каменного двора, где каждый звук прыгает мячиком, катится по водосточным трубам, забегая к соседям «...тише, граждане, тише...» Они и галдят вволю, хозяйева, как звери в лесу. Общаются, будто скандалят. Сплошной белый шум, не слышу, не разобрать всю эту их немоту. Я и не слушаю, жду. Чего? Да так себе, жду, пожду. Когда немые заговорят.

## 2

Они говорят: здесь — город. Чушь! Нет городов без улиц, а улиц без людей. Автомобили, автомобили, шумно, как в бане. Не выхожу на улицу. Мне наказывают: не выходи, попадешь под машину! Я не боюсь машин, да неловко по колее брести, где ты один, ни лошадей, ни повозок. Машин у меня нет, не полагается по не молодости. Я не вливаюсь в поток улицы, не разделяю вечное их туда-сюда, не обгоняю и не мешаю тем, что сзади да спереди. Не тороплюсь утром и не спешу назад вечером. Логичен и обстоятелен. Не ем второпях «быструю пищу», я не глотаю, а пережевываю тишь вечеров и усеченность ветхих дней.

Я целый день в доме. Жара вредна моему сердцу. Утром, пока солнце не высоко, я выхожу в сад — кусты да грядки ухоженные, теннисный стол. Я не играю в теннис, давно не ухаживаю за грядками. Бреду вытоптанной тропой к железным воротам, за которыми — улица. Я не иду за ворота, я в тапочках.

К воротам ведет дорожка примятой, шинами выезженной травы. Ее трамбуют автомобили, утром — туда и обратно — вечером. Я стою у калитки, дежурю почетным стражем. Со двора вылетает машина, за нею гонится пыльный вихрь, разбуженный и взлохмаченный, а за ним — с лаем пес. Мчится и замирает как вкопанный перед самой дорогой, упираясь лапами в землю. Трава отряхивается вслед и прямится ванькой-встанькой, недоуменно таращится, стряхивая песок сухими слезинками.

Впрочем... и это всего лишь картина, мазок из прошлого. Пес не гонится, он такой старый, совершенно как я, по его собачьему возрасту. Когда-то гонялся за машинами, прыгал выше меня. Нарезвился. Он по-прежнему провожает утром машины, не — вприпрыжку, едва успевает доковылять, пока не осела пыль. Она, пыль, медлительна, о ней-то не скажешь «старая» или наоборот, «молодая», она обстоятельно оседает на пса, на меня, на дорожку сада и на другую пыль вокруг. Я дожидаясь, пока воздух станет прозрачным, отряхиваюсь. И пес как по команде взвихряет шерсть, поворачивается и ковыляет вглубь сада.

— Дэд! — зову я его. У него кличка такая «Дэд», что по-английски примерно значит «папаша». Его окрестили так в честь меня. Я не глава семьи, но «отец» этого дома, нечто

почетное — британская королева при их же парламенте. Дэд понимает это. Он поворачивается на мой зов, смотрит в глаза, не моргая, и ковыляет дальше. Там, в глубине сада его конура — убежище от дождя и солнца. Он забирается весь в конуру и лежит, пока не захочет есть, не видно его и не слышно. Я стою у ворот и вижу его повернутую ко мне морду, и эти глаза... так прямо и говорят: «Ты не любишь меня!»

Они не спрашивают — за что?

Я закрываю ворота... автоматические ворота, закрываются сами, жму просто на кнопку и «шлепаю» через двор обратно в дом. Некуда мне больше идти. Может — и есть, может, зовет кто, да я не внимаю. Такой весь из себя... жилец в шлепанцах.

## 3

В моей в комнате два окна: одно — на улицу, и одно — телевизор. Два окна на дорогу жизни. Окно, что на улицу перед домом, кажется мне живее. Машины летят рядами: налево, направо, налево, направо. А если глядеть вверх, виден напротив дом с фасадом: крыльцо, окно в полную стену — стеклянный модерн, под ним забор собачьего роста. Окно в гостиную, в доме женщина, слоняется одна-одиношенька. Иногда раздевается и опять ходит. Потом еще раздевается. На окне есть шторы, но она их не задергивает. Дом стоит не совсем у дороги, отодвинут как бы, глубинки видимость. У этой женщины красивое тело, но меня оно уже не волнует. И красота не волнует, вижу плохо, читать тяжело, не помогают очки. Хотя не так, очки сильные, Бог в помощь, и вижу текст, а он не читается. Начитался, всему приходит конец.

Не конец мне еще, но что-то приходит, а я ухожу. На меня смотрят, будто меня здесь нет, вышел будто за дверь, попрощаться запомнил, чем-то их всех обидел. Они так подчеркивают мою воспетую старость. Все о здоровье спрашивают, о погоде рассказывают, а вещи берут без спроса. Делаю вид, что не заметил. Есть вещи, что мне уже не нужны. Они, жильцы, так думают, все — одинаково. Мой сын в их числе, взрослый порядочно, даже не молодой, скоро на пенсию. И внуки, и правнуки. Не знаю даже, сколько их тут

проживает. Кто в гости заходит, а кто — жилец. Приходят в дом, не ко мне. И я — часть дома, но очень отдельная, флигель, пристройка. Психологический откол. Хотя все делают вид, общность изображают, взрослые — неподдельно поддельно, дети — естественно.

Особенно — этот мальчик, мой запоздалый внук. Заглядывает ко мне в комнату, присматривается. «Ну, ты сегодня в порядке», — решает он. Садится за мой письменный стол и рисует моей авторучкой. Последняя в целом доме авторучка с пером. Быть может, и — в целом городе. Давно не пользуюсь, но заправляю исправно. Все больше вещей, которыми я не пользуюсь. Ковбойская шляпа и такой же костюм с множеством кисточек. Когда-то выиграл по случаю. Была веселая лотерея с клоунами и танцами, выиграл костюм и желтые сапоги, а еще шляпу — истинный «стэт-сон». И весело наряжался на разные праздники, танцевал с красивыми женщинами. Когда это было?! Костюм и шляпа пылятся в шкафу. Одеть-то уж ни к чему, но чищу, вещь должна быть в порядке. И сапоги гуталином смазываю, как музейную пушку.

Еще у меня есть форма, матросская, память о боевой юности. Да, «боевой», не шутка. Скажешь им — усмеются, а это — жесткая правда. И ухмылки их жесткие, как лопнувший взрыв, когда зажмуриваешься и припадаешь к земле. И я с ними не говорю о войне, о жизни. Нельзя говорить людям о том, чего люди эти нюхом не нюхали. Не говорю, и они думают, что это маразм. Таким звонким словом они это зовут.

От нечего говорить пишу письма авторучкой с пером. Пишу, а потом рву. Письма не получают, да и писать особенно некому. Пока отправишь, нет уже адресата. То ли помер, то ли ушел, отстранился и поменял адрес. Или наоборот: удалился ты, а они остались, не помнят такого дядю. Пишу, слушаю скрип пера, тихий, вежливый. Слышу еще и вижу. Вижу неважно и, потому беру часто в руки бинокль, мой старый, морской. Служил на торпедном катере, мне полагался бинокль.

Торпедный катер — это ковчег, который тонет раньше других. Он самый опасный, и по нему бьют в первую очередь. Он скорый, летит на смертельный огонь, как быстрокрылая бабочка. Лежишь, приглядываешься к огню, что догоняет

тебя навстречу, считаешь взрывы. Пускаешь торпеду, разворачиваешься, уходишь, так далеко, как успеешь.

Я вот успел, так далеко, что не видно. Глазую через окно в бинокль. Автомобильчики мельтешат, не углядишь, а дом напротив, будто рисованный: веточки под окном дрожат, хотя никакого ветра, и белка, большущая, уставится на меня, сожмется и прыг в кусты! А муравьи проползают зигзагами, тропкой. Я заносу в «журнал вахтенный» моей памяти муравьев, белок, енотов... Наизучаю животный мир, переключаюсь на гомосапиенс.

Нацеливаю бинокль в окно. За ним — женщина. Я знаю всю ее жизнь, а имя не знаю. Из кухни — в комнату, из комнаты — в кухню, вот и вся жизнь. Иногда женщина останавливается и смотрит в мою сторону. Она не видит, конечно, меня с биноклем, прячущегося в глубинах комнаты. Женщина совершенно не прячется — не от кого. Она, видно, совсем одинока, иначе, зачем бы ей раздеваться, стоя перед большим зеркалом. Разденется и разглядывает себя. Изучает, что пи? Может быть, ее тело рассказывает о многом: жизнь пройденную показывает, картинки из будущего. Женщина молодая, лет пятидесяти, может — меньше. Мне люди моложе кажутся. Чувство возраста покидает меня. Все уходит, радости, мысли, будто собака, чую смерть хозяйина, убегает, повизгивая. Остаешься один, в лесу, на пеньке, и не с кем поговорить перед смертью. И перед жизнью поговорить не с кем.

Я бы поговорил с этой женщиной, зашел бы к ней, побеседовал. В звонок позвонил, представился... Нет, постучал бы в окно, отвернувшись из вежливости. Она бы меня впустила. Человек человека видит. Ты человек, если у тебя есть, что сказать другому, а не потому, что у тебя — дом и счет в банке. И — если ты не боишься раздеться на людях, душу то есть раздеть. Миллиарды людей на земле не понимают друг друга. Хочется выйти в космос, снять с себя все это и тихо поговорить с женщиной через дорогу. А дорогу не перейти, не знаю где светофор. Может, его и нет на целой улице, а есть где-то в конце, на окончательном перекрестке всего. Надо его найти, светофор, переход, переезд, что там еще? Перебежать, перейти, перепрыгнуть... Выйти в космос и обнародоваться.

Что это, страх замкнутого пространства? Навязчивая идея.

## 4

Надоедает глазеть в окно, сажусь к телевизору. Тоже одно и то же. Много женщин, стрельбы. Мы играем в войну по-правдышному. То в кино, то на улицах. В кино, понятно, красивее. Особенно в старых фильмах. Любовь к старым фильмам, видно, и есть старость, добротная фирма с вековой репутацией. В старых фильмах лица преступников человечнее, проще. Они мне ближе, гангстеры и ковбои былых вестернов.

Я говорю им об этом все время. Не — гангстерам, а моим, домашним. Зря говорю, они так мне и отвечают, что — зря. Они имеют в виду, что я зря живу и вообще — зря. Усмеются — могу говорить что угодно, они не обидятся. Я и не вижу их обид, уставился в телевизор, и пусто вокруг. Своя комната, свой экран, независимая республика. Еду мне, правда, готовят, да я почти и не ем. Невестка приносит поднос, потом уносит, справляется, не надо ли мне чего?

Мне ничего не надо, так ей и говорю. Заметно, что обижается, но я делаю вид, что оно не заметно. Сижу, вперившись в телевизор. Невежливым лучше слыть да выжившим из ума, тогда совсем оставят в покое, с экраном наедине. Когда не водишь машину, и на улице нет тротуаров, остается смотреть. Как в открытом море: кругом никого, а ты оглядываешь. И море, оно совершенно одно во все стороны. Море — не комната. В комнате — и телевизор, и окно, какая есть никакая альтернатива, тусовка автомобилей, гудки... В доме есть люди. На море были «чины», а здесь все запросто. Там люди делились по званию, здесь — по возрасту: старший по возрасту — младший по званию. Я — приблизительно юнга. Старший здесь мальчик среднего возраста, лет десяти, ему позволено все. Вчера приходит и говорит:

— Дедок, где твоя трость? — Он это походя спрашивает, безотносительно к делу. Шкаф открывает, знает, где ее взять.

На днях он унес в сад хрустальную вазочку, очень, должно быть, ценную, наполнил ее земляными червями и спрятал. Был выходной день, родня в сборе, крику не оберешься. «Ах ты, негодник... да как ты мог?!..» Он слушал с достоинством, пока все не наговорились. Тогда он заплакал, сходил в сад и принес их вазу. Червей он вытряхнул на обеденный стол. Опять все закричали, моя невестка

прямо взвыла от возмущения. Они грозились его наказать, без чего-то оставить, не оставили, как всегда. Манера такая, или культура — не держать слова. Культура презренных. Культура быть презируемым.

— Зачем тебе трость? — Я беседую с мальчиком.

— Я буду играть в адмирала Нельсона. Он бил тростью матросов.

— С чего ты взял?

— Сам рассказывал, что, не помнишь?

— Я служил на маленьком корабле и не в Англии, у нас не было адмирала.

— Матросы били друг друга.

— Это другое дело.

— Да, — соглашается он, — это другое дело. А трость будет моя. Когда умрешь.

— Ты хочешь, чтобы я умер?

— Мне все равно, я хочу трость.

— Ну, и бери.

— Значит она моя?

— Твоя.

— Смотри, не забудь, ты дал слово.

Он убегает, а я опять смотрю на экран, как в колодец без дна. Идет сериал «Смерть на дороге», идет месяцами, он бессмертен. Время уходит в действие. Жизнь тусуется на переплетах шоссе, на скоростных перегонах, не позволяет уснуть. В десять заканчивается сериал, в одиннадцать выключается телевизор. Программы идут всю ночь, но телевизор отключается автоматом. Иначе могу просидеть до утра. Так мыслят мои потомки в лице невестки и сына. Невестка, впрочем, со мной обращается хорошо: приносит пищу, подарки на день рождения и на праздники. Вечерами она заходит ко мне в комнату.

— Как поживаете? — Ставит на стол поднос с едой, улыбается, оправляет сединки волос.

— А еще есть? — Я доедаю.

— Хотите еще?

— Не хочу, спасибо. На завтра есть?

— Есть. На завтра, на послезавтра...

— Да, да, я помню.

— Что?

— Время.

— Да, девять часов, скоро спать,  
 — Я помню время... нечего было есть. Когда есть нечего, ты об этом думаешь, ни о чем другом.  
 — Бог с вами, какое время?! Мы до такого не доживем.  
 — Значит, у нас все есть?  
 — Выходит так, совершенно все.  
 — А сколько всего есть?  
 Она вздыхает и отбирает пустую тарелку.  
 — Есть. — Она идет к двери с подносом. — На завтра, на послезавтра, на всю оставшуюся...  
 Последний я не слышу, слух-то сдает, просто помню. Услышу рад и долго помню.  
 «И на всю жизнь, на оставшуюся».  
 Сколько еще осталось? Чего и сколько?

## 5

В телевизоре автомат гасит экран в полночь. Через пятнадцать минут другой автомат гасит свет в моей комнате, а я сижу. Я забывал выключать свет, засыпал, а телевизор гремел на весь дом. Тогда мой быт автоматизировали, теперь события чередуются своевременно. Часовой механизм заботится обо мне. Он, правда, не будит меня, если усну в кресле. Никто не будит, домашние раньше ложатся спать, им с солнышком на работу, следить за мной недосуг. Задремлешь в кресле, проснешься и, пока собираешься встать и дойти до постели, опять заснешь. Так что я поздно ложусь в кровать.

И женщина в доме напротив тоже «сова». Ей, видно, не спится от одиночества. Похоже, ночью она играет в дневную жизнь, в ту жизнь, которая не идет к ней днем.

Прежде чем лечь, я иду к окну и смотрю, есть ли свет в доме напротив. Если еще горит, я загружаюсь опять в кресло, посижу, подумаю, поговорю сам с собой. О чем? Нет, не о смерти. Просто мне интересно, что будет потом. Был бы такой бинокль, навел на будущее и все видно. Нет такого бинокля и нет у меня будущего. Хочется заглянуть во что-то. Гнетет ограниченность моего космоса: комната, двор, садик. В огороде я не работаю, тяжело, я вообще уже не тружусь по дому, хожу только да присматриваюсь, где что прохудилось от старости. Похожу и присаживаюсь в беседке. Вижу, отстала досточка, хочу оторвать, чтобы не

отвалилась сама, да нет сип. Подходит мальчик, отталкивает меня, срывает доску, швыряет в дальний конец сада.

— Мой дом, — говорит мальчик.  
 — Это мой дом, твоего дедушки.  
 — Ты умрешь, и дом перейдет ко мне.  
 — Перейдет? Он что, на другой стороне улицы?  
 Мальчик задумывается.

— Бывают перевозные дома, — говорит он.  
 — Значит, их возят, они не ходят.  
 — Тебя тоже возят, а ты можешь ходить.  
 — Могу, но нет тротуара.

— Прикидываешься, дед. Если тебя погнать палкой, победишь как миленький через овраг и через дорогу.

Невестка грустно права: у мальчика есть проблемы, а я с ним не занимаюсь. Хочется насовсем уйти в свою комнату и закрыться, но пересиливаю себя. Если живешь в доме, у тебя есть долг жильца. У меня всегда было чувство долга, кому и за что — не знаю, сквозь всю жизнь. И сейчас оно ведет меня вдоль забора, мимо клумбы и парника, вглубь сада. Здесь любимое место мальчика. Почему он любит играть здесь, не понимаю. Свалка мусора и садового инструмента. И здесь конура любимца общего, Дэда.

А я равнодушен к животному. Невестка приносит ему еду, в восемь утра и — вечера. Она исполнительна и точна. За это, наверное, Дэд ее любит. Она опускает на землю миску, пес лижет ей руку и принимается за еду. Оно дается ему не просто. Стар он уже, и зубы не те, и аппетит, видно, не тот. Погрызет хрящик и отдыхает. Обрато в миску положит, поднимет морду, в глаза мне заглядывает. А когда нет меня здесь, на скамейке, наверное, он глядит в ту же точку, или в другую.

Наведываюсь сюда не часто, когда тоскливо до чертиков, хочется побыть «в обществе». Вот и сейчас шлепаю вдоль забора. Я не крадусь, просто иду, привычка старая двигаться тихо, неслышно. Я огибаю клумбу, парник и останавливаюсь в тени беседки, вижу — мальчик моей тростью «достает» в конуре собаку. Пес рычит, огрызается. Стар он, и злится по-старчески, то огрызнется, а то заскулит. Мальчик не видит меня, а пес замечает, рычит громче. Я выхожу из укрытия, теперь и мальчик видит меня и тычет собаку настырнее. Толкнет и оглянется на меня. Смотрит в глаза,



приоткрыв рот, а из-под верхней губы торчат молодые зубы. Некоторые еще «молочные», выпадут, и на их месте вырастут новые, крепкие и молодые.

Иду, мальчик не отступает, уверен в себе. И я уверен в себе. Трость перехватываю двумя руками. Мальчик не отдает. Он — мальчик, у меня хватает сил. Тяну к себе. Трость у меня в руках, и мальчик плачет: сначала кривится, хнычет, потом заходится в крике:

— Отдай, моя!

Мне иногда кажется, что я ненавижу мальчика. Глупость! Я этому вообще разучился: любить, ненавидеть. Такой внутренний шрам, след войны. Мне надо очень сосредоточиться, сфокусироваться на чем-то, вызвать моего джина зла, чтобы он, джин, мной овладел. Я только делаю вид, что ненавижу трость эту, палку, и силюсь переломить о колено, об угол стола. Переломить нет сил, и нет сил ненавидеть. Мальчик видит мое бессилие и еще громче заходится:

— Отдай, моя! — Он кричит так громко, что, наверное, слышно в соседних домах. В нашем слышно наверняка. Нет сомнений: скоро кто-то появится. Нельзя наводить шум на округу, соседи забеспокоятся, позвонят в полицию...

Слышно, как сын сбегает с крыльца, сердито топает по гравиевой дорожке и появляется перед нами, готовый высказаться. Но он сдерживается, воспитанный мальчик. Он только берет из моих рук трость и переламывает ее об угол стола пополам. Затем берет половину и хочет опять сломать. Фокус не удается. Тогда он кладет полутрость концом на камень, подпрыгивает и наступает на середину. Сочный хруст, и все решено. Он расправляется так же легко со второй половиной, сгребает в охапку (теперь уже дров) и все закидывает в ящик для мусора.

— Вот так, — заключает сын, отряхивая ладошки.

— Моя... — начинает хныкать мальчик, — ты обещал! Ты сказал: моя! — Последнее он относит ко мне.

— Мир будет в этом доме и — точка! Я старый борец за мир! — говорит сын. Мне нравится его юмор. Иногда непонятно: шутит он или нет.

— А я достану и склею! — не унимается мальчик.

— Я тебе склею! Я тебе так склею! — Сын делает угрожающий шаг, мальчик бросается к дому.

Дальнейшее развивается в доме, но нам больше не интересно — мне и Дэду. Пес лежит в конуре, завалившись набок, и тихо рычит. Порычит — успокоится. У него просто нет сил зарычать и оскалить зубы по-настоящему. У него и зубов-то нет, по-хорошему. Открывает пустой рот и дергает мордой, будто подсказывает, и я догадываюсь — что именно, наклоняюсь над мусорным баком, выуживаю осколки былой трости. Пес рычит изо всех сил. Я бросаю осколки на землю, берусь за лопату и рою ямку, не глубокую, хватило бы закопать палочки. Я тороплюсь закончить, пока нет мальчика, а когда заканчиваю, пот льет ручьем по затылку, и вся рубашка промокла и липнет к телу. Надо пойти да сменить, не хватает сил. Опускаюсь на землю, спиной к ящику. Дэд затих и глядит на меня, не моргая.

А я не гляжу на него. Я не люблю его. Не люблю собак, оттуда еще, с войны. Сколько их у меня было?! И ни одной не осталось. Я ими заведовал, разведчиками-овчарками. Они любили меня больше всех. Никто не хотел возиться с собаками, не до них было. Я обучал их коротким премудростям как новобранцев, наскоро, перед боем. Подбрасывал пса на бруствер, кричал: «Ату его!». И он кидался вперед, на минное поле, десять прыжков... одиннадцать... взрыв! Мы прокладывали ходы. Взрыв, и летят клочья. Вперед — собаки, за ними — мы.

Можно любить что-то цельное, невозможно любить клочья. Нельзя подаваться в бой с любовью. Только — с ненавистью. Страх с любовью не ладится, а с ненавистью — как раз. И победить любовью нельзя, враки. Страхом — можно и даже — трусостью. А любовь только мешает лишней тяжестью в вещьмешке. День за днем оставляешь их за собой, друзей и врагов. Впереди — ничего, и — сзади. Усталость и ненависть, ненависть и усталость. Уж полвека прошло, ненависть состарилась и ушла на покой, а усталость...

Не в силах подняться, и они приходят за мной, сын и невестка, помогают встать. Пес уснул, если не притворяется. Мне помогают дойти до комнаты. Чаю я не хочу, три и четыре раза отказываюсь. Меня оставляют в покое. Я лежу, солнце садится. Золотистые лучики ползут по стене и прячутся. Темнота наступает, покоя нет. Что-то шумно сегодня в доме, невестка покрикивает, и мальчик нервничает больше обычного. Заряды нервные перемещаются как белки по

проводам. Перебегают, мелькают молниями. Гром стульев, посуды. «Пойдешь, наконец, в постель?!» — вечерняя проповедь. Мальчик негромко плачет — обязательный ритуал. Вступает голос отца, и мальчик стихает. Он поднимается вверх по лестнице, топая нарочито громко, по коридору, мимо полуоткрытой двери, проходит, затем возвращается.

— Все равно достану! — шепчет он зло, просунув голову в дверь. — Ты обещал, ты мне отдал, ты сказал: моя! Эх, ты, а еще моряк!

— Слушай, — говорю я, — что тебе эта палка, лом, дрова. Дам тебе авторучку, старинную, с золотым пером. Она из такого дерева, которое вечно пахнет...

— Кому нужна твоя ручка?!

— Хочешь, возьми часы, морские, старые?

— Они больше моей руки. Возьму бинокль... — не успевает закончить он и получает затрещину. Голова его исчезает из дверного проема.

— Ты у меня получишь бинокль, — слышна невестка, тихо, но выразительно. Мальчик не плачет, а схлопотал изрядно, по-моему — слишком, он, видно, в шоке. Я тоже немножко в шоке, нельзя же так бить ребенка, чтобы он пошел спать без слез и истерик. Ни звука из его спальни.

Ни звука, пока не выходит невестка. Но и тут слышен лишь шепот:

— Вы все у меня получите.

Шепот сквозь полусон. Понятно, что все равно не усну, разволновался, одной больше ночью бессонной. Встаю и перебираюсь в кресло. Дремлю, засыпаю и просыпаюсь. Снится: кто-то за мной пришел, просыпаюсь — в комнате никого. Кошки-мышки. Поднимаюсь и тихо бреду к столу. Мои шлепанцы будто стегают пол с каждым шагом, отдаются эхом в моей голове, как в пустом доме.

Темень в комнате, а я, как слепой, знаю все в своем столе, большом, старинном, красного дерева, по три ящика в каждой тумбе. Знаю в каком ящике что лежит, где бумажки, уже ненужные, а где — бинокль, мой старый морской друг. И — фонарь, друг тоже и — старый. Только вот и осталось друзей. А стол этот не друг, он пришел в мою жизнь позже.

Я не сажусь за стол, возвращаюсь к окну. Направляю бинокль прямо туда, через улицу. Что-то сегодня мне не видать ни муравьев, ни белок. И окно приплясывает, не

попадает в фокус, не укладывается в аспект моего зрения. Это бывает со мной, потом проходит. Когда со зрением совсем плохо, бинокль не поможет. Раз он не может помочь, так нечего мне с ним делать, а лучше вернуть на свое место. Шлепаю, не спеша, к столу. Заученные движения: выдвигаю ящик, кладу на место бинокль, задвигаю ящик. Иду к окну, возвращаюсь опять к столу, выдвигаю ящик. Задвигаю и выдвигаю. Беспокоит что-то меня, нервничаю. Темно, и я шарю пальцами по дну ящика, будто слепой. Не такой уж большой ящик, и ошибиться трудно, четыре стенки и дно...

Четыре стенки и дно... фонарь, он — слева, бинокль — справа... нет бинокля. Положил только что, а его нет, и никого в комнате, кроме меня. Не украден же он, в конце концов. Не крадут у нас в доме. В этом городе не воруют. Нуль преступности, единица благополучия. Сам взял и не положил обратно. Стойте, ребята, бросьте шуточки. Я человек честный, что взял, то положил. Значит, я взял это, в котором бинокля не было. Был пустой футляр. Я смотрел в футляр, а не в бинокль. Ну, конечно же, вот он, футляр, а вот... не бинокль. Отрицание отрицания есть наличие. Значит бинокль здесь, в другом ящике, в том, в который я никогда его не кладу. Он легко выдвигается, задвигается также просто. Все ящики ходят легко, и во всех одинаково нет бинокля. Где же он есть?

Спешу... не к окну, шлепаю к двери скрипучей, отворяю ее тихонько-тихонько. В коридоре темно, слышен храп мальчика. Дверь в спальню его открыта, и храп разносится по всему дому. А дверь в другую спальню закрыта, и — никаких звуков. Невестка с сыном, наверное, спят, им раненько на работу. Наверное, но убедиться в этом я не могу. Не могу же я заходить к ним в спальню!

Возвращаюсь к столу и обшариваю опять ящики. Чего нет, того нет. Видно, я засмотрелся и выронил, и он лежит в траве, под окном, ждет себе, пока я его подберу. Не идти же за ним сейчас, по ночной росе, я в шлепанцах. Утречком подберу, с первым солнышком. Просто я должен знать, что лежит он, родненький, в травке покоится и меня ждет, пождет.

Достаю фонарь. Раму заело сыростью, прилагаю немислимые усилия приоткрыть окно без скрипа и шороха. Воздух прохладной улицы врывается и обматывает меня как сы-

рым полотенцем, и я хватаюсь за нос, чтоб не чихнуть на весь дом, включаю фонарь.

Трава привстает сонно в лучике света, и я нахожу, конечно, бинокль, мой старый морской бинокль, с ремешком, кожаным, тонким. Но ремешок почему-то свисает. Куда и во что? Куда он может свисать, если бинокль лежит в траве? Или он, ремешок, не свисает, или бинокль не лежит в траве? А где он лежит, летит, виснет? Дом двухэтажный, спальни на втором этаже, а на первом — гостиная. В гостиной никто не спит, и как раз там самое место нести дозор подлодочкой вороватой.

Я нагибаюсь, клонюсь, как могу, не выпасть бы из окна. Вижу бинокль, почти весь, не вижу руку, его держащую. Луч моего фонарика, будто прожектор морского охотника, скользит на поверхности темноты, шупает, ищет. Бинокль убирается в стену дома, перископом коротеньким. Она заметила, лодочка, что замечена, и уплывает тихохонько. Фонарик мой яркий остается один-одинешенек. Выключаю и вижу, как стало темно вокруг. Мир зиждется на контрастах: свет и тень, друг и враг. Темень кругом. Кругом неправда.

## 6

Человек в маске, и непонятно, что он за человек. Преступник — предполагается из передачи. Программа местного телевидения «Полиция вместе с нами!». Они показывают, как полиция приходит на помощь — друзья с собаками. Учудил что-то этот парнишка, и полиция подросла нам всем на выручку.

Маска не настоящая, телемаска, это когда на экране все показывают, лица только не видно. Все ходят и улыбаются, а он в маске, не улыбается и не плачет. Может и плачет и улыбается, но на экране не видно. И неизвестно имя его. Американский закон охраняет тайну для безопасности этого человека. Он еще не преступник, пока — кандидат. Пока суд не осудит, он — просто подозреваемый. Оттого он и в «маске». Суд оправдает, и человек вне подозрений. Никто не ткнет в него пальцем, не обзовет и так далее.

И у меня есть Маска: старость, преклонное видение, глуховатый слух. И мой статус пенсионера, такой оглохший тупик в шумном городе, переулочек, что не выводит на люди. А я должен выйти, выглянуть из-под маски, краешек отодви-

нуть и ускользнуть в щелочку. Это они обо мне судачат, сын с невесткой: маска, мол, у него, характерец.

Невестка приносит ужин мне в комнату, справляется о здоровье, а то — о погоде, и уходит. Не скажу, что она ко мне безразлична. Занята — дом, хозяйство. Она не жалуется, но складки, морщинки на лбу выдают ее состояние.

Обычно она не задерживается в моей комнате, а сегодня стоит, будто задумавшись, любуется на свои ногти, блестящие лаковой вишней. Хочет сказать нечто такое, чего не хочет. Может быть, даже и накричать хочет, да только не сделает этого. Мы — семейство культурных, воспитанных. Что-то вывело ее из себя, и она кричит внутренне, что я не ребенок и отвечать должен за собственные поступки. Прямо вижу, как она выкрикивает в лицо мне...

Ни разу в жизни такого не было, но слышу, что есть богадельни — место таким как я, безответственным старикам, впадающим в детство.

Когда на меня кричат, перестаю понимать и не слышу. Руки только дрожат и трясутся.

— Ребенок в доме, — бросает невестка на выходе, унося поднос.

И не хлопает дверью.

Что-то она еще выговаривала, перед тем, как оставить комнату... Да, про мальчика, что я должен ему уделять внимание. Это, конечно, не мой сын, у него есть отец, но он так занят, а у мальчика есть проблемы, поздний ребенок, не надо им было этого заводить ребенка, она была против, муж так занят...

Вечер, автомобили мечутся в темноте смазанными огнями. В доме через дорогу — свет. Бинокль на столе, не надо греметь ящиками. Невестка оставила его, уходя с подносом. Положила на стол, а не швырнула. Но — недостаточно мягко. Грубовато для обращения с точным прибором. И грубость женщине не к лицу. Плавность к лицу и грация. Женщина — человек-зрелище.

Я убежден, что женщина в доме через дорогу знает, что на нее смотрят. Она сегодня в красивом желтом купальнике, с полотенцем через плечо. Капли воды обрываются с ее круглых коленок, сверкают и падают на паркетный пол. Она подходит к зеркалу и начинает снимать купальник, потом раздумывает и отправляется в ванную.

Меня не это волнует. Желания плотские убывают с годами. Желание вообще уходит, когда его заслоняет что-то другое. И эта женщина не интересует меня сегодня. Интересует меня окно гостиной. Не той гостиной, где бродит женщина, а той, что подо мной прямо и вертикально. Нет ничего запретного в нашей гостиной и в том, что кто-то маячит у запертого окна. Не вижу, но знаю. И в голове толпятся прожекты бредовые. Например, вот, приладить зеркальце к длинной палке и выдвигать его медленно из окна, играя легким наклоном, высовывать, наклонять и ловить отражение... Детская чепуха. Есть же, в конце концов, женщина в доме, и ее дело за всем присматривать. А мое дело какое? Двадцать последнее. Что я тут мыкаюсь не по делу, торчу слепым перископом?

## 7

Чаще всего здесь тихо, безлюдно, если, конечно, не обращать внимания на машины. Вблизи нет перекрестков, и машины летят так быстро, что не успеешь и разглядеть, как ни старайся. И люди машин тебя не видят. Они видят дорогу. Для тех, кто сидит в машинах, дома вокруг — часть дороги, дома возникают и остаются сзади, и возникают...

А пешеходов на нашей улице нет совсем. Нечего им тут делать — ни магазинов, ни закусочных, «спальный район». Вот почему столько шума вокруг этого человека. Что он здесь натворил?

Появился на нашей улице! Не человек, а пешеход — изрядная разница. Людей мало ли... пешеход — явление. А где именно появился, и номер дома хранится втайне. Каждый из нас, жителей улицы, охраняется. Тайну каждого гражданина оберегает полиция, институт правосудия, государство. Каждый из нас помещен в социальный сейф с ключиком и замочком. Жильцы независимых сейфов. Нам регулярно напоминают об этом в телевизионной программе, в той самой, где человек в маске...

На нашей улице он появился без маски. Какой же дурак будет разгуливать в маске, сразу подумают, что ограбил банк. Это теперь на него надели телевизионный намордник и водят гулять по экрану.

Он не ограбил банк, но не знал, где его машина! Не знал или не пожелал сказать. Полицейские интересовались, а он —

нисколько. Они подкатали сразу на трех машинах. Позвонил кто-то в участок, и они реагировали. И телевидение уже знало, иначе как бы они засняли всю эту сцену? Они знают всегда и все, и раньше всех, узнают и тут же приводят к сведению нас, зрителей. Они знают что зритель желает знать, и пакуют готовый товар.

А человек в кустах не хотел знать того, что им нужно, того, что всем нам, зрителям телевидения, необходимо. Сказал, нет у него никакой машины и вежливо попросил отстать. Его забрали в участок и побеседовали.

— Скажите, что вы там делали? — спрашивает его полицейский на телевидении.

— Шел домой.

— И далеко ваш дом?

— Отсюда не видно. Я живу в доме, которого нет.

— Вы хотите сказать... — теряется диктор, но тут же находится, — хотите сказать нам... что вы... инопланетянин?

— Я — планетянин. Мой адрес: не дом, штат бездомных. Несуществующий штат, несуществующий я.

И он исчез с экрана, а диктор велел зрителям ждать продолжения передачи завтра в это же время. И тоже исчез с экрана. Вместо него появилась заставка: ночная улица, смазанные потоки машин, обочина, в глубине панорамы дом с большим освещенным окном, перед домом ряды кустов. Здесь, в кустах, должен стоять человек, но его-то как раз и нет. Может — есть, но его не видно, темно. Заставка висит каких-нибудь пять секунд и обрывается рекламой домов на продажу, светлых домов под ярким полуденным солнцем.

Телевизор выключен, невозможно глазеть в него целый день, интересного мало.

Я смотрю в окно, бинокль в руке. Полдень едва прошел, пейзаж абсолютно солнечный. Видны белки на электрических проводах, окна дома напротив, опущены жалюзи, иначе дом раскалится за день, потом не войдешь. Жалюзи опускаются по утрам. Вероятно, их опускает хозяйка, но ее я не вижу. Может быть, жалюзи на моторчиках, дом большой, пока весь обойдешь, на работу поздно приедешь. Потому женщина и торопится, вылетает утром из гаража на спортивной «хонде» с темными стеклами. Дом остается один, ни в доме кого, ни в кустах перед домом.

Интересно бы заглянуть к ней в сад днем, пока никого нет, но это сложно: дорогу не перейти, нет светофора, а перекресток неясно где. Он где-то есть, но до него не пройти, нет тротуара. Все дебатировать строить или не строить здесь тротуар? Зряшная трата денег. Зачем мне ходить в чужой дом, когда есть в чем жить? И так прекрасно все видно, в темноте — в бинокль, а днем — просто так: забытые во дворе босоножки лет пять назад, цветочные клумбы, птички в гнезде, которым хозяйка бросает зерна.

И все же приятно было бы пройти перед домом напротив. Пройтись... да нет тротуара. Не лучше ли прокатиться верхом? Есть обочина, по которой свободно проковыляет лошадь, она не спортивный автомобиль. Неторопливым галопом, так, что всадник сможет все рассмотреть, и его, всадника, будет прекрасно видно, особенно, когда солнце уходит за горизонт, и тень от шляпы качается и плывет вдоль дороги, простроченной шинами драндулетов, железных, вонючих.

Жаль, нет у нас лошади, а костюм есть, настоящий, ковбойский.

## 8

Мне выговаривают, что телевизор мой такой громкий. Что делать, человек я старый, немеет слух. Да еще этот автомобильный гул с улицы. Другим жильцам дома он не мешает. И свой телевизор им не мешает, а мой раздражает. Меня это задевает. По существу, телевизор есть то небольшое, что уцелело в моей жизни, как-то привязывает. Другие вещи не занимают меня более. Костюмы в шкафу, тесной очередью, туфли начищенные припорошились пылью. Менял, помнится, галстуки, теперь больше в халате. Говорят, «опустился». Что верно, то верно, был хозяином, стал жильцом. Дом-то принадлежит мне, они — жильцы, а не я. Жильцы бойкие и настырные, спорят все, спорят, вот и сейчас слышу. Безумственный спор о юм, что дом в той телевизионной программе и есть дом, что против нас, через улицу.

— Это и есть то окно, — кричит невестка, — и вы все в него пялитесь!

— Вот еще! — парирует сын, прихлебывая из кружки.

— И ты, и твой папочка! — кричит невестка. Она сначала ворчит и швыряет посуду в посудомойку, затем поднимает

и поднимает голос, будто двукрылый аэроплан над овсяным полем.

— Голой бабы не видели!

— Очень надо. — Сын отхлебывает из кружки старательно громко.

— Ты и твой папочка — одного поля ягоды! К черту выброшу ваш бинокль!

— Бинокль настоящий, прибор капитана. — Это мой сын говорит своему сыну. Мальчик не подает голоса. Большой мальчик, понимает, что он — несовершеннолетний жилец в таком разговоре, и помалкивает. Мы с ним оба помалкиваем. Это не значит, что мы отсутствуем, безличны и безразличны. Мы — каждый в своем седле, в клавиатуре жильцов.

— Вы все у меня получите! — Голос невестки спадает — самолет идет на посадку. — И ты, и твой папочка...

«И ты, и твой папочка... и ты, и твой папочка...»

«Под стук трамвайных колес».

«Вы сойдете на следующей остановке?».

Телевизор включен, а его не слышно. Это я громкость убавил. Зачем? Чтобы слушать их бесконечные перепалки? Прибавляю громкость.

## 9

Я надеваю ковбойский жакет и «стэтсон» — особую шляпу времен ковбойства. Невестка грозит, что вышвырнет всю эту амуницию, носить ее некому, моль не ест, а чистить приходится. Вот я и надену, чтоб знали, что — есть кому. Мы едем гулять в парк, не тот, где скачут на лошадях. Обычный парк, где люди выгуливают себя и потомков своих чинно и грациозно, никакого галопа или карьера. И я вот пройдушь пешим ковбоем, гулять, так гулять.

— Вам надо гулять, — уверяет невестка, — а здесь негде.

— Негде? — Сын удивлен. — У нас есть сад. И если пройти вдоль улицы, там начинается тротуар, велосипедная трасса.

— С ума сошел?! Хочешь, чтобы отец попал под машину?

— Это ты хочешь, чюбы он умер от неподвижности!

— Нет, ты подумай что говоришь?! Ты посмотри, кого ты хочешь толкнуть под машину?

Все глядят на меня. Мальчик от комикса оторвался. Я — посреди гостиной в ковбойском костюме времен ковбойства. Сын трагично вздыхает и направляется прямо ко мне.

Он снимает с меня шляпу, затем жакет. Я не сопротивляюсь. Сын, видно, доволен моим поведением, похлопывает меня по плечу.

— Жара, — печалится он, — в рубашке тебе в самый раз будет.

— А я надену! — кричит мальчик, срываясь с дивана, роняя на пол книжку. Он бросается к стулу, на котором висит жакет и шляпа. Отец ловит его за плечо, отбрасывает назад.

— А я все равно буду! — кричит мальчик в лицо отцу, отползая в угол дивана. Он поднимает с пола книжку и запускает ее в отца. Отец повит книжку и медленно подступает к дивану. Мальчик лениво хнычет.

— Оставь в покое ребенка! — кричит невестка. — Ты слышишь? Кому говорю?!

— Он у меня получит!

— Не смей трогать ребенка! — невестка подходит к мужу и бьет его полотенцем.

— Он у меня получит...

— Не смей трогать!

— Он у меня...

— Не смей...

Мальчик плачет громче и громче. Он просто заходится в бойкой истерике. Пользуясь замешательством, я надеваю жакет и шляпу. У выхода в сад, рядом с дверью, высокое зеркало. Гляжусь, поправляю шляпу, прилаживаю наклон. Мальчик уже не кричит. Крик его оборвался, едва я надел шляпу. Он стоит на диване, забившись в угол, показывает на меня пальцем. На него больше никто не смотрит. Все заняты мной. Невестка стоит, уперев руки в бока с полотенцем через плечо. Сын надувает щеки и шумно гонит ноздрями воздух. Я стою к ним спиной. Я все это вижу в зеркале. Они мне не мешают. Мешает немножко шляпа. Надвину на лоб — плохо смотреть, а подниму высоко — вид глуповатый. Ничего, все как-то наладится. Надо еще поработать.

Сынуля мой отдувается, вытирает платком лицо. «Хуже ребенка», наверное, мыслит невестка. Она глубоко вздыхает. Сын глубоко вздыхает. Я тоже вздыхаю, не так глубоко, скорее, для вида. Мое поведение меня не расстраивает. Скорее — наоборот. Скорее их, всех остальных, мое поведение огорчает. Они, надо отдать им должное, не подают вида. Достойные люди и достойно себя ведут. И я подтяги-

ваюсь за ними: не стенаю и не разбрасываюсь в истерике. Мое военное прошлое, кадровая закалка. Что ни на есть постыдное для солдата — паника. И я стою хладнокровно, будто на мостике корабля.

Мостик — такое место, где встретишь и шторм, и вражескую торпеду. Бывало, рубку зальет волной, стоишь и ждешь, пока она схлынет, вперед смотришь, на следующую волну.

Давно все это позади. Ни волн, ни волнений. Стою и жду, когда, наконец, соберемся в парк. Сын подходит и обнимает меня за плечи.

— Ну, ну, хватит, — ворчит он тихо, — ты же большой мальчик.

— А я не большой? — кричит мальчик.

— Ты самый большой, успокойся, — говорит сын, бесцельно оглядываясь по сторонам.

— Тогда пусть он отдаст шляпу.

— Отстань! — вскрикивает невестка. — У тебя есть шляпа, вот и надень.

— Уйдете завтра, а я надену.

— Велика она тебе, — утешает сын, — велика.

— А я вырасту. Он умрет, а я вырасту!

— Замолчи! — вскрикивает невестка. — Никто здесь не собирается умирать, в этом доме.

— А где же он собирается умирать?

— Молчи! — вскрикивают невестка и сын так вместе, что последнее «...чи» разносится воробьиной песней и отдается звоном... в голове звоном... опять эта боль. Врач запретил нервничать, я не слушаюсь. Не подаю вида, что нервничаю и больно. Болит не сильно, просто щекочет, какие-то слышу щелчки, грезятся вспышки. Это она дает о себе знать, старая рана, задело когда-то голову, шрам глубокий над левой бровью. Потрешь — слегка отпускает.

Я не трогаю бровь, не хочу демонстрировать, что меня раздражают. Они тут ни при чем. Это все шляпа, маловата, а я натянул ее так, что носа не видно, и — давит как раз там, над бровью. Снимаю шляпу, бросаю на спинку стула, где уже свисает до пола жакет. Сын прав, мне легче в рубашке.

Невестка, тем временем, комкает шляпу с жакетом, швыряет на дно глубокого шкафа. Она не «берет свое». Она это делает «по хозяйству». Шляпа топорщится и не лезет. Неве-

стка заталкивает ее ногой, топчет остервенело, захлопывает, наконец, дверцу шкафа. Гнев ее ко мне не относится, виновата упрямая шляпа. Невестка оглядывается, что-то ищет. Наши глаза встречаются на секунду. Я не смотрю ей в глаза, смотрю на шкаф, но встреча глаз неизбежна. Всего секунда... я спокоен, не бьюсь в истерику, не визжу. Позади волны, торпеды. Да, не такое переживал, выдержу и такое.

— Ты ключ не видал? — спрашивает невестка.

Кого она спрашивает? Должно быть, сына. На меня смотрит, а спрашивает моего сына.

— Его там и не было, — говорит сын о ключе от шкафа.

— Как это не было?! Я его видела!

— Как это видела? Его не было.

— Что значит, не было, раз я видела...

Они пререкаются, собирают сумки вещей, потом — выбрасывают и набивают сумки другими вещами.

— Застегнись, — говорит сын вполголоса. Он что-то ищет, что-то, должно быть, нужное, и, проходя мимо меня, советует застегнуть рубашку. Застегиваюсь на все пуговицы, я послушный. Он разговаривает со мной вполголоса, но не так тихо, чтобы никто не слышал. Не должно быть в доме секретов. А их и нет.

Застегиваюсь и наблюдаю невестку. Она разительно отличается от той женщины, в доме через дорогу. Не внешне — стью или манерами. Позиции у них разные. Желанное разнится с нежеланным. Моя невестка — хозяйка. Это еще мой дом, но она здесь хозяйка. Пока я жив, дом будет моим, а она будет хозяйкой. Она озабочена вечно хозяйством. Не доставляю ей много хлопот, стараюсь. Я и из комнаты выхожу редко, и ем меньше собаки. Утром и вечером мне приносят чай. По утрам — с бутербродом. Вечерами вовсе не хочется. Вечером досаждают мысли о никчемности прожитого и прочая философская чепуха. Должно быть, от одиночества. Меня приглашают к столу, но я отказываюсь и сижу в своей комнате один-одинешенек.

Но когда собираются гости, неудобно отсутствовать — бросать тень на хозяйку, на дом. Поэтому я сижу за столом с гостями, улыбаюсь их шуткам и даже вставляю слова в разговор, который мне вовсе не интересен. И я им не интересен, они — люди трудящиеся и озабоченные. У них

проблемы, есть и будут до самой старости. Они говорят, что завидуют мне и произносят тосты за долгожителей. Завидуют с одной стороны, с той самой, которая исключает другую. Говорят, что хотели бы поменяться со мной, и дружно смеются. И я смеюсь вместе с ними, не бросаю компанию. Смеемся мы совершенно по разным поводам и дружно закусьваем. Я за столом хорошо ем, стараюсь так поддерживать компанию, что на другой день страдаю желудком. Не организма вина. Просто гости вчерашние окунулись в заботы, а я не при деле, а при страданиях. Послезастольным утром невестка приносит чай, осведомляется, как я себя чувствую. Я отвечаю:

— Прекрасно!

— Вот и прекрасно, — заключает она и почему-то вздыхает. А почему — остается догадываться. Конечно, не потому, что я все еще здесь, в доме. Она добрая женщина, хоть и крикливая. Да и кричит не со зла, так, показаться хозяйкой. Себе напомнить и нам. Пока я жив, пока я здесь, она хозяйка не полноправная, понимаю. Мы оба прекрасно все понимаем. Я ощущаю себя безгранично обязанным и как-то стараюсь выразить. Я говорю ей о том, как она замечательно выглядит или хвалю ее красивые розы в моем саду. Это смешно, и она смеется. Совсем не смешно говорить женщине, что она замечательно выглядит. Но уместнее говорить это жене или женщине, которую ты желаешь, или той, что желает тебя. Наконец — совсем посторонней женщине, приятельнице твоих приятелей или кассирше в лавке, где ты — постоянный клиент, а посему желанный.

...Все-таки мы собрались и отбываем в парк. Сумки набиты вещами, большей частью ненужными: зонты на случай дождя, который нам не обещан, всякие столики-стульчики, полный всего багажник. Сын с невесткой обходят вокруг машины, встречаются, спрашивают друг друга: «Что мы еще забыли?» Они садятся в машину, заводят мотор и вспоминают: меня забыли!

— Он, как ребенок, — вздыхает сын.

— Прямо не знаю, что с ним делать, — вторит невестка.

Не слышу что они говорят, но знаю. Вечно твердят одно и то же. Есть у них дежурные фразы, заготовленные на всю мою жизнь. О ребенке, что плохо себя ведет, они находят свежие выражения. Тут, всю неделю грозилась не взять его

на аттракционы, кричали, что он лентяй-разгильдяй и что давно пора его выпороть. А до этого говорили, что — молодец, что так и надо учиться на все пятерки. Когда он приносит из школы двойки, его ругают, стыдят и говорят, что он должен учиться, как Дедик Пэк. Такое уж у меня прозвище.

«Дедик» — ласкательное от «дед», а «Пэк» — от старого киноактера. Сверкала этакая звезда в небесах Голливуда: Грэгори Пэк. А я вот здесь при чем. Не я, а они, там, в эмиграционной конторе, что-то произошло, заминка смешная, уже не помню. Кажется, эта их служащая сказала, что я похож на Грэгори Пэка, а сын пошутил, что я и есть русский брат американской знаменитости. Когда он там знаменит был, этот Грэгори?! Служащая при эмиграции не молодая была, еще помнила. Я тоже помню. Был такой супермен времен войны. Я, правда, чем-то похож на него. Поэтому не люблю рассказывать истории своей боевой молодости, про Балтику и морскую пехоту. А мне есть что рассказать. Хотя бы о том, как ходил на торпедном катере, пока его не подбили, а меня отправили на другой катер охотиться за подводными лодками. Им очень не нравится, лодочкам, когда за ними охотятся, они пожаловались своим, и прилетели немецкие самолеты, и так пальнули по нашему катеру, что он вертелся волчком, разбрасывая тела и трупы во все стороны.

Мне повезло, свои ребята выловили меня из бурной воды, как дохлую рыбу. Но я и на этот раз выжил, молодой был и сильный. Будто и не было ничего, только вот шрам над бровью, аккуратно прорезанный осколком снаряда...

Да мало ли еще что? Рассказываешь, они выслушивают с почтением вниманием и перемигиваются так незаметно, что не заметить неловко. И шепчутся: «Пэк на своей лошадке!» Делаю вид, что не слышу, и продолжаю рассказывать. И так смотрю им в глаза, что людям этим становится скучно. Мне тоже все это скучно, и я бросил. Это как бросить курить: сначала трудно и только об этом и думаешь, а потом привыкаешь. Ну, не торчит изо рта соска, невелико дело.

Поедем мы в этот парк или не поедем, невелико дело. Но мы должны почему-то ехать. Так решено какими-то обстоятельствами, условностями. И они кричат и зовут меня,

а я не слышу. Мотор включен и разогревается, и рычит, поэтому я не слышу. Я за домом, в саду, в крохотном парнике, как я могу слышать? Тогда мальчишка жмет на клаксон, его я, конечно, слышу, да мало ли тут машин летят-гудят, на такой шумной улице. А мне не мешает шум улицы, я привычный. Привычка солдата жить в бою. В своих мыслях, в своем деле. Я занят делом, и не хочу тащиться в этот дурацкий парк.

Я собираю розы. Урожай дивный ароматных цветов. Мальчишка примчался и тащит меня за штаны к машине. Я говорю ему, чтоб отпустил, я могу порезаться, в руках у меня садовые ножницы. Я режу цветы аккуратно, наискось, стебли определенной длины, чтобы цветы долго не осыпались. Всю книжку прочел: «Цветок — лучший подарок!». Мальчишка тянет меня, и я подаюсь, букет оформлен. Три желтых розы, две белых. Я прямо люблюсь ими. Стою на дорожке сада, люблюсь розами. Моя невестка — мастер, она выращивает их тонко, искусно. А я оформил красиво букет, красуюсь с ним на дорожке сада. И сын с невесткой идут по дорожке сада. Мы как бы встретились на дорожке сада. Каждый из них вышел из одной и той же машины и хлопнул своей дверью, да я не сильно прислушиваюсь. Мотор до сих пор рычит, не может прогреться, хотя — жара. Значит, не так уж и много прошло времени, пока я готовил букет.

— Мы едем или не едем?! — взмахивает руками сын и хлопает себя по бедрам ладонями. И невестка взмахивает руками, не так энергично, не с тем артистизмом. Сын озабочен чем-то, и потому энергичен. Я то уж его знаю! Он, вдруг просыпаясь будто, вскрикивает и порывается в мою сторону.

— Вот, видишь, видишь, — он оборачивается к невестке, — он, видишь, тебе цветов нарвал, он тебя любит!

По-моему, сын несколько суетится. По-моему. Возможно, никто этого больше не замечает. Это забавно, и я улыбаюсь. Смотрю на невестку, а улыбаюсь себе.

— Спасибо, — воркует она. Ее голос становится мягким как асфальт в стоградусную жару. Она подходит ко мне и целует в щеку. — Спасибо.

Я глажу ее плечо, прикрываю глаза. Плечо ускользает плавно из-под моей руки. Я открываю заднюю дверь, уса-



живаюсь в наш семейный автобус, вместительный «додж» человек на десять. Нас будет в автобусе всего четверо, но я устраиваюсь на дальнем сидении, в уголке, чтобы ребенок не беспокоил меня. Теперь мы ждем сына. Он мечется по гостиной в поисках вазы для роз.

— Вечно ты все попрячешь! — кричит он жене.

Вазочки — не мое хозяйство. Сижу тихонечко в уголке. Я даже в своей комнате не могу навести порядок, приходится заниматься этим невестке.

— Она же — на пианино! — кричит невестка. — Она всю жизнь там стоит и еще сто лет! Ни разу в жизни он ничего еще не нашел, — ворчит она тихо, то есть — мне. Опять ей приходится вылезать из машины. Она это делает, сопровождая себя легким поругиванием. Себя, свою жизнь и все вокруг. Не ругательства это, скорее припев.

Но в гостиной опять повышаются голоса. Я догадываюсь, что вазы нет. Сто лет была, а теперь нет. А мне-то какое дело? Что-нибудь там найдут. Посиживаю тихонько. Они кричат друг на друга в гостиной, потом на кухне, я перезвон слышу двигаемой посуды. Потом все утихает, и появляется в окне сын. Вид у него вполне победный: в руках банка с водой, из банки торчат цветы в разные стороны. Разве так обращаются с розами?! Это уже не букет, а расстроенный веник: цветки воротятся друг от друга. Неуютно им в банке от огурцов. Хороший цветок достоин хорошего обрамления. К таким розам годится ваза из звонкого хрусталя, именно та, что стояла на пианино, куда-то делась. А мы, наконец, куда-то едем, в какой-то парк, где лично мне нечего делать. И я сижу в уголке автобуса тихо и незаметно.

— Если ты, — поворачивается невестка к мальчику, — если ты, не дай Бог, спрятал вазочку, ты у меня получишь!

— Я, да, вечно я, опять я? — принимается хныкать мальчик.

— А кто же еще в этом доме?

— А вот он! — выстреливает в меня мальчик пальчиком.

— Не болтай глупости, — обрывает его отец, — за это еще получишь!

Экая, рассуждаю, нелепая связь: я и хрустальная ваза?

Я рассуждаю, мальчик хнычет, машина катит к воротам.

## 10

Не так-то легко выкатить из ворот нашего дома. Не улица, прямо шоссе. Машины гонятся в три ряда, вечный двигатель. Иногда выйдешь к воротам, стоишь в раздумье. Можно пойти направо, обочиной до конца пустыря, где начинается тротуар. Придешь к светофору: красный, зеленый, желтый. Перейти улицу на «зеленый» и — дальше, в центр городка, где кино, магазины, какая-то жизнь.

А можно гульнуть обратно другой стороной улицы. Давненько я там не бывал. Когда-то бродили там с Дэдом. Он был щенком, резвым, как полагается, увидит окно открыто и давай лаять. Кто-нибудь высунется на его лай и помашет.

Мы обходили квартал и возвращались домой. Потом уже не ходили так далеко, гуляли на пустыре, у дома. Пришло время, состарились. Мы как-то оба с ним резко остепенелись. Посмотрим друг другу в глаза и решим: не пойдём далеко сегодня, далеко не уйдем. Человек знает, когда пришло его время, и пес знает, и комар. Это слоны, кажется, помирать уходят на свое кладбище. И у индейцев такой обычай: отводят старика в лес, оставляют немного еды... А кошка или собака просто сдыхает. Не все, конечно, подчинены обычаю племени. Дэд был не такой, как другие собаки. Он знал, что жизнь надо пройти с достоинством и с ним же выйти за дверь. А может, вспомнил чего, из воинственной молодости, рванул по своим следам. Это я так смешно говорю «рванул». Старый он стал и еле двигался. Проковылял мимо меня, вот здесь прямо, на этом месте, где наш автобус рычит и дергается, не может вырваться, не пускают машины стеной в три ряда, неиссякаемый водопад.

— Они когда-нибудь кончатся? — спрашивает нас сын, играя педалью газа.

«Они когда-нибудь кончатся?», — подумал, наверное, старина Дэд, посмотрел мне в глаза, похромал дальше. Я думал он так, высунуть нос за ворота, а он пошел себе поперек дороги, будто здесь отродясь не летали машины, и вообще ему на все наплевать. Я и успел только крикнуть: «Дэд!..». Тормоза визжали, а он — нет. Перепуганный насмерть водитель выскочил из машины и все повторял: «Это его вина, его! Вы свидетель!»

— Да не трясись, — говорю я ему, — это моя вина.

Я говорю, а он не может понять, этот парень, взлохмаченный от испуга. Держу на руках то, что осталось от Дэда, и твержу, что я не любил этого пса, и в этом моя вина. Я объясняю, а он понять не может, причем здесь «любил» или «не любил», и я ору ему, чтобы уматывал поскорее, пока полиция не нагрязнула, а то начнут писать протоколы. И парень этот сорвался и улетел, потев в зеркало заднего вида. А я понес то, что осталось от Дэда, в дальний угол сада и закопал рядом с беседкой, в ту самую ямку, где я зарыл обломки трости. Жара стояла воскресная, не было сил рыть землю. Невестка с сыном уехали в магазин, а мальчишка спрятался — знал как мне тяжело. Я знал, это мой долг, и я его выполню.

— А это что? — спросил, возвратившись, сын.

— Это холмик.

Подошла невестка, достала платок смахнуть слезу. Слезинка не удалась, жарко было и пыльно.

— Ну, я пойду, — заявил сын, — сгружу в холодильник продукты.

Я наблюдал, положив щеку на ручку лопаты. Когда машина была разгружена, а холодильник загружен, я сказал:

— Прощай, старина.

Постоял у ворот и пошел мыть руки. У ворот, на том месте, где я стоял, когда пес проковылял мимо. Он всегда знал: я не любил его. И миновал это проклятое место, где мы сейчас будто забуксовали во времени, ни назад, ни вперед. Торчим, высунув морду автобуса из ограды, и пропускаем машины. Сын за рулем особо нервничает.

— Они когда-нибудь кончатся?! — восклицает он каждые пять секунд. А иногда — шесть. Но чаще — пять. У меня на руке большие часы с секундомером, морские, старые с глубокой царапиной на стекле. Такие давно не носят. С памятной надписью моего командира, добрая ему память. Но я эту надпись никому не показываю. Надпись на крышке, и надо снимать часы, а пока снимаешь, уже видишь — тебе не верят. Люди думают: если ты забываешь что-то, то забываешь все, а раз забываешь, то и выдумываешь заново всю жизнь свою, пощекотать память сентиментальную. И люди кивают так понимающе, и соглашаются торопливо — чего тут мусолить, поехали дальше...

— Они когда-нибудь кончатся?!

Я сижу так, что в зеркале видно лицо сына. Он смотрит налево, откуда грядет поток машин шириной в три ряда. Не разевай рот, сметут, как соринку веником.

— Как он тут умудрился? — сын пристукивает кулаком по рулю.

— Так «умудрился», что попал под машину, — иронизирует невестка.

— Кто, пес?! Я — про того, из передачи!

— Из какой передачи?

— Из такой! Которую смотрим каждый день! Глазеем до охренения.

— Это ты глазеешь, а я мою посуду, мету дом... До охренения.

— А я что, дурака валяю? Вкалываю по десять часов в день, не остается сил...

— Остается, раз смотришь.

— Да и смотрю, а кому показывают?! А ты не смотришь? Моешь посуду и смотришь.

— Что включишь, то и смотрю.

— Ах, вот как! Мадам это не интересно! Мадам выше этого! Ты вроде папульки!

— Вроде. А что? Он тоже смотрит.

— И правильно делает! Отец, ты смотришь? Так что ты думаешь, тот он или не тот?

— Откуда знать? Лица-то и не показывают.

— А дом-то, дом?!

— Дома похожи.

— Ты что, совсем уже старый? Крыша, видал, угольником? Ну, что ты мне... как этот... снимок дают, заставку! До и после!

— Да снимок темный. Я плохо вижу.

— Ну ладно, вечно придуриваешься, всю жизнь! То снимок темный... Сейчас светло, взгляни вон, через дорогу!

— Через дорогу? Что там через дорогу? — Мне из угла, правда, не видно, стоим на съезде, под уклон. И нечего мне с ними спорить, я не хочу в этом участвовать. Отдельно живу я в доме. Своя у меня жизнь и свои планы на будущее. Да, у меня есть планы, а посвящать в них никого не собираюсь. Найду кому посвятить. Выйду вот и найду. Нет, не сейчас. Я под арестом, в этом фургоне, похожем на полицейский. Меня везут в парк. Мне нечего там делать. Они говорят, мне нужно общаться, а мне не нужно. Общаться,

но не с ними. Без них общаться. А не бывает парка без них, нет еще таких парков, не построили. Мы едем в парк, который построили. Еще не едем, застряли в воротах дома и пропускаем машины. Когда они кончатся? Эта безумная улица! Три полосы туда и три обратно. И все набиты автомобилями, как мешок горохом.

— Дом, — говорит невестка, поворачиваясь ко мне. — Ваш сын имеет в виду тот дом, через дорогу.

Она говорит тихо, спокойно. Мотор взывает и затихает — сын за рулем нервничает.

— Да-а-а, — говорит невестка и задумывается. Мы видим, она спокойна. — Да, — повторяет она, — весь город. Маньяк какой-то, перед каким-то домом. Большой город...

— Тоже мне, город! — Сын жмет на клаксон резко и коротко. Машины летят мимо. — Ста тысяч не наберется.

— Сто тысяч жителей? — Невестка удивлена. — Сто тысяч у телевизора, каждый вечер. Одно и то же каждый вечер: картинка темная, темный дом.

— Далась тебе эти, — сын жмет на клаксон, — город, сто тысяч, дом...

— Есть в этом, знаешь... символика.

— Чего, чего?!

— Ну, город, набор домов, в общем-то, одинаковых. Единый дом и один телевизор.

— У нас только их три, телевизора.

— А программа одна.

— У нас восемьдесят программ.

— А все смотрят одну. Одна программа, один дом, один человек в кустах.

— Подумаешь, человек!

— Один герой.

— Зашел в кусты по нужде, большое дело.

— Герой нашего времени.

— Отстань, без тебя нервно!

Поток машин редеет. Автобус наш высовывается, как кошка, готовясь к прыжку.

— Один, говоришь? — Сын отжимается на сидении.

— Один. Осторожно, машина! Один бинокль на весь дом.

Тут он срывается, фургон, и мы летим под визг колес, автомобильные вопли и крик невестки: «Ты привезешь нас на кладбище!»

Все же срываемся!

Один бинокль на весь дом.

Мой бинокль.

## 11

Мчимся быстрее света фар. У физиков есть изощренные секундомеры света. В моих мореходных часах секундомер с большой стрелкой, легко отсчитывать. Старенькие часы, циферблат пожелтел, а ходят как молодые. Часы идут, а я сбиваюсь. На большой скорости я теряю... секунды, смысл. Когда так резво визжат тормоза... вот снова сбился. А тормозят всегда резко. Из-за того все, что красный свет. Недаром быков дразнят красным.

Считал, от нашего дома до светофора двадцать секунд. А первый ли он? Может, мы проскочили один-другой на зеленый свет? Мне ближний нужен от наших ворот, а красный он или зеленый... не конфликтую с цветами.

Я бы повесил перед окном нашего дома светофор с выключателем. Включил и — через улицу. Туда — обратно, ходи, разгуливай, раз тротуар не построен. Но светофора пока что нет в планах города. Он им не нужен, чертежникам городов. Мне остается — тот, на перекрестке, ближнем к дому.

— Сынок, — говорю я, — будь добр, глянь на спидометр.

— А он не знает, где у него спидометр, — смеется невестка.

— Я знаю, где у меня спидометр. И где — у автобуса, знаю.

— Конечно, знаешь, раз ты его заклеил.

— Я — дурачок, спидометр заклеивать?!

— Ну, я не знаю, так написал полицейский: летел, будто заклеил спидометр.

— Он что, придурок, полицейский?!

— Он — полицейский, а ты — придурок. Лучше бы ты заклеил и не гнал.

Мы за городом, вот он, парк.

— Сынок... — повторяю, — взгляни на спидометр.

— И ты еще!!! Ну что еще?! Что ты там потерял, на этом спидометре?!

— Ты успокойся, ну, потерял, найду.

Я потерял время.

А вот и парк, царство детей. Взрослых здесь много больше, но у детей тут свои богатства: ящик с песком, качели разные, деревянные лошади. Бегай, кричи, сколько хочешь. Здесь дети живут настоящей жизнью, такой они себе нашу жизнь представляют — дорога без светофоров и перекрестков, броди, где хочешь, по траве, по дорожкам. Лишь у пруда щит: «Будь осторожен!» Там еще мелко написано, что детей надо держать за руку. Про стариков не написано. Никто и не держит меня, большой, разумею правила. Я не хожу к пруду. Прохаживаюсь дорожками или — вокруг дерева. Сегодня выбрал сосну — высоченная, ветки под самым небом, а здесь, внизу, смола — сквозь щелки коры ароматной слезой. Сосна пахнет смолой, как женщина парфюмерией. Запах смолы настраивает меня на лирический лад.

Народ гуляет здесь чаще парами. Одинокие собираются у пруда, у шахматных столиков. Никто им, конечно, не отводил специального места, сами сгруппировались по признаку. Признак обыкновенный — возраст. Но почему нет меня среди них? Мне с ними не интересно. Все говорят про своих детей, про свои дома, про дома детей, про детей внуков. А о себе скажут, так обязательно — о болезнях. Болезни и дети выживают их из собственной жизни, а они не сопротивляются, отступают сами на давно заготовленные позиции, с которых уже не вернуться. Готовят позиции, будто грибы на зиму, и зима приходит раньше осени. Подают звоночек: готово, к столу. Застолье в преддверии, затянувшийся праздник.

Я не хочу подсаживаться, к последнему их столу. Прохаживаюсь в сторонке, вокруг сосны, пью аромат смолы. Глубокий вдох и глубокий выдох. Я наполняюсь. Сосна пахнет жизнью, свежестью. Тоже не молодая, а все живет. И она меня чувствует. Знает, что нагуляюсь вокруг и уйду, а она останется здесь, но это неважно, мы все равно с ней — пара. И если встретишь на улице женщину и постоишь с ней, и просто поговоришь, то в этот момент ты с ней пара. Но это было давно, в прошлой какой-то жизни, трудом наполненной, переживаниями. А теперь «уик-энд», парк, прогулка.

— Дыши, — подсказывает мне сын, — глубже. — Он в спортивном костюме, у него «бег на месте». Он семенит

рысцой, дышит кузнечным мехом. Невестка ходит за ним спортивным шагом, отпихивая воздух локтями.

Люд этот весь мне в диковинку. Я занят своим, глажу кору сосны. Она приятно царапается, пачкается смолой. Я вытираю руки, а они липнут еще больше. Невестка проходит мимо спортивным шагом, я показываю ей руки.

— Ну вот! — она останавливается, находит в моем кармане платок, трет мне ладони. Платок липнет к ладоням, ладони — друг к другу.

— Вон там вода, — говорит невестка, — надо помыть руки. Она мант меня за собой и уходит спортивным шагом. Она не может просто идти. У нее расписание, спортивный час. Мне за ней не поспеть, шаркаю, как могу, по дорожке, где все гуляют. Кто-то здоровается со мной, отвечаю. Кто-то не видит меня, а кто-то видит и отворачивается, оставаясь шепотом за спиной. Аллея длинная, и я долго иду мимо шахматных столиков, мимо детской площадки, мимо качелей, песчаных ящиков. Вот и они, умывальники, чуть в сторонке. Но я не сворачиваю, иду мимо. Видимо, я забыл, что руки липкие, что их надо вымыть...

Аллея заканчивается клумбой, большой, совершенно круглой — как ни зайти, надо идти к центру долго и по живым цветам. А идти надо. Там, в центре великолепные желтые розы, совсем, как в нашем саду. Но сад далеко, меня увезли от него, а розы вот они. И я ступаю, пытаюсь не мять ногами другие цветы. Мне удастся это совсем плохо, о чем я догадываюсь краем уха. Какой-то рокот катит ко мне, волнение, даже крики. Не оборачиваюсь, наклоняюсь, как они пахнут! Вдруг чувствую на руке замок, мой сын схватил меня за руку, тащит прочь. Я покоряюсь, но не могу я за ним бежать!

— Мало тебе своего сада?! — шепчет сквозь зубы сын.

Он умный мальчик, но иногда говорит глупости. Сад далеко, а мне...

— Мне нужны розы.

— Ему нужны розы! — провозглашает сын обступившим нас людям. Не слишком он ироничен?

— Всем нужны розы, — соглашаются люди вокруг.

— Вы извините его, он ошибся, — подходит невестка. — Он подарил мне сегодня прекрасные розы из моего сада. Больше не надо, правда?

— Правда, — говорю я, — нужны розы.

Они опять объясняют, что мне не нужны розы. И — сын, и — невестка, и — люди вокруг. Они убеждают меня своей массой, единством. Я убеждаюсь, что мне не нужны розы. Невестка и сын сопровождают меня к умывальнику. Мне больше не доверяют. Невестка моет мне руки, а сын вытирает мохнатой салфеткой.

Потом мы гуляем семьей, вдоль площадки. Качели, ящик с песком, дети с совочками. Останавливаемся у ящика. Дети, как все, строят замки, мешают воду с песком, перемазанные, смешные, а одна девочка с бантом на голове сидит на низеньком ограждении. Рядом — мама, интеллигентная, терпеливая.

— Какой у тебя красивый бант! — говорит невестка девочке, присаживаясь на корточки. — И медвежонок нарядный. Это мама купила тебе медвежонок?

Девочка рада, она смеется, идет к нам.

— Ну, покажи нам, — поет невестка медовым фальцетом и тянет руки к игрушке, но девочка уклоняется и протягивает игрушку мне. Я становлюсь на колени, беру медведя у девочки, отдаю невестке. Девочке это не нравится, она забирает медведя и отдает мне.

— Это медведь, — говорит девочка, — у меня есть медведь.

— Да? — говорю я. Смотрю на девочку, а о чем говорю, не знаю. У меня так бывает — вдруг забываюсь. Прислушиваюсь... к тому, о чем думаю, и к тому, о чем говорю.

— У тебя есть калькулятор? — спрашиваю.

— У меня есть Мишка, — говорит девочка и отбирает медведя.

— Дяденька шутит, — говорит девочке мама, берет ее за руку, тянет в сторону. Девочка тянет маму ко мне. Сын тянет меня вверх и в другую сторону. Я недоволен, я не хочу, упираюсь. Девочка плачет. Сын с невесткой берут меня под руки. Он — справа, невестка — слева, чинный конвой.

— У нас дома гора калькуляторов! — Сын раздражен. — В охапку все соберу, притащу тебе в комнату!

Я молчу, а он раздражен.

— Зачем тебе калькулятор?!

Невестка молчит, тоже раздражена. Пальцы ее дрожат на моем локте.

— Зачем тебе калькулятор? — сын повышает голос.

— Мне надо умножить.

— Умно-о-ожить?! Ему надо умножить! — обращается сын к проходящим мимо каким-то людям. Все соглашаются, дружно кивают, а некоторые здороваются со мной. Я тоже здороваюсь, хотя не помню этих людей. Они отвлекают меня, а мне надо умножить. Что на что?

Мы останавливаемся у свободной скамейки, садимся. Я — в середине, сын слева, невестка справа.

— Посиди, успокойся, — говорит сын.

Я и так сижу. Спокоен, как эта скамейка.

— Ему надо умножить! — Никого, кроме нас, рядом, но сын говорит громко.

— А ты не иронизируй, умник! — возникает невестка. — Возьми и займись с ним.

— Он что, ребенок?

— Он — твой отец, ты сын ребенка.

Сын молча глядит в сторону высокой сосны. Но он не видит сосны. Он видит себя, несчастного в этой жизни. Он должен терпеть всю эту пустяковую жизнь, с женой, со мной. Терпит из-за меня. Мне жить осталось недолго, и он не может мне осложнить остаток жизни. Хороший сын, хотя бы порядочный, в этой жизни таким быть не просто. Он это чувствует глубоко и выражает всем своим видом. Только видом. Не скажет, не упрекнет. Вот и сейчас все, что он позволяет себе, это закрыть лицо руками и посидеть неподвижно минуту-две, пока никого вокруг, а тут кругом люди, проходит пара, и сын уже совершенно бодрый, как после зарядки, отдыха перед боем.

— Как поживаете? — спрашивают они. Спрашивает она, но это неважно. Они — пара, и неважно кто спрашивает. И они молоды, лет им по сорок, моложе сына с невесткой, поэтому обращаются они к невестке с сыном. Но и я живу, стало быть, существую и заявляю об этом:

— У вас нет калькулятора?

Они переглядываются без всякой улыбки. Они и так понимают друг друга.

— Нет, — говорит он.

— С собой нет, — поправляет жена, — а дома их, кажется, десять.

— Двадцать, — шутит муж.

— Тридцать, — смеется жена.

— Сорок, — вторит муж.

— Мне надо умножить, — говорю я, и они замолкают. Я, видимо, плоско шучу, вот им и неловко. Они прощаются вежливо.

И хорошо, что уходят, больше не загораживают мою подругу сосну. Отсюда, издалека, я вижу ее макушку с мохнатой зеленью. Она, как девушка с изящной головкой, только что от парикмахера. Ветерок играет сочными иглами, солнце играет... а я — серьезно...

— Что тебе умножать?! — вздыхает сын.

— У тебя нет калькулятора, ты не можешь умножить, — говорю я.

— Не могу умножить?! — обращается сын громогласно ко всему миру. — Вот! — он выхватывает из кармана блокнот и чиркает авторучкой, как зажигалкой. Но это не успокаивает его, и это видно прямо по самому кончику авторучки, дрожащей, будто на сильном ветру. Будто тонкое дерево взяли за ствол, трясут, и с него сыпятся листики, хотя осень еще не зашла так далеко, что она не осень уже, а зима, и сезон бывший замерз в снегу.

Сын размашисто множит двузначное на трехзначное, вырывает листок из блокнота, бросает мне, будто чек на тысячу долларов.

— Ты не можешь умножить скорость на время.

— Скорость?! На время?!

— Скорость, умноженная на время, дает путь.

— Что?! Какой такой путь?!

— Путь, которого нет.

— Что значит, нет?! Ты что, ку-ку?!

— Если нет скорости, нечем считать путь.

— Какой это нет скорости? Какой у меня нет скорости?!

Я живу на такой скорости, что от меня перья летят и пух.

— Ты не смотрел на спидометр и не знаешь скорость.

Я знаю время, а ты скорость не знаешь.

— Вон ты о чем. — Он успокаивается резко, будто машина у красного светофора. Не знает, о чем я, и успокаивается.

— Путь, — твержу я, — от нашего дома до светофора.

Сын молчит. Он смотрит вверх и куда-то в сторону, мимо сосны с ее зеленой макушкой — такой развесистой шевелюрой, с которой играет солнце. Смотрит мимо людей, мимо

пруда и невысокой ограды парка, мимо... Не может он смотреть мимо всего и всякого. Человек не может смотреть в никуда.

Невестка встает и прохаживается мимо скамейки. Солнце уходит, уже прохладно, невестка ежится, снова садится. Уже не рядом со мной, рядом с сыном. Сын оказывается в середине, а мы, невестка и я, по бокам. Невестка кладет голову на плечо сыну. Типичное поведение пары. Нелепо ей класть голову мне на плечо, и она пересела. Закуталась в свой жакет и мурлычет песенку, нежная кошечка.

— Пора собираться, — говорит сын, — тучи подходят.

Я туч не вижу, не то уже зрение.

— От дома до светофора... — думаю вслух. Сын молчит, невестка мурлычет. Кошки не так мурлычат. Она, скорее, поет, невестка. То низко возьмет, то взлетит альтом.

— Нельзя тебе выходить на улицу, — вздыхает сын, — неприятности будут.

— Нажать кнопку, и никаких неприятностей.

— Какую кнопку?!

— Кнопка со светофором. Светофор с кнопкой.

— С ума сошел?! Один — через улицу?!

— На зеленый свет, и никаких неприятностей.

— Никаких неприятностей?! — восклицает он прямо трагически. Нет, послушайте вы его, послушайте! Да ты сегодня, здесь, в парке имел два инцидента...

— Инцидента?

— Да, инцидента! И ничего смешного! Что?.. Да... — Он спрашивает, а я молчу. Спросит — ответит, потом разъясняет:

— Сначала ты рвал цветы с общественной клумбы... что?.. да... а потом... да, приставал к девочке со своим калькулятором.

Не слышу о чем мурлычет невестка, а сын продолжает:

— Они знаешь, что могут? Подумать могут, что ты — маньяк! Они, знаешь что, тогда могут? В полицию заявить, вот что!

— Они?

— Ну, да, кто же еще? Ты видел, сколько кругом народа? Все будут свидетелями.

— Где будут?

— Что — где? На суде, в полиции, на телевидении.

— На страшном суде?

— Да, на страшном! Это страшно, ты нам поверь.

Невестка уже не мурлычет, а говорит вслух, так тихо, что я почти слышу ее подсказки.

— Да, нам, — продолжает сын, — родным людям. А они все чужие тебе. Там все будут чужие.

— Где?

— Там, куда тебя заберут. В тюрьму, в сумасшедший дом.

— И вас заберут?

— И нас. — Сын закашливается. — Из-за тебя и нас заберут! Им все равно — кого. Ты жизни не понимаешь, живешь на обочине. Они нагнетают психоз, ажиотаж и делают деньги! Тебя покажут по телевидению, как того типа в кустах! Им лишь бы глазеть! Никто не придет к тебе и не спросит: правда ли это так и было, или, там... как ты себя чувствуешь? Ты никого не волнуешь, кроме нас! Им всем плевать на тебя, им зрелище подавай! Они — римляне современные и такие же идиоты. Не люди они, дополнения к телевизорам, приставки на кнопках!

— А нас в один дом заберут или в разные?

— Не болтай глупости! Что?.. — Это он — невестке, та дергает его за рукав. — Да, извини, хотел сказать: не говори глупости. Они все равно глупости. Брось эти глупости. Лучше жить дома, чем там! У тебя два пути, вот и подумай!

— Путь, умноженный на два.

— Хоть умножай, хоть складывай!

— Путь, умноженный на два, плюс переход на зеленый свет.

— Ну, до чего ты упрям!

— Совсем, как ты, — подсказывает невестка. Она встает со скамейки, потягивается, ежится. — Пора по домам.

По домам, так по домам.

## 13

Мы возвращаемся поздно, улицы в темноте едва узнаваемы. Вдруг поворачиваем, ворота нашего дома.

— Приехали! — объявляет сын, отдуваясь. Он сидит неподвижно секунду-две, будто раздумывая, собираясь с силами, потом распахивает дверцу так, что она отскакивает обратно, и он отбрасывает ее опять на ходу, спеша к багажнику разгружать вещи. Он по дороге распахивает мою, заднюю дверь, и она тоже отскакивает обратно и снова — вперед. Я жду, пока дверь успокоится, знаю ее повадки. Я знаю повадки всех вещей этого дома и всех его обитателей.

Еще я помню из школьных наук, что каждый предмет имеет свой механический резонанс и время успокоения. Выждать — пока уляжется, и начинать действовать. Так же и на войне, выбрать момент, дожидаться, пока утомятся взрывы, и махануть через бруствер.

Я выхожу из машины и, разминаясь, иду к багажнику. Я должен помочь, принять участие. Я член семьи, дома. В конце концов, я хозяин дома. Дом куплен на кровные мои денежки, и я числюсь хозяином в разных скрижалях. Конечно, депо не в записях, а в том, как ты живешь, принимаешь участие.

Берусь за сумку, не столь тяжелую, чтобы мне ее не поднять, бывало и не такие ворочал, но хватит об этом. Так говорит мой «внутренний голос» — чужой голос, записанный в голове, как на пластинке. Фразы записываются от частого повторения и целые диалоги. Вот, например: «Оставь, тяжело тебе». «Ничего подобного, не такие носил». «Хватит об этом: носил, вершил, совершил...» И так далее.

— Оставь, тяжело, — говорит сын. Оставляю. Нет смысла твердить диалог в сотый раз. Диалога не получится. Стою, молчу. Сын ухватывает три сумки сразу, ворочает, задевает меня. — Что ты стоишь?! — Он хочет сдерживать раздражение, верю, хочет. Не все в наших возможностях. Отмерено каждому временем и судьбой. Жизнь коридором, лестницы, переходы, с этажа на этаж...

— Идемте. — Невестка мягко берет меня под руку. Я тихо высвобождаюсь. Это хоть я могу проделать сам — взобраться по лестнице в свою комнату. И поднимаюсь, держась за перила, с некоторым усилием, продвигаюсь вверх. Пока отшагаю ступени, всего-то десяток, сын трижды вернется в дом и сбросит на пол тяжелые сумки. Он сбрасывает их резко, с удовольствием освобождаясь от тяжестей.

Тишина будто вошла за мной в комнату, за спиной притаилась, ее не слышно. И сумок, роняющих на пол свою тяжесть, почти не слышно. Вещи прибыли в дом, успокоились. Теперь едва слышен звон кастрюль, невестка вступает в действие, грядет ужин.

Не хочется есть, сажусь к телевизору. Жизнь продолжается, должен я чем-то «жить»?!

Как хорошо, что изобретен телевизор — счастье таких как я, «продвинутых жизнью»! Эти ребята на телевидении —

великие мастера занимать публику. Которую уж неделю они пережевывают кто человек этот, «тот» он или не «тот», и что он там делал, в кустах, ночью, один? Они обсуждают со всех сторон: поздно было или не поздно, и приходят к выводу, что не поздно. Потому что, во-первых, горел в окнах свет (спать здесь ложатся рано), а во-вторых, поступали звонки в полицию. Звонили одни соседи, потом другие. И проезжающие в машинах люди звонили. Но вот что любопытно: звонили все, кроме хозяйки дома, у окон которого человек этот стоял. И это единственная деталь, о которой не говорят на телевидении. Эту деталь я подметил сам. Даже подумал: неплохо бы позвонить прямо на телевидение и заметить...

Я не делаю этого. Люди не любят, когда им ставят на вид... когда их ставят на вид... И вообще, они — профессионалы, им не мешают детали второстепенные. И мне они не мешают. Просто я человек дотошный, педант, у меня всюду порядок, потребность четкости.

Моя рука пылливо скользит вдоль кромки стола и опускается в верхний ящик. Бинобль на месте. Я все это проверяю, не отрывая глаз от экрана. Они так умело монтируют передачи, что зрителю интереснее и интереснее. Вот и сейчас они подводят к вопросу: был ли у человека в кустах бинобль или он просто смотрел глазами в окно? Это закон, оказывается, расценивает по-разному. Полиция это никак не рассматривает, полиция беспристрастна, замечательная полиция. Но люди не беспристрастны, они замечательно разные, имеют разные мнения, которые иногда сходятся. И те, что звонили в полицию, сходятся в таком мнении, что у него был бинобль — у человека в кустах.

— А почему вы так думаете? — задает вопрос комментатор человеку, что позвонил в полицию.

— Не знаю, — отвечает им абонент, — было темно. Что? Да, человека в кустах видел. Я же смотрел в бинобль.

— А что он делал, не видели?

— Было темно, кусты высокие.

«... Думаю, у него был бинобль...». «Не знаю... Было темно... Я же смотрел в бинобль...».

— Теперь, — заключает радостно комментатор, — мы выяснили: все, кто звонил в полицию, были с биноблями. Был ли бинобль у человека в кустах? Этого мы сказать не можем

с определенной степенью определенности. Передача окончена, до новых встреч!

На экране вспыхивают какие-то бешеные заставки, клипы бредовые. Я выключаю экран.

«До новых встреч!»

Телевизор в гостиной тоже выключен, слышно, как двое беседуют. Дом насквозь деревянный, как рояль, аккорд за аккордом.

По выходным сын с невесткой сидят дольше и длиннее беседуют, а иногда выпивают за пройденные успехи, чокаются хрустальными рюмками.

Но сегодня совсем не звенит хрусталь. По-особому тихо. Даже мальчик не спорит и не кричит, пока его загоняют в кровать. Он только хнычет, и то лениво. И сын с невесткой притихли. Если только не говорят шепотом. Но это незачем, стесняться некого. Меня нет в гостиной, я не слышу, а если и слышу, какая разница? В каком-то смысле меня вообще нет. Не фигурирую в их отчетах финансовых и в расписаниях дня. Мои расходы смешные оплачиваются с моего счета в банке, так что для их бюджета, я не являю собой доходов или расходов. Я не доходный и не расходный. Полностью сбалансирован. Уравновешен, как акробат на канате. Не представляю собой силы, и приложить меня не к чему. Может быть, это меня тревожит и толкает с каната. Я жив еще, и я это понимаю. А они?

Я просто жду их шагов, последних шагов дня, а их нет и нет. Обычно невестка моет посуду, слышно. Сегодня посуда не моется, хотя завтра рабочий день, прямо с восходом солнца придет суета труда, тут уж не до посуды. Моя невестка — аккуратная женщина. И шаги у нее аккуратные. Сейчас протопает в спальню и босоножки сбросит.

Мне кажется, будто шаги замедляются у моей двери. Тук-тук в дверь и мое «Войдите!»

Невестка обычно дома в халате, а тут — в джинсах и на плечах темный жакет, застегнутый на две пуговицы, которых и есть две. Она извиняется, что так поздно, за вторжение извиняется и за все сразу. Проходит к окну, оглядываясь на стены, будто впервые в этой комнате. Стоит у окна и смотрит на бесконечный поток машин. Не прекращается он ни днем, ни ночью, лишь затихает, когда моргнет светофор далеко где-то, и нарастает с новым рвением.



Невестка достает сигарету из пачки, мнет между пальцами и убирает обратно. Поворачивается резко, будто кто-нибудь тронул ее сзади, садится на подоконник, встряхивает короткими волосами, будто они ей мешают, а они не мешают, слишком коротки. Она принимается разглядывать свои ногти, длинные лакированные, вот они ей мешают, наверное, мыть посуду, мешают, но не сейчас. Изучает, будто что-то на них ищет, царапину или изъяз, и ничего не находит. Она опять достает сигареты, мятует пачку, вытаскивает из пачки мятует сигарету, заталкивает ее обратно и бросает пачку в окно. Бросает и начинает смеяться, глядя мне в лицо. Мне не смешно и не очень понятно, отчего ей смешно. Обоюдное это непонимание приводит нас в точку отсчета.

— Извините, — вступает она торжественно, — что я выбрала столь позднее время.

Киваю молча.

— Вы — владелец этого дома, а я хозяйка. Я хочу, чтобы вы меня верно поняли. Дом — это корабль. У корабля есть судовладелец и есть капитан. Капитан, отвечает за весь корабль перед владельцем, перед командой. Вы — бывший моряк и знаете, что такое корабль. Это маленький космос, у которого есть враги и могут быть неприятности. И капитан должен вести корабль так, чтобы этих вот неприятностей произошло, по возможности, меньше. Вы понимаете?

Почти понимаю и соглашаюсь.

— Что делает капитан, когда судну грозит опасность?

Не знаю, хотя догадываюсь. Я капитаном, в конце концов, не был. Был старшиной на торпедном катере, а когда катер подбили, меня назначили на другой — охотник за подводными лодками. Когда потопили и этот катер, меня списали в морскую пехоту — отряд моряков без моря.

А в этом доме я даже не юнга. Но я и не школьник, оставленный после уроков, не собираюсь ей отвечать. Она и не ждет от меня ответа и заключает сама:

— Он принимает меры!

О чем так круто?

— Меня никак не волнует, что вы разглядываете нагих женщин. — Она замолкает и ждет. Она, видно, думает, будто сказала мне то, чего я не ожидал, будто застала меня за чем-то нехорошим и говорит об этом в лицо вместо того, чтобы скользнуть намеком.

— Доступных женщин, — добавляет она и глядит мне в лицо твердо, будто одерживает победу над той женщиной и над всеми женщинами всего мира.

— Доступных?

Она молчит, не отрывая от меня глаз.

— Знаете что? Лучше пойти к проститутке. Они обслуживают и очень старых мужчин, просто показывают свое тело и берут недорого.

— Ну, я не бедный, могу потратиться. В конце концов, заложу дом.

— Берут недорого, — повторяет она, подчеркивая, что пропустила мимо ушей мою сноску на дом. — И знаете чем они лучше этой? — Она делает неопределенный кивок. — Знаете?

Молчу, как вкопанный.

— На проститутку не надо смотреть в бинокль. — Она отворачивается, смотрит в окно, барабанит ногтями по подоконнику. — И, между прочим, — она опять поворачивается ко мне, — это карается. Между прочим. Кажется, до шести месяцев заключения. Подглядывание в пределах чужой собственности. А применение технических средств усугубляет.

— Так заявите в полицию.

Она вздыхает, она серьезно расстроена.

— Я повторяю, меня не волнует ваша жизнь, ни личная, ни сексуальная. Но у вас есть сын, у сына — семья. И хотя вы нам родной человек, моя семья — отдельная единица, другой корабль. И вы не имеете права вмешиваться!

— Вмешиваться?!

— Ваш сын пользуется вашим биноклем.

— Мой сын человек взрослый, с него и спрос.

— Вы, — продолжает она с расстановкой, — не имеете права!

— Я не давал ему бинокль.

— Он сам берет. И вы это знаете совершенно. Он смотрит в бинокль на эту женщину, пускает слюни.

Молчу.

— Насмотрится и приходит ко мне в постель. Это грязно. И вы это знаете.

— Чем больше вы мне расскажете, тем больше я буду знать.

— Чем больше вы знаете, тем больше я расскажу. Вы знаете замечательно, что мальчик тоже пользуется биноклем, а это уже... сами знаете.

Стул вдруг ожесточается. Я слишком долго сижу, не встаю. И шрам над бровью занял капризным ребенком. Рвется что-то и чавкает в голове. Так мины шлепаются в клейкую глину и запевают косящими вихрями... Я кладу руку на лоб, глажу шрам. Не позволяю себе такого на людях, но у себя в комнате... Единственное, чего я хочу от жизни, чтобы женщина эта покинула мою комнату и немедленно. Я не могу сказать ей об этом. Я говорю только, что мне плохо и тщетно пытаюсь встать со стула. Она помогает мне дойти до кровати, укладывает меня и стоит рядом с минутой. Она не уходит, и я открываю глаза. Она говорит «Спокойной ночи», идет к двери. Потом вспоминает... и возвращается.

Не — ко мне, к письменному столу. Легко выдвигает ящик и достает из него бинокль, показывает его мне, как учительница завязанному двоечнику, и вешает на плечо. Перед дверью задерживается.

— Ну вот, теперь я — капитан, — смеется она собственной шутке и, наконец, уходит.

Она — капитан, видели? А — я?!

Не капитан, не боец, не воин. Мой катерок утоплен. Погонны сорваны, ордена. Ты, папашка, разжалован, списан в пехоту. Такие дела, папашка.

Я — у окна, поздняя ночь, не спится. Ни разговоров больше, ни тревожных шагов. Все в доме спят. И в доме через дорогу выключен свет. Никто не бодрствует в целом городе, не живет. Один я брожу по комнате, из угла в угол, пока, наконец, останавливаюсь у двери и ключ поворачиваю, запираюсь. Стою, прислушиваюсь, привычка старая боевого разведчика, убедиться, что вокруг никого, и — следующий шаг.

Шаг в сторону шкафа. Медленно открываю дверцу, хотя знаю — не скрипнет, тщательно смазана. В шкафу полно барахла; костюмы, их больше некуда надевать, туфли, начищенные и запыленные, не суждено им, беднягам, быть сношенными. Тут, слева... нет, подождите, он же висел тут, мой ковбойский жакет и «стэтсон». Да, да, вспоминаю, я собирался его надеть в парк, отобрали. Так просто, взяли да отняли. Скажи кому, не поверят. В этом городе даже банки не грабят. В соседнем — грабят, а у нас нет. Поэтому, может быть, и лежит такой слой тоски на пыльных улицах. Так что же это, по-моему: разоружение, контрибуция, ленд-лиз? Я что,

больше здесь не хозяин? А кто я тогда? Бродяга, нахлебник, бомж? Планетянин бездомный? Скоморох, у которого отобрали колпак?

И я нервно ощущаю, себя сначала, потом вещи, никчемные вещи списанного хозяина. Я нахожу все: костюмы, галстуки, запонки и булавки, которых не помню, а главное... главное, вот она, матросская форма, воротничок голубой. И брюки клеш, вытянулись на вешалке ровненькие, наглаженные, и я, ха-ха, готов идти в увольнение, хоть к девочкам, хоть на танцы. Морской костюм мой не конфискован, я, значит, тоже не конфискован. Всему есть дипломатическая граница, она смещается, отступает, несет потери, но она есть.

А прямо под вешалкой сапоги, не те, ковбойские, ярмарочные, те конфискованы, а вовсе другие, морские и настоящие, те, что не заблестят, сколько ни чисти. Они не для яркости сшиты, для дела военного и мужского.

Стою на коленях и чищу «бархоткой» матросские сапоги. Почисту да полюбуюсь. И вспоминаю: пора поменять бумагу. Они бумагой набиты, чтоб не теряли форму. Бумага комкается и сохнет со временем. Вот, обновлю заодно, раз уж я здесь. Беру сапог, правый, и аккуратно опустошаю, оглядываюсь на дверь, за которой давно никого нет.

Бумага вытащена, я запускаю руку глубже и достаю вазочку, фамильный хрусталь, ту самую, что скучала на пианино «сто лет» и вдруг пропала. Рассматриваю, любуюсь. Темно, а я разглядываю «на свет». Надо быть женщиной, чтобы понять такую штуковину, самородок блеска, вещь в себе. А я, в общем, мужлан, былой вояка, и никаких особых ассоциаций не ощущаю. Стою на коленях перед шкафом, держу вазу за горлышко, как гранату перед броском. И у меня ощущение, будто вот-вот пушу слезу. В моем возрасте и такое простительно. Простительно, да обидно. И я шепчу: «А ну, выше нос, пехота!».

Вечера стали длиннее, а дни короче, декабрь. Я больше не езжу в парк. Невестка с сыном зовут меня всякий раз, но я отказываюсь, говорю, что холодно, мерзну, но это не так. Не хочется доставлять родным неприятности. Перестаю отличать неприятности от «приятностей», отсюда и вытекают непредсказуемые последствия. Дома я совершенно ориентируюсь, а в

парке... я постоянно в страхе, что сделаю что-то смешное, необъяснимое людям.

И неудобно уже в парке, среди голых деревьев. Сосна, приятельница моя, скучает, вечнозеленая, единственное там всегда живое дерево. Но и ее не хочу видеть. Опять скажут: не прислоняйся, не трогай руками. А мне так нравится ее душистая смола, тягучая, будто мед, приятно липнущая к рукам. И розарий на клумбе прикрыт на зиму пластиковым чехлом, чтобы цветы не замерзли.

А в нашем садике цветы круглый год. Летом цветут на солнце, зимой над клумбой вешают крышу, и получается зимний сад. Гуляешь, зайдешь посидеть, погреться. Хотя цветы в парнике не те, и запах другой, и цвет зимний какой-то. А может быть, кажется. Такой возраст, что все уходит маленькими шажками: запахи, чувства и осязание жизни. Потихонечку промерзаешь. Интерес к жизни сужается на глазах. Я ощущаю это почти физически, последнее время — особенно.

Последнее время, это когда? После того, как отобрали бинокль. И телевизор включать не хочется. Бинокль тут ни при чем, такие вещи, явления, вовсе не связаны. Так просто совпало, что их передача подходит к концу. Они так и не выяснили, кто был тот человек перед домом, что он там делал и был ли при нем бинокль? Выяснили, да не сказали. Не их это дело играть в действительность. Их депо — подогревать интерес, будто кастрюльку с супом. У них, видно, есть планы на будущие программы, и роль человека в кустах перед домом, роль этакого героя «зарезервирована». Пора, наконец, сменить пластинку, переключиться на что-нибудь свежее. Они, видно, так и сделают. Я представляю себе, что будет в следующей передаче. Очередной перепев старого в новое. Всегда найдется один чужак на целый город. Весь город живет этим одним, обсасывают его, как обглоданного цыпленка, все уже высосано, а оторваться никак.

Им все еще интересно, а мне уже нет. Маюсь у телевизора, лень включить. От этого вечера еще длиннее. На дворе ночь, за окном улица — полосы яркого света от пролетающих мимо автомобилей. Целая ночь исполосована их огнями. И дом, тот дом, на другой стороне улицы, отодвинулся как бы. Раньше виделось больше. Ничего не поделаешь, старость, приходит и отбирает любимые вещи. Они приходят и отбирают.

Только не все у меня отберешь, не так-то просто. Я видел то, чего им не увидеть ни в бинокль, ни в телескоп. Только и видят женское тело, другое их не волнует. А я видел живые сцены из ее жизни. Видел — она ждала. В нарядном сиреновом платье. В туфлях на каблуке, при сережках, подолгу разглядывала себя в зеркале, подводила губы. Так женщина готовит себя к свиданию, очень ответственному, которое может решить ее жизнь. Она не шла никуда, накрывала стол на двоих и присаживалась. Богатое оформление: тарелки, супница — расписной фарфор, сосуд из матового от холода серебра со льдом и серебристый носик мерзлой бутылки шампанского — ледяной парок тает манящим облачком. Так, помню, в детстве, мороженщица открывала крышку лотка, и брикеты мороженого дымились зимним паром.

Рядом с шампанским и потным от холода серебром — крохотная хрустальная вазочка, а в ней роза, точно такая, какие растут в нашем саду, всегда одинокая, желтая. Холодный парок плывет и тянется к ней, обволакивает, ласкает, а она клонится чуть и будто посмеивается тихим грудным смехом. А женщина не смеется. Она сидит за столом, обняв подбородок ладонями. Ее ногти с отчетливым маникюром, тербят мочки ушей, гладят неторопливо. Женщина ждет. Придет он, вот-вот придет. Задержался на светофоре, замешкался. Может быть, ищет цветы, гладиолусы или свежие розы.

Включен телевизор, она глядит в него, а не смотрит. Экрана не видно мне, а лицо женщины — отражает совсем другое. Я застываю с биноклем... бинокль отобрали, но это неважно, это им не поможет. Если солдат убит, и сжимает в руке винтовку, ее нельзя у него отнять. У покойника — можно, а у солдата — нельзя. И у этого есть название: мародерство.

Пальцы рук отекают, но я не в силах разжать их. Если не всматриваться, то ничего и не происходит. Поэтому всматриваюсь в лицо женщины, долго, внимательно. За какой-нибудь час утекает жизнь. За минуты она стареет на двадцать лет. Сначала — юная, почти девочка, с улыбкой готовности к тому, что должно войти, влиться в нее. Потом что-то куда-то уходит, тушется временем, и на лице проступают морщинки, легкие, набегающие штрихи. Наплывает

густая туча, лицо гаснет. Женщина поднимается из-за стола и какое-то время бродит по комнате. Она что-то забыла, вспоминает: пора убирать со стола, время позднее. Шампанское возвращается в холодильник, фарфор — в сервант, а роза... бедная, скомканная, путешествует в мусорную корзину, утром ее загребут мусорщики.

Прибрано, пора отходить ко сну. Женщина раздевается.

## 15

Сильное ощущение: меня разглядывают. Голоса, машины сосредоточились на моей персоне. Огни устали, отъявленные, нахально. Свет забирается в крошечки звонкого хрусталя и балуется, шалит озорным котенком. Огни отворачиваются, и последнее, что успеваю запечатлеть в памяти — это розы, нагие, свежие, только уснувшие.

А голоса бодрствуют:

— Осторожнее надо.

— А он поперся на красный свет.

— Ездить надо, а не гонять.

— Убережешься от них, маньяков!

— И все-таки... светофор здесь и пешеходы.

— Пешеходы?! Вот уж кого не видел! Больше маньяков, чем пешеходов.

— Преувеличиваете... наш образцовый город...

— Образцовый?! Вы телевизор смотрите? Этот маньяк в кустах...

— Нашли одного, который месяц показывают...

— Пока не найдут другого, почище.

— Вот и нашли.

— С чем я и поздравляю всех нас, жителей образцового города!

— Зачем же всех? Вы это нашли его, себя и поздравьте.

— Я виноват?! А для кого светофоры?..

Автомобили меня разглядывают, а люди уносят. Голоса уплывают и вслед за ними — огни. Мы едем, и это странно. Люди сидят на скамье, вдоль стены, а я лежу. Что это, катер, передвижная землянка? Я ранен? В котором бою? Представлен к награде?

— Надо переходить на зеленый свет. — Голос ласково— равнодушный жужжит комаром над моим носом. Рука на поручне... да, носилок. Меня везет скорая помощь. Нет

боли, ушибов не чувствую. Только усталость. Дорога ровная, меня укачивает, я закрываю глаза.

... — Вы сдались в плен.

... Вскрываю, меня хватают, укладывают, придерживают. Нельзя закрывать глаза. Закроешь и там оказываешься, где не давали уснуть, на табурете, перед столом, за ним — следователь:

— Вы перешли фронт. Где?.. У Придорожья? Село такое? Уверены, что село? Допустим. А за селом минное поле. Как вы нашли проход? Не знали, и перепрыгнули мины?

— Не помню. Шел на огонь. Перевалил бруствер и — на огонь.

— Бруствер?! — Она поднимает глаза, и я вижу, следовательно-то — женщина. Дамочка в гимнастике, знаки отличия. Я для нее не мужчина, я — подследственный. Она и не смотрит в мою сторону, я ей не интересен. Ей безразлично и все равно кто перед ней сидит в трех шагах от нее, на табурете. Она говорит медленно тихо, и не кривя губы. Не ее дело переваливать через бруствер. Она представляет себе туманно — что это, бруствер? Таким доказательством ветхим не оправдаешься. Ну, представляет как-то и хватит. Ей достаточно для работы. Перед ней — я, а не огонь...

...Нельзя закрывать глаза. Я открываю глаза, привстаю.

Не дам уснуть себе, провалиться в прошлое. Дать им выкрутить руки и увести? Эти носилки, такие мягкие и удобные, будто кто-то сжимает веки и убаюкивает. Кто-то ласковый, очень добрый, желает мне счастья и сна. Не знает он что происходит во сне. Во сне я снова на табуретке, передо мной стол, за столом следователь. На табуретке о сне не думаешь. Так хочется спать, что можно сойти с ума, но это уже не мысли, навязчивое видение, жажда, психоз.

Я напрягаюсь, чтоб не закрыть глаза. Передо мной стеклянный квадрат окна задней двери. За нами поток машин — стая гончих огней. Двойники фар протыкают тьму глазницами волчьими. Моторы воют на перегоне, тихнут на перекрестке, взывают снова, как по команде... и вдруг уносятся в сторону. Мы подъезжаем, въезжаем, носилки переставляют на другие колеса, трясет, как на узкоколейке. Стены белые, как огни фар. Халаты белые, белые шапочки. Меня осматривают, ощупывают, одни, другие. Сажают, потом ставят на ноги. Смеются, похлопывают со всех сторон, поздравляют.

«Да вы — счастливчик!». «Он — счастливчик!». «Вот, счастливчик!».

Большой пространственный кабинет, почти уютный. Я сам вхожу в него. Сестра едва поддерживает мой локоть для страховки. Она указывает на кресло, уютное мягкое, перед столом. Врач задержался где-то, я жду. Сижу, не смыкаю глаз. Не так я стар засыпать, где попало.

— Да, да, счастливчик, — поддакивает кому-то врач, входя, кому-то, кто остается за дверью. Ба-а-а! Мой старый знакомый! Именно тот, что навещает меня раз в неделю. Воистину, я счастливчик!

Врач хлопает папкой об стоп, толстой папкой из дорогой кожи. Он падает в свое кресло, отъезжает к стене, кресло-то на колесиках, подкатывает обратно.

Смотрю на него, не моргая. Устал зверски, хочется спать, но я не усну, я выдержу.

— Вот и прекрасно, все обошлось, — доктор листает папку, бумага лоснится под его быстроходными пальцами. — Я знаю вас так давно и не могу понять, сколько вам лет. — Он что-то находит в своих записях и присвистывает. — Я, батенька, в ваши годы забыл бы и выкинул из головки.

Молчу.

— Послушайте, дорогой, — он изгибается над столом, переходит на шепот, — я не скажу вам, что я ваш друг, не буду врать, но вы мне симпатичны до чертиков. Скажу больше, я вам завидую, да. Мне нет пятидесяти, но я с вами, на вашей, скажем, позиции.

— Мы, что, на войне?

— Ну, нет, мы в благом краю, в дивное время. Все безупречно благополучно, может быть — слишком. А люди... они всегда беспокойны. Им подавай конфликт, завязку. А не подашь вовремя, разбередятся, толпой — на улицы, и — стрельба. Вы-то уж это знаете, вы из России?

— Я из России, знаю.

— Да, вот поэтому мне и легко говорить с вами. Думаю, что и вам со мной легко, я — психиатр с многолетним стажем. Мы, здесь, в Америке, не желаем бунтов и прочего. У нас есть Голливуд и телевидение. Все, что люди хотят, получают немедленно, не выходя из дома с флагами. Вы осуждаете телевидение, вы не правы. Здесь — полиформизм, свободный рынок, здесь продается то, за что народ

платит деньги. Нельзя осуждать целый народ... Ну, ну, не горячитесь... — он говорит это потому, что я начинаю тереть лоб, я это делаю, когда нервничаю. Шрам снова саднит... как только нервничаю...

— У меня здесь все! — доктор стучит пальцем по толстому переплету. — О вас написана целая книга! — он хохочет рывками, будто откашливается. — Вы — человек исключительный, должен признать. К вам нужен иной подход, я-то уж знаю! Я вас в обиду не дам. Не подпущу к вам репортеров, и никакой полицейской хроники! Ради благополучия, вас и ваших близких. Да, между нами, скажите, — он переходит на шепот, — куда вы шли?

— На свет... на зеленый свет.

— Вы шли на красный, но это неважно. Важно для полицейских. И — для вас, между прочим. Легко могли распрощаться с жизнью. Вам, что, всю жизнь так везет? Вашу долгую жизнь?

— Я не гадал на ромашке.

— Ну, да, я вижу, вы человек решительный, ромашку в сторону и — на красный свет. Я понимаю, вы торопились. Куда вы спешили? Вас высадили у светофора? Перейти улицу?

— Высаживают десант, а я дотопал.

— Дошли то есть?! Как?

— Ножками, ножками.

— Там нет тротуара, канавы, заборы...

— А я пешком, как в разведке.

— Как в чем?!

— В разведке. Война, понимаете ли, враг кругом, а тебя — в разведку.

— Ну, ну, интересно, рассказывайте.

— Там лимузинов не подают, дороги разбиты, оврагом, обочиной, жмешься к заборам, ползешь канавами. Вам интересно?

— Конечно, очень, идете в разведку, все осматриваете...

— Не все, есть задание.

— Интересно! Какое же вам давали задание?

— Взять «языка».

— Языка?!

— Ну, да, пленного.

— Пленного языка?!

— Нет, просто — пленного. А «языком» называют, потому что он говорит.

— И что же он говорит?!

— Ну, он что знает, то и рассказывает, про вражеское расположение и так далее.

— А почему он рассказывает? Это же тайна, военная тайна.

— Ну... как вам сказать почему? Вот я сижу тут и вам рассказываю, а почему?

— Действительно... что же дальше? Пошли в разведку и привели «языка»?

— Да, можно сказать привел. Майор сказал: «Молодец!». Ты, говорит, мне прямо подарок сделал, ну, как цветочек ко дню рождения. Он очень смеялся. Показывал на того мальчика и смеялся. Совсем юный был мальчик, лет семнадцати, только что взяли в армию, щечки розовые, прямо цветочек.

— Он вам понравился?

— Мне — нет. Мне нравились девушки. А он майору понравился.

— Почему вы так думаете?

— Ну, вызвал меня на утро майор и приказал расстрелять «языка».

— Расстрелять?! За что?

— Не знаю. Приказ есть приказ, это война. Вы, видно, не были на войне?

— Не довелось. А вы его расстреляли?

— А то как же? Невыполнение приказа — расстрел. Я и подумал: пусть лучше он, чем я. Отвел к забору... Вам интересны подробности?

— Да, да, подробности, все интересно, все очень важно.

— Подробностей-то особых не было. Я выстрелил, он упал. Не шевелился, лежал. Мертвец мертвецом, а щечки розовые.

— Ну, хорошо, достаточно на сегодня, вы устали. И вас ждут, родные в приемной. Скажите только... последний вопрос, а что вот это? — Он разворачивает пластиковый мешок, которого я почему-то не видел. Вытряхивает его содержимое на поднос, блестящий, почти серебряный. И на него падают, искрясь, изумрудики битого хрусталя, то — мелкие, то — крупнее, и, тех, что крупнее, я легко узнаю, хотя они всего лишь осколки целого, не склеишь, не соберешь. Затихают последние изумрудики, раскатанные бисером по подносу, а доктор трясет и трясет пакет, как дохлого зайца за уши, и из него выпадают, садятся хлопьями

мятые лепестки свежих роз, желтых роз, тех, что пахнут восторженным запахом, от которого хочется плакать, а плакать нельзя ни в коем случае.

— Да, вы счастливчик, — вздыхает доктор, — в таком-то возрасте, с цветами, на красный свет. И ваза — вдребезги, цветы — всмятку, а вам хоть бы что, ни единой царапины!

— Счастливчик... счастливчик, — не устает твердить доктор.

Мы оставили кабинет, шагаем к приемной. Белые коридоры, стены, белые потолки. Круглый просторный холл разделен на две части рядом столов. За столами женщины в белых халатах и шапочках. По одну сторону от столов мы: доктор и я, по другую — мои родные: сын и невестка. Это напоминает мне сцену обмена военнопленными.

Прощаюсь вежливо с доктором, и мы идем: сын, я и невестка. Впереди — я, сын и невестка чуть сзади, в некоем отдалении. Треугольный конвой. Невестка в туфлях на каблучке, сын в новых ботинках. Веселенький перестук молоточков. Тут, выясняется, я — в домашних туфлях, в своих неизменных шлепанцах. Комично, да не смешно.

Наблюдаю себя как бы со стороны, с некоей съемочной площадки, где-то над нашими головами. Оператор, под ним движется треугольник: сын, я и невестка. Я — передним углом, правым задним — невестка, а левым — сын. Я — впереди, но ключевой угол — правый задний, невестка. В руке у нее мешочек, пластиковый, наполненный хрусталем — останки любимой вазочки.

Она простит мне все, но не это. И сын мой, любимый сын, не простит мне того, что она не простит. Я вижу это по его сжатому кулаку, а в кулаке мятые лепестки роз. Сын шествует сзади, и я не должен всего этого видеть, но как оператор сцены, я наблюдаю, как он заносит руку и с силой швыряет комок потных от его кулака роз в железную урну. Бросает и шевелит губами. Ну, ну, сынуля, не горячись, все образуется. Лишь бы кончился вестибюль, а за ним лестница, не такая уж длинная, но я вдруг чувствую, что идти не могу, сил полно, а ноги не повинуются. И вестибюль разворачивается вокруг медленно... вдруг — быстрее. Люстра кружится и столы с сестрами белыми колпачками, а один стол прямо летит на меня, наезжает ярким автомобилем. За столом женщина, но не медсестра в белом халате, и не женщина, что в сиреневом платье

ждет меня за накрытым столом с шампанским, я вот-вот должен войти, с розами... женщина-следователь, в ее руке плакатом страничка машинописного текста: «ПРИГОВОР: ИЗМЕНА РОДИНЕ».

16

— Ты что, наказан?

Делаю вид, что не слышу его шагов, не вижу плывущей в дверь тени. Шагов, и правда, не слышно, он думает, что крадется, плохой из него разведчик, из моего сына.

— Тебя что, в угол поставили? — он усмехается, кашляет. Шутка не удалась, он понимает. Он мой сын и многое понимает, но не все. Я поворачиваюсь, наши глаза встречаются. Ему, сыну, очень не по себе, а мне — немножко. Он стоит посреди комнаты, а я в углу. От этого, может быть, он и не знает куда девать руки, цепляет к поясу, на груди скрещивает. Он в спортивном костюме — ни одного кармана.

— Вот, решил, — полумямлит он, — пробегусь перед сном, не спится.

— Забеги к ней по дороге.

— Ты — про кого?!

— А ты?!

— Я-а-а?! Это ты сказал!

— Перейдешь улицу, перебежишь, объедешь. У тебя масса возможностей.

— Улицу?! Кто там через улицу?!

— Ты на кого глазеешь в бинокль?

— Какой там бинокль?! О чем ты, старый?!

— Ты лжешь! Мне стыдно.

Его руки ищут карманы, которых нет. Спрятал руки, и ничего нет? Я прихожу на помощь:

— Дай мне кресло.

Он двигает энергично кресло, он — спортсмен, ему легко и привольно.

— Нет, не сюда, к окну.

Он придвигает, вперед, назад, налево, вправо. Кресло находит место. Сын помогает мне сесть.

— Так, — говорю, — теперь удобно. А ты становись в угол.

— Что-о-о?!

— Я сказал — в угол, я твой отец!

Он тихо ступает в угол. Его скупы полнеющие косит ухмылка. К отцу снисходителен, великий сын.

— Пойдешь и скажешь, что не будешь подсматривать.

— С ума сошел?!

— И передашь цветы, от меня.

Он размышляет, не долго.

— Зайду. Если настаиваешь. Не сегодня, договорились?

Мой сын — ловкий спортсмен.

— Сегодня и без того много хлопот.

— Хлопот?!

— Весь этот маскарад...

— Что? Маскарад?

— Да, разве не видно в чем я одет?

— Вот-вот, в чем ты одет? Хотел спросить, да не хотел обижать.

— Это моя форма матросская.

— Ты что, в море уходишь?

— Ходил в море, и — на свидание, в этой форме.

— Оставь ты, война давно кончилась. Ты — в другом полушарии, в стране, где счастливая старость. В Америке люди мечтают выйти на пенсию, жить в удовольствие. Мы — в тихом, маленьком городке, здесь — все, чтоб жить и радоваться. Жить в мире. А ты... какой-то неугомонный. Воюешь с нами и сам с собой. Пора заключать мир.

— Война не кончится. Никогда.

— Ты сам не знаешь — о чем.

— Я знаю, ты слушай.

— Ну, слушаю.

— Внимательно. Стой тихо, слушай.

— Стою, слушаю.

Стоит. Я разглядываю окно. Бинокля нет, и не вижу что происходит там, на другой стороне улицы. И никогда не увижу. Прощаюсь мысленно.

— Что, — говорю я, — что ты сказал?

— Я?! Ничего.

— Это она сказала, женщина.

— Какая женщина?

— Невестка. Разве она не женщина? Сказала: мне нужна пижама.

— Да, ты же спишь в пижаме.

— Она сказала: понадобится.

- Тебе сказала?
- Ты слушай, слушай. Над головой, видишь, отверстие? Там вентиляция, доносит все из гостиной.
- Ах, вот как, вот ты как! Подслушивал!
- Я же былой разведчик.
- Вот значит как! — Он воодушевляется, ему так легче. — Значит, ты знаешь все!
- Всего-то не так и много: за мной приедут. — Я проверяю свои часы, морские, старые, с большим светящимся циферблатом.
- В конце концов, должен понять! Меня, ее. Семья, карьера... ты ставишь всех под удар, всю нашу жизнь, все, что накоплено, сбито, сколочено! Если в доме полиция, я — конченный человек. Это тебя ничто не берет! Грузовики об тебя ломаются. Ты — под колеса мог... чудом спасся.
- Разведка боем.
- Сын утихает, он устал. Он опускается на пол, в углу, прячет лицо в ладони. Может быть, плачет. К тому нас клонит ход сценария.
- Ты так и не наигрался в войну, — говорит он вяло.
- Еще не поздно, — вздыхаю.
- Кто говорит о чем, я не знаю.
- Ты нас пойми, мы устали. Все время ждать, звонков полиции, скорой помощи. Ты этим становишься... экстравагантным. И мы не молоды, мы наигрались в войну.
- Все решено, хватит — об этом.
- Тебе легко, ты ведь не понимаешь. Они рыщут по следу, газетчики, телевидение. Ты мой отец, а не их. Им на тебя плевать, на всех плевать. Им подавай скандал. Чем меньше город, тем больше нужен скандал. Иначе город не жив. Им нечем больше дышать, незачем открывать газету, включать телевизор. Я не хочу стать пищей для их слюнявых ртов, их выпученных глазниц, их пересуд вонючих. Я не хочу стать падалью, снедью для псов. Нам не легко было решиться, пожертвовать...
- Об этом поздно, идем, темнеет.
- Не торопись, приедут в девять.
- Надо собраться...
- Не беспокойся, мы обо всем позаботились. Тебе хорошо будет.
- Мне хорошо будет.

- Вполне уютный пансионат... комфортабельный. Там большой парк, аккуратненький. Люди хорошие, мы проверили. Там есть и старше тебя, ты молодым там будешь. И женщины... женщину встретишь...
- И поднесу ей цветы.
- И поднесешь ей цветы.
- Ладно, девятый час. — Я — перед зеркалом, высоченным, в целую дверь шкафа, я в нем весь: матросская форма, под ней тельняшка, короткие сапоги, легкие, предназначенные десанникам, для массированных бросков. Сапоги начищены, в комнате пахнет кремом.
- Мы приезжать будем каждые выходные, — повторяет сын, кажется — в третий раз, — и привозить розы. Скоро опять урожай, ты любишь желтые?
- Да, это цвет огня.
- У тебя будет подруга, будешь дарить ей свежие розы. Ты этого, кажется, больше всего хочешь?
- Люблю играть, в войну и в любовь.
- Сапоги не скрипят, скрипят половицы. Дом старый, просится на ремонт. Уже не моя печаль. Другие мои, старческие заботы. Дожить, дотянуть! Встряхнуть остаток в стакане, глотнуть залпом. Лекарство горькое, но его надо испить. Солдат я и мужчина. Сколько бы ни прожить, но достойно.
- В гостиной, куда я редко заглядывал последнее время, предотъездной хаос: чемоданы уложены, а что не втиснулось, разбросано, где попало. Всегда что-то не входит. Вон, туфли, Мои выходные, стоят себе прямо под накрытым столом, будто я — тут невидимкой. Туфли мне доведут позже, объясняет невестка. Все, что не уложилось, доставят в эти же выходные, первые выходные в доме уже без меня.
- Покуда я еще здесь, полагается выпить чаю. Сбор семьи. Особенно, если какое событие, и по обычаю, посидеть «на дорожку». Все садятся за стол, а меня приглашают вдобавок. «Ему нужно особое приглашение», — слышал я много раз через вентиляцию. А сейчас слышу: «Пожалуйста, садитесь...». Я уже гость, полугость, проявляю вежливость, не сажусь с первого приглашения. И с третьего не сажусь, и — с пятого. Я задумался. Ничего не забыть в дорогу. Они все привезут, все ненужное.
- Бинокль, — командую и тяну руку. Невестка не вздрагивает, лишь замирает, как бабочка налету, коротко, незаметно.



но для глаза, для старого человеческого глаза, и продолжает движение, свой полет мотылька над гнездом. Слишком долго ищет ключи. Нет, мне не кажется, я вовсе не тороплюсь. Мне-то уж некуда торопиться. И ей — некуда, «скорая» будет точно в девять. Она просила их не опаздывать. Я это слышал сквозь вентиляцию.

Они почему-то отвозят на скорой помощи, на машине с красненьким крестиком. Ничего это не значит. Просто у этого дома для престарелых такой договор с компанией перевозчиков человеческого старья. Берут дешевле других, вот их и наняли. А то, что машина с крестом, значения не имеет. Оно не должно травмировать пациента. Ему-то какое дело? Везут тебя и куда везут? А на чем — неважно. Мои хотели доставить меня на домашней машине, но это запрещено. Такие правила в доме, где мне предлагается жить. Нежелательны расставания сцены, это травмирует обитателей дома, вот и ввели правило.

Я все их правила выяснил сквозь вентиляцию. Сын с невесткой тщательно обсуждали целыми вечерами: что можно, чего нельзя, и что сколько стоит. Пища из ресторана стоит дороже, чем общий стол. Можно шампанское заказать, и за поле для гольфа надо платить отдельно. Шампанское я не пью, в гольф не играю. В общем, жить можно и даже недорого. А главное, под присмотром специалистов, это важно. Так говорит невестка сыну, и он соглашается. Прекрасно слышно сквозь вентиляцию. Они согласны почти во всем. Навещать — каждые выходные. Он — каждые, а она — через раз, у нее хозяйство, куча забот. Этот вопрос трений не вызывает. Если мне станет хуже, можно нанять сиделку. Вообще, дом этот, где живут старики, солидный: постоянно дежурит врач из госпиталя, и — свой участок на кладбище, кстати, недалеко, и живых возят навещать мертвых. Они это называют «Программой плавного перехода». Можно и не участвовать в программе, если имеешь предубеждения. Некоторые не участвуют, сначала, но со временем втягиваются. Жизнь засасывает...

— Бинокль, — повторяю настойчиво, но спокойно.

— Да, да, сейчас, — откликается глухо невестка. — Тут был ключ, куда-то девался ключ.

Ключ все же находится, и она отпирает сейф. Фамильные драгоценности, письма, разная бумаженция. Оттуда и достаю мой бинокль, потертый, бывалый. Футляр затерялся, а

ремешок уцелел, и я пристегиваю им бинокль к широкому флотскому поясу с металлической бляхой. Я, кажется, полностью экипирован и готов к походу.

— Садись, чаю поьем, — настаивает сынок.

— Что-то не хочется, — смотрю на часы. Без четверти девять. — В саду побуду.

— Ну, вот, не хочешь в последний раз... — начинает сын и отсекается.

— Оставь его, — говорит мягко невестка.

Правильно говорит. Мы понимающе смотрим друг другу в глаза. Она понимает меня лучше, чем мой сын. И мне кажется, что она умнее его. Как ни странно, но это не обижает меня, а даже наоборот, ободряет. Хорошо, что в такой момент хоть один человек тебя понимает. Мне кажется даже, будто она читает мои мысли. Словно прослушивает под вентиляцией. На то и женщина. Она берет меня под руку и ведет в сад, к скамье, что у самых ворот.

— Вам здесь будет удобно. — Невестка сажает меня, но я тут же встаю, не сидится.

— Ты куда? — беспокоится сын. Привык, что я доставляю всем беспокойство. Все позади, теперь уже скоро.

— Пройдусь по саду.

— Не беспокойся, мы последим за садом. — Он сходит с крыльца, пару шагов делает вслед за мной и отстает, возвращается. Сын проявляет такт.

Я ухожу в глубину сада, парник огибаю, за ним беседка. Я ищу холмик, едва заметный. Не нахожу, но знаю: он здесь, хотя не виден. А мне и не надо видеть. У меня развита интуиция, как у любого с физическим недостатком. Старость — счастливое время, она же и недостаток. Или — избыток, что — то же самое.

Я не сентиментален, просто пришел к холмику, бывшему, вроде меня. Я не пушу слезу, я ведь и не любил Дэда. Не позволял себе полюбить. Ну, ничего, он простит меня. «Прости, старина», — говорю я вслух и ковыляю обратно, к воротам, к скамейке.

Здесь я и стоял тогда. Дэд выл в глубине сада. Мальчик бил его толстым ремнем, Дэд огрызался. Он, видно, совсем устал от побоев и взвыл совершенно по-волчьи, так, что откликнулись все собаки вокруг. А я грелся на солнышке, устал воевать с мальчиком, он сильнее. Дэд поднялся на свои старые папы, заковылял, я думал — ко мне, но он похромал

мимо. Не остановился, лишь задержался на полсекунды — поднять глаза, и поковылял дальше. Я мог наклониться, схватить его, я был близко. Просто не ожидал, что так все кончится. Он знал, конечно, что я такого не ожидал, у него было такое последнее преимущество. Надеюсь, последний он, кто погиб на моих глазах, уставших от жизни, от суеты дня.

Скамья холодная, влажная от росы, солнце недавно село, меня знобит. Отстегиваю бинокль, навожу на дом, прямо через дорогу. Окна не видно из-за машин. Чтобы увидеть окно, надо подняться в спальню или хотя бы в гостиную.

Я не войду ни в спальню и ни в гостиную, никогда больше. Я написал им об этом в письме, прямо, внятно, разборчиво. Что я им написал? Что жить надо счастливо, а умереть и того счастливее. В любви умереть и в радости. В объятиях любимой женщины, у нее на глазах. Да, так вот и написал. Авторучку заправил чернилами красными. Расписался и ручку воткнул в стол.

Да, не вернусь, незачем мне заглядывать в чужую спальню. Как бы мне ни было здесь хорошо, не вернусь. Фронт перешел в наступление, и землянка с ее обжитостью позади. Передо мной улица и трассирующие очереди огня. Невестка отворяет ворота, автоматические: жмешь на кнопку, и разъезжаются сами, приглашают. На часах без пяти девять, сейчас подъедет машина. Невестка стоит в тени. Огоньки пролетающих мимо фар бьются в ее лицо, как целлулоидные мячики. Она улыбается и идет ко мне. В какой-то момент, единственный и короткий, в ее улыбке мелькнет что-то дьявольское. Момент, и она выходит на свет окна.

— Я принесу цветы. Лучшие мои розы.

— Желтые?

— Очень желтые.

Она заходит в парник, выбирает розы. Может и опоздать, на часах почти девять. Но она не опаздывает. Возвращается с ароматным букетиком.

— Цветы для любимой, — говорит она и смеется.

— Спасибо. Я буду помнить.

— Ну, вот еще, — говорит вдруг сын, — мы не прощаемся.

Я не заметил, как появился он на крыльце, слежу за воротами. На часах девять. Может, они забыли, перепутали, не приедут? Я смотрю в глаза сыну. Невестка стоит, уткнувшись ему в плечо головой. Я отворачиваюсь. Огни, огни...

Все позади: уют землянки, отписаны письма. Передо мной бруствер льдом на лоб.

— Мы будем вас навещать каждые выходные, — обещает невестка.

— Мы обещаем, — вторит сын.

Они повторяют это и повторяют, как заведенные.

Мой сын — человек слова, мое воспитание. Он будет ездить ко мне, пусть это ему в тягость.

...Диалог в гостиной, а я в своей комнате, у вентиляционной решетки. Диалог повторяется пятый раз, я его выучил:

— А ты должен ездить к отцу каждые выходные.

— Я делаю все, что должен! Вкалываю по десять часов в день и, заметь, не жалуюсь.

— Да, ты устал, нам нужен отдых.

— Не сдавай меня раньше времени!

— Мы уедем куда-нибудь, на неделю. В Орегон или в Юту. Мы так и не были в Юте. Там осень — такими красками, что забываешь про все на свете, сходишь с ума и молодеешь.

— Я не хочу — в Юту! Мне не нужна акварель!

— Ну и не надо. Слетаем куда-нибудь на Карибы. Там океан вспыхивает такими блесками, что ты купаешься в серебре и светишься тишиной и покоем.

— Я и так спокоен, мне не нужны лечебные ванны!

— Никто и не говорит, что тебе надо лечиться, но всем нужен покой.

— Вот, он и будет здесь жить.

— Кто?

— Покой.

Они долго молчат. Слышен гул вентилятора, шорох влажного воздуха, трущегося о пролетающие машины.

Говорят, когда человек умирает, он первым делом оказывается в «голубой трубе», по которой и следует далее согласно плану и расписанию.

...Не помню какого цвета вентиляторы в нашем доме. Уже не имеет значения. Больше не буду простаивать под вентилятором, теперь уже точно. Во двор въезжает машина, новенькая, блестящая, как игрушечка, с красным крестиком на двери. Она останавливается между мной и крыльцом. Шофер помахивает рукой, смеется и что-то рассказывает

двоим в белых халатах, сидящим за ним, на диване. Они поворачивают ко мне головы и тоже смеются. Я понимаю что им смешно: такой старик в матросской форме, с букетом роз и биноклем. Неадекватность моменту.

Слышу, как бьется сердце, это плохо, нельзя так нервничать в моем возрасте. Я не переживаю, стараюсь не думать. Это не я, а моя рана, шрам глубокий над бровью. Я глажу его и глажу теплой ладонью, а он рычит, не успокаивается, и вдруг стреляет в меня огнем. Я будто лечу, падаю под откос, в овраг, в мокрую глину, вокруг взрывы и голоса.

...Я бесконечно иду, земля чавкает под ногами, лают собаки, сверкают каски. Мы идем друг за другом, колонна, передо мной человек, широкие плечи, мокрая гимнастерка, от дождя или от пота. Он идет и идет, час за часом, весь день, а может быть — век, и вдруг бросается в сторону, а там — ничего, бросаться некуда. Там колючая проволока, смерть, а он это зачем-то делает, он, видно, знает что делает. Бросок, и нет его, уже нет, а я в колонне, догоняю идущего впереди. Спина, мокрая гимнастерка. Земля чавкает, как ни в чем не бывало. Я буду идти и идти, я не хочу висеть на проволоке, простроченный поперек и вдоль...

Боль отпускает, ладонь на лбу... Что это? Мысли ворочаются в моей раненой голове, хрустят осколками битого хрустала. Где я? На скамейке, в саду, перед домом, я контролирую ситуацию. Двое в халатах — за мной, но не идут ко мне, а поднимаются по ступенькам крыльца. Их всего четыре, ступеньки, но их надо преодолеть, легко, но на это уходит время, короткое, но все же уходит.

Почему не идут ко мне? Таков ритуал. Договор требует быть подписанным. Как договор о войне и мире. Он был подписан уже три раза, но — предварительно. Такие правила в этом доме. Не в моем доме, а в этом, который станет теперь моим. Дом замечательный, меня возили уже туда, с жильцами знакомиться, с обстановкой. Мне показали все: комнату с видом на пруд, просторный холл, где собираются вместе жильцы и сообща глядят телевизор. Неограниченные возможности для общения. Необъятная площадь сада, сказочного (уверил гид), обвитого частоколом высотой в два человеческих роста. Есть гарантия, что никто не заблудится, не выйдет на улицу и не попадет под машину. Не буду скучать, здесь для всех дело найдется. Можно сажать цветы, рисовать, картинки раскрашивать. Можно рыть траншею

под будущий новый бассейн, не лопаткой, конечно, есть небольшой садовый бульдозер...

Четверо за столом: невестка с сыном и двое в белых халатах. На столе договор, перст судьбы. Сын перечитывает, в руках — мечом авторучка. Человек в белом халате глядит на часы. Невестка берет в руки вазу с цветами, поворачивает и ставит на место, в центре стола. Это другая ваза, купленная взамен той, что я украл, а потом разбил, простоватая, кажется не хрустальная. Что ж, разумно, незачем бить хрусталь, его вечно жалко. Нет гарантий, что я и эту вазу не спрячу, не разобью. Впрочем, уже есть и такая гарантия — от меня. Можно купить новую вазу, и вообще, преобразовать дом, обновить к иному составу жильцов...

Время идет, а сын в задумчивости. Никто не торопит его, торопить не вежливо. Двое в белых халатах сидят, потупив глаза, как на похоронах. Они, возможно, отстали от расписания, у них полно всякой работы, но они вида не подадут. «Клиент всегда прав». И это вопрос больших денег, не грех пожертвовать капелькой времени. Деньги всегда деньги, для маленькой фирмы и для большой. А фирма солидная: «Небеса на земле». Убедительно называется. Никто поэтому не торопится, и невестка не толкает мужа локтем, а задевает нечаянно, возвращая на место вазу.

— Извини, — говорит она, — я нечаянно.

— Ничего, — отвечает он и перелистывает страницы. Место для подписи на последней, но он перелистывает их все.

Я отворачиваюсь, гляжу на улицу, где все тот же поток огней и ничего больше. Видна крыша дома через дорогу, треугольник, под ним окно, освещенное. Что за окном я не вижу. У меня бинокль, но нет времени отстегнуть его и воспользоваться. У меня совсем мало времени. Я «в процессе» и отвлекаться не вправе. Только ощупываю рукой бинокль, крепко пристегнутый к поясу, два окуляра связкой гранат. Одна рука гладит бинокль, другая сжимает цветы, большая мужская рука, а букет такой крошечный, хрупкий, розы так восхитительно пахнут, что закрываю глаза, на секунду ровно, не могу больше себе позволить, я на посту, мой корабль уходит в море. Последний гудок, уплывает берег. Секунда прощания, открываю глаза.

Гостиная ослепительно освещена, или мне кажется. Нет, просто всплеск, зайчик от зеркала пролетевшей машины,

вспыхнул и озарил лица. Всего на миг они стали голубовато-зелеными, лица родных и чужих. Их взгляды устремлены в меня. Невестка, сын и двое в белых халатах. Великолепная четверка. Четырежды Мефистофель.

Сын первым отводит глаза, выводит подпись. Невестка... и эта вспышка... вот грянет гром... нет, ничего подобного, все кончено мирно, благополучно. Сын поднимается и стоит торжественно — принимает парад. Двое в белых халатах маршируют по лестнице. Один распахивает дверцу машины, второй останавливается по другую сторону, готовый помочь мне.

Вот, собственно, и осталось — в машину, и выкатить за ворота. И не увижу, как невестка пойдет к воротам, нажмет на кнопку, ворота съедутся, и торжественно щелкнет замок. Скорее — в машину, не канителить. Обойти должен, а у меня нет сил, и я приказываю себе: «Поворот направо и шагом марш!» Делаю шаг и еще шаг. Опять эта резь, кувалдой в висок, шрам оживает болью над бровью, пронзает молнией... ледящийся бруствер... команда «В атаку!», и ты больше не ты, весь «ты» — позади самого себя, где двое в белых халатах, молодые и сильные, но у меня преимущество — три секунды, а то все пять наберется. У меня полным полно времени — нажать на кнопку и юркнуть сквозь закрывающиеся ворота. Прикрыть за собой дверь, допой лишние беспокойства!

Нажата кнопка, никто не мчится за мной вприпрыжку. И правильно, чего попусту суетиться? Не на войне мы, а в тихом городе, провинция жизни, здесь ничего не случается, а если случается, то благополучно обходится. Все застрахованы от несчастных случаев.

А от счастливых?

Время покажет.

Время, помноженное на скорость, дает путь. Недальний путь, три шага от ворот, нет тротуара, мостовая, залпы огней и паузы, выбрать паузу и рвануть... Молодые и сильные не настигнут меня, я в броске, в кулаке граната, впереди огонь и колючая проволока...

...За столом женщина-следователь: «Вы сдались в плен...»

...Я не сдаюсь в плен. Иду на огонь, ложусь под огонь. За спиной жизнь ледящим бруствером. Лечу бабочкой на огонь, огнем — на огонь, я весь в огне, в ярком огне, где никто не живет долго...



Виктория ПЛАТОВА

## СКЛАД

Я работаю на складе. Это огромное помещение занимает всю ширину квартала, с подъездом для машин по обе его стороны. Вся центральная часть склада завалена черными пластиковыми мешками, набитыми тряпьем. Гора мешков — почти до потолка. Пару раз нас здорово заливало, поток воды обрушивался из лопнувшей трубы, к счастью в стороне от этой горы, но все равно мы были похожи на тонущий корабль. Что-то вроде кадров из кинофильма «Гибель Титаника». Наверное от того, что эта гора мешков с каждым днем становится все больше и больше и мы никак не можем ее разобрать, мне иногда кажется, что мы и в самом деле идем ко дну. Недавно еще несколько человек наняли на работу, люди работают сверхурочно, но гора не убывает.

Четыре раза в неделю грузовой фургон, борта которого исписаны призывами пожертвовать свои старые, ненужные вещи: кастрюли, плюшевого мишку, **ВСЮ ДОБРОТУ ВАШЕГО СЕРДЦА** — выделено жирным шрифтом — брюки, юбки, платья, **ВАШЕ СОСТРАДАНИЕ**, швейную машинку вашей бабушки, надоевшую вам мебель, **ВАШИ ЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ**, утюги, сковородки, пальто, перчатки, головные уборы, **МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ**.... привозит нам новую порцию

пожертвований. Пожалуй, мы так никогда ничего и не узнаем о доброте сердца и лучших пожеланиях, похороненных на самом дне горы, под грудой других мешков. В течении рабочего дня шесть человек открывают мешок за мешком, отбрасывая в сторону все грязное, рваное, слишком старое, не подлежащее продаже. Все, что, на первый взгляд, можно продать, переходит в руки других работников — в отдел женской одежды, в отдел мужской одежды, один человек управляется с обувью и два со всем прочим: шарфами, шляпами, галстуками — с аксессуарами. Никаких утюгов, ничего кроме тряпок к нам на склад не поступает — все остальное отбирается еще в магазинах. Их у нас три и все в лучших районах Манхэттена. Люди приносят пожертвования в магазины, им взамен «всей доброты их сердец» выдают некоторое послабление при уплате налогов. Посуда, книги, бижутерия, стекло — это все сразу остается в магазинах, остальное скидывают в мешки и отправляют на склад.

Я заправляю отделом женской одежды. Нас шесть человек. Двое еще раз проверяют каждую шмотку, двое вешают и ставят ценники, я и Галя оцениваем вещи и отправляем их по магазинам. Мы с ней единственные русские в нашей организации. Мой третий по счету босс — сейчас я работаю с пятым — перед тем, как уволиться, предложил мне самой найти себе толковую помощницу. И я привела Галю. Она быстро научилась всему, чему можно было научиться, и теперь прекрасно справляется с рутинной повседневной работой. Вообще цены, которые мы ставим на эти, чаще всего уже ношенные вещи, когда-то давно придумала я. И вовсе не маленькие для магазинов ношенной одежды. Но очень правильные, очень точные, потому, что бизнес наш процветает, мы собираемся открыть четвертый магазин и тоже в Манхэттене. Я говорю «мы», потому, что я работаю не на хозяина, а в организации, и все мы — ее члены. Во всяком случае, так считается. Так нашим боссам легче объяснить, почему нам никогда не прибавляют зарплаты, почему, как бы велика ни была твоя заслуга в деле процветания бизнеса, тебя одарят, конечно, уважением, устной благодарностью, но ничем больше. Потому что мы тоже должны жертвовать «всю доброту наших сердец» и «наши лучшие помыслы» носителям вируса иммунодефицита. Изначально ради них была создана эта организация.

У постели умирающего от СПИДа художника два его ближайших друга — один дизайнер, другой владелец антикварной лавки в Челси — задумали создать такую организацию, которая могла бы материально поддерживать больных геев. Причем не только достойных внимания людей, но и опустившихся, бездомных, особо опасных распространителей вируса. Покупать им медицинские страховки, возвращать человеческий облик, обучать чему-нибудь, помогать обрести крышу над головой. Владелец лавки запер за собой ее дверь, дизайнер покинул фирму, в которой прежде работал, но оба они нуждались в помощи фигуры, способной представлять их на политической арене, в помощи человека, способного отстаивать интересы организации перед городской и штатной властью. Они нашли такого — горлопана и бузотера, личность темную, но достаточно известную в городе своими театрализованными буйствами во главе бездомных, несостоявшегося не то актера, не то священника — и вот результат: уже давно след простыл того дизайнера и того владельца лавки — они вернулись к своим занятиям, а нашу организацию целиком прибрал к рукам этот белый клоун с длинным хвостом на затылке, ловкий игрец на самых темных струнах человеческой души.

Нашим клиентом теперь может оказаться кто угодно: любой наркоман, пьяница, выпущенный из тюрьмы по паролю преступник... Но самый лучший клиент для нашего босса — это все-таки черный гей, больной иммунодефицитом, бездомный, отсидевший в тюрьме за торговлю наркотиками. Этот человек — лицо нашей организации. Однажды к нам на склад прислали особу, обладающую всеми этими доблестными качествами. Якобы работать. Ей организовали рабочее место прямо при входе на склад. Ни шатко-ни валко она перебирала шарфики и окончательно подружившись со мной, доверительно сообщила: «Знаешь, почему я там сижу? Потому, что я лицо организации!» Я, конечно, абсолютно с ней согласилась, к тому же ее собственное лицо — не организации — было очень милым. Я держала глаза крепко закрытыми на все ее проделки, но тут появилось новое складское начальство — по неосмотрительности нашего главного босса им оказался замечательно простодушный черный мужик. Он немедленно уличил «лицо нашей организации» в воровстве и вышиб. И еще несколько не менее ценных лиц. Прекратил

воровство на складе, нанял пару нормальных работников и объявил, что всем нам очень мало платят. Вот тут уж его самого перестали терпеть и привычными методами выжили.

И то, что он черный, — не помогло. И то, что гей, — не помогло: жил в нерушимом семейном союзе с белым другом, любил порядок и дисциплину, поскольку пришел к нам после армии. Но не было у него все-таки полного набора доблестей, и боссу ничего не стоило выжить его. Ну, а что же говорить о нас с Галей? Мы для нашей организации никто и ничто — только надежная рабочая сипа. Должен же кто-нибудь вкалывать на полную катушку — вот мы с ней и вкалываем. Других достоинств у нас нет. Я пришла работать волонтером, безъязыкая чужестранка. Я и теперь говорю, как чукча из анекдота: «твоя-моя», однако пережила четырех начальников, мирно работаю с пятым, работаю не просто хорошо, а вдохновенно, с азартом — у меня оказалась настоящая призвание к этой работе. Я недавно сказала Гале: «Вот посмотри, какую ненормальную, уродскую жизнь я прожила: ведь если бы я родилась в Америке, или приехала бы сюда ребенком и пришла бы на эту работу в двадцать с чем-нибудь лет, в двадцать пять я бы уже заведовала этим складом, в тридцать с чем-нибудь стала бы главным менеджером, а в сорок открыла бы свой бизнес, и скорее всего у меня никогда не возникло бы даже подозрения о том, что я должна писать рассказы, быть литератором, тем паче непечатаемым, каким я была в России, терзаемым неосуществившимися литературными амбициями...»

Нет, правда, теперь уже все слишком поздно, поздно что-нибудь серьезное предпринимать, но я сама не знаю, откуда оно взялось во мне — это абсолютное ощущение вещи, безошибочное знание, за какие бабки удастся ее загнать...

Вот он, оказывается, мой талант. И нисколько это меня не огорчает, не унижает в собственных глазах. Потому, что литература — это что ж? Помните, у Мандельштама в «Четвертой прозе» — «ворованный воздух, дырка от бублика»... А нынче, в век Интернета? Множество фокусников развелось, эквилибристов, канатоходцев, клоунов от литературы. Авангардисты, взрыватели традиций — история опять никого и ничему не научила. А ведь все уже было и явило миру все те же стереотипы, массу дешевых подражателей, ибо все формалистическое поддается подражанию гораздо про-

ще, чем упругий реализм. Причем бездарному подражанию. Единственно неподражаема, непредсказуема — сама жизнь. Я уже давно не могу читать беллетристику. Если и читаю, то только что-то несущее информацию, какие-то сведения, воспоминания, мемуары, биографии.

Между прочим, беллетристика по-английски называется «фикшн» — «fiction». В русском языке есть созвучное слово «фикция» — почему-то никто не додумался именно им называть особенно современную прозу. Она того стоит. Я с горечью вспоминаю, каких никчемных усилий стоил мне мой первый рассказ, как мучительны были поиски словесного узора, выкрутасы ума...

А ведь всего-то и было: старый, раздрызганный автобус, до отказа набитый измученными пассажирами, мешками, корзинами с провизией. По извечному закону российской нищеты в магазинах города Белинска — хоть шаром покати, а вот на железнодорожной станции, что в полутора часах езды — может, и ближе, но дорога уж больно разбитая и автобус еле дышит — на станции Белинская, потолкавшись по очередям в привокзальные ларьки, можно отовариться. Вот люди и мотаются туда-сюда. Серые уставшие лица, ватники серые, мешки серые, дорога впереди серая, поля вдоль дороги серые... И протяжный женский голос:

— Ша-а-фер, ша-а-фер, а-астонови автобус, Серезу-слепого возьмем, а шафер, Серезу-слепого...

Автобус останавливается, передняя дверь открывается и тот же женский голос тянет:

— Серез, Серез, ну ты залезай, ну залезай...

В одной руке у слепого палка, он нащупывает ступеньку, другой, наугад ухватившись за поручень, лезет, но с трудом — из-за широкого аккордеона за плечами.

— Да ты сними музыку-то, Серез, сюда подай, не бойсь, мы аккуратнo, да ты не бойсь, а ты помоги, помоги ему...

Кто-то из сидящих впереди мужчин помогает, слепой наконец залез, дверь закрывается на ходу, и мы снова едем.

— Да ты садись на ящик-то, Сереза, — говорит женщина, остановившая автобус. — Садись! Не хочешь, бережешь музыку, ну сюда садись... — она теснит соседку и тянет слепого за рукав.

Сереза усаживается на краешек сиденья, бережно положив руку на ящик, стоящий в проходе у его ног.

— Да ты узнал меня, Сережа? Это ж я, Настя, это я автобус остановила. Шофер едет, а я смотрю, ты стоишь, ну, я и говорю: шофер, останови автобус, Сережу-слепого возьмем. Он и остановил...

Она говорит громко и очень протяжно и как бы для всех, ежесекундно оборачивая назад болезненное лицо с прилипшими ко лбу и растопыренными по бокам куделями.

— Ну, ты выпей, Сережа, выпей, угощайся, это красненькое, — сует слепому бутылку, а сама, наклонившись, роется в сумке. — Я на станцию ездила, у дочки моей день рождения, ну, я гостинцев купила, угощайтесь, — и она протягивает пригоршню конфет женщине, на коленях у которой сидит мальчик лет четырех.

— Да брось ты! Свои есть, — отмахивается женщина, но мальчик уже протянул ладошку, и Настя сыплет в нее конфеты. — Ребенок же, конфетку хочет, а ты не даешь, какая, а ты пей, Сережа, ты пей, и я выпью...

Слепой молча отпивает из бутылки и возвращает ее Насте...

Она достала бутылку, когда автобус еще стоял на станции. Люди распихали свою поклажу, наконец-то расселись и приумолкли. И тут раздался громкий жалостный стон. Вокруг сердито засудачили, дескать, нажралась, теперь будет тут, а Настя выставила напоказ болезненно-изумленное лицо, и перекрывая обсуждавшие ее голоса, сказала:

— Я красненького выпила, а ноги опухли. Мне врач не велел белое пить. Я только красненького, а они все равно опухли... Больная я... Мне люди говорят: иди, тебе пенсию дадут, а я не иду, стыдно мне, я ж молодая еще, ну как это пенсию?.. А ноги пухнут. Я ж только красненького выпила...

— Выпила и сиди себе, чего ноешь-то? — беззлобно говорит женщина на заднем сиденье. На коленях у нее такой короб стоит, что саму ее из-за него не видно.

— Так я сижу, а ноги-то пухнут... Мне ж до дому далеко...

— Да ты с Косой, что пи? Доведу я тебя..

— Ага, на Косую! А ты меня знаешь? А ты чья? Не вижу я тебя загородилась..

Не чувствуя больше осуждения, Настя наклонилась к сумке и вытащила непочатую бутылку. Проткнув пробку вовнутрь, она не стала пить сама, а протянула бутылку сидящему ближе других мужчине.

— Ну, выпей ты, выпей, — сказала доверительно, заранее не принимая отказа. — Или нет, сначала жене дай — спохватилась, заметя, что сидящая рядом с мужчиной женщина тычет его в бок: мол, не пей, черт!

— Вот еще, вздумала! Я его сроду в рот не беру! — огрызнулась женщина, но мужчина, для солидности обтерев горлышко, подмигнул Насте и приложился, степенно и нежадно.

— Ну, ему дай, ему дай теперь, — говорила Настя, улыбаясь глядя на другого мужика, сидящего в проходе на набитых мешках.

Бутылка перешла к нему, от него пошла дальше...

...Теперь Настя допила после слепого и снова полезла в сумку. Достала новую бутылку и новую пригоршню конфет. Но тут женщина с ребенком на коленях сердито пнула ее в плечо:

— Да убери прочь! Развела тут! День рождения, говорит, а сама до дому ничего не довезет!

Настя испугалась и сникла. Положив голову на дверной поручень, она тихо стонет, слегка раскачиваясь. И вдруг, откинувшись, протяжно кричит:

— Сереж! Сережа, да ты живой ли?! Чего ты молчишь-то все?! Ты хоть песню спой!

— Это можно... — с расстановкой говорит слепой, руками быстро нашаривая замки на ящике. Достав аккордеон, он натягивает на плечо его парусиновую лямку. Сняв с головы кепку, кладет ее на ящик. Он еще не начал петь, а мелочь уже посыпалась в нее, кое-кто передавал через соседей мятые рублики... Голос у слепого глухой, будто смешанный с дорожной пылью, музыка заглушила дребезжание автобуса, за душевной песней скоротали дорогу, не заметили, как приехали:

«Пьет вино солдат, по щекам его то ль вино течет, то пи слезыньки...» — оборвалась песня. Автобус остановился. Зашевелились люди, выгружая поклажу, толкались больше к задней двери, не желая поторапливать Сережу. И только баба с коробом, пропихиваясь, затревожила Настю:

— Вставай, Насть, расчухайся! Доведу я тебя...

Сережа обернул на голос лицо и успокоил ее:

— Иди себе. Сам доведу. — И к Насте: — Вставай, приехали...

Настя встрепенулась, замотала головой, зашарила под ногами сумки. Обрадовалась:

— Сереж, да ты доведешь меня?! Ай, какой ты, Сережа! Да ты к клубу, что ли?

— Можно и к клубу... — согласился слепой и распрямылся с аккордеоном за плечами. Одной рукой держась за поручень, другую, с палкой, он протянул Насте, она оперлась на нее и пошла.

Вот и вся история. Собственно, и истории-то никакой не было. Кое-кто обернулся с дороги и посмотрел им вслед... Хотя, при чем тут «кое-кто»? Это я, а не «кое-кто», ехала в том автобусе от станции Белинская до города Белинска, вышла на остановке и пошла было по указанному мне адресу к гостинице, но, пройдя несколько шагов, обернулась. Слепой шел прямо, щупая палкой перед собой дорогу, а Настя, уцепив его под руку, скособочившись под тяжестью сумок, неверно перебирала ногами.

Многие годы прошли, а я все смотрю и смотрю им вслед...

У меня сейчас отпуск. Целых две недели. А вообще у меня отпускных недель — четыре. Это не так уж часто бывает в Америке — чтобы простой служащий имел четыре недели оплачиваемого отпуска. Но не принято брать все четыре подряд, даже две разом — исключение из правил. Чаще всего именно мы, выходцы из России, претендуем на такие долгие отпуска: американцам как-то естественно дано представление о том, что, если без тебя можно обойтись на работе в течение двух недель, то, скорее всего, ты не нужен вовсе. И хотя перед тем, как покинуть склад на такой долгий срок, я лезла вон из кожи, чтобы оставить после себя «задел» как минимум на неделю, — это совсем не лучшее решение вопроса и ни от чего не гарантирует — ибо просто означает, что я могу и всегда-то делать в полтора раза больший объем работы. Какой-то гарантией может служить только то, что я исполняю ту часть работы, которую пока что лучше меня никто сделать не может. Но в нашей организации царит хорошо нам, выходцам из «союза нерушимого», известный принцип: незаменимых людей нет.

И все-таки я оказалась не в силах устоять перед соблазном провести подряд пятнадцать дней в своей деревне. Имя ей «Эквананк» — «Быстрая вода» по-индейски. Высоко в горах, на Делавэре. Абсолютная Берендеевка, волшебная де-

ревушка, дома — один краше другого, церковка, сельская лавка, даже музей есть, райская тишь, райские яблоневые дикие сады, горные озера — горы окружают деревню со всех сторон, будто на дне большого блюда кто-то разложил неземные сласти. Сущее чудо, что нам удалось купить здесь дом, за «медные деньги», можно сказать. Такого здесь больше не встречается. Однако же повезло. Может быть, за то, как я продала наш дом в Дивенской под Ленинградом: ровно за те деньги, что ушли на его постройку. И своих трудов — мучительных, подчас даже опасных, не посчитала. Начали строить на болоте. Я однажды тонула в нем. Приехала как-то в будний день посмотреть, как выкорчевали наш участок, можно ли деньги за работу отдавать, и на обратном пути к машине, прямо посередине того, что через пару лет стало дорогой, ушла по грудь в трясину. И кричать о помощи некому, и уцепиться не за что — только склизкая глина кругом. И тянет вниз, засасывает. Но выбралась, как видите. Семь лет строились, два прожили. Последним летом я все семейство запрягла в работу — заставила огромную поленницу дров с середины участка перенести под навес сарая. Освободившуюся землю распахала, всю клубнику пересадила, а бывшие клубничные грядки решила следующей весной пустить под картошку. И никак не думала, что, вернувшись в город, через три месяца начну распродавать все имущество. И эту дачу продам... А все мои литературные амбиции...

То есть, твердое решение расстаться с ними навсегда. Они-то и держали меня на приколе: сомнения в том, что русский писатель должен жить в России, у меня не было никогда — ни тогда, ни теперь.

Но с амбициями покончить, скажем, можно, а вот как совладать с памятью, со снами наяву?

Чего ни коснешься, о чем невзначай ни подумаешь — незвано, непрошено плывут перед глазами картины: южное небо, усыпанное цветным горошком звезд, висит низко над головой, море плещется о кромку берега, забитую перегнившими водорослями, ветер разносит острый йодистый запах, и в вечернюю тишину вдруг врывается резкий, уверенный в своем праве голос:

— Боря, что ты стоишь там, что? Что ты стоишь там и смотришь? Или ты не видел, как люди из приличного дома отдыха могут устроить бордель? Или что?



От того ли, что я заговорила об отдыхе, от того ли, что вспомнила об отъезде, вдруг ворвался в тишину дома раскатисто-картавый крик Бориной мамы...

Все бросить, расстаться со всем и всеми — само по себе дело тяжелое, но многим из нас досталось одно особое испытание: на пути в Америку впервые столкнуться со своим народом. Мы жили и думали, что мы евреи. Российские евреи. И вдруг оказалось, что мы — черт знает кто, а евреи — вот они, эти с юга — на нас совсем не похожие, совсем другие, те, что могут сказать: «Вы с Ленинграда? Мы сразу так и решили, потому что у вас такой акцент!». Но пару раз жизнь здорово проучила меня, и вот один из этих уроков возник в моей памяти вместе со взорвавшим тишину криком:

— Что ты стоишь там, что?! Если эти приехали сюда на гулянку, так другие приехали сюда отдыхать! А этих надо гнать отсюда грязной метлой! Ты понял меня, идиот, где ты шляешься по ночам, идиот, я тебя спрашиваю?!

Еще в самый первый день нашего приезда в Гурзуф, в Дом творчества художников, Боря, его мама и папа показали себя во всей красе. Автобус остановился, не доехав до Дома творчества, и шофер объяснил, что ближе подъехать невозможно, потому что дорога разрыта. Все стали выходить, но сразу образовалась пробка — толстая рыжая женщина застряла в проходе, крича водителю: «Что вы валяете дурака? Как это нельзя подъехать?! А если мне тяжело ходить? Вы обязаны...»

— Это не он, а ты валяешь дурака, — в тон ей, ничуть не стесняясь ответил ее муж, такой же коротенький и круглый, как она, и тут же вмешался их сынок, тоже весь какой-то комковатый нескладный молодой человек:

— Что ты уперлась в проходе? Или ты думаешь, ради тебя зарокуют дорогу? Скорее нас всех зарокуют... — и пропихнул маму в дверь.

Мы с Мишей сразу согласились поселиться в номере с окнами в сторону гор, а не на море, только бы поскорее убраться из администраторской, пока там не появилось это семейство.

Но как из-за них мучались Кригеры, художники из Киева, оказавшиеся их соседями.

— Знаете, — всегда почему-то шепотом говорила нам Раечка Кригер, — Фима совершенно не может из-за них спать: они ругаются каждый вечер! А ведь с этой стороны их соседи мы, а с другой — совершенно другие. Вы меня понимаете? Это настоящий позор!

Они и в самом деле были нашим позором. Где бы они ни появились — тут же начинался отвратительный балаган. Нам казалось, что люди глазят на них, как глазели бы на ярмарочную бородатую женщину, на волосатого человека Евтихьева из школьного учебника.

На пляже каждую минуту раздавался визгливый крик Бориной мамы:

— Выйди из воды, Боря, я сказала! Тебе мало было, ты хочешь еще застудить мочевой пузырь?! Выйди из воды немедленно!

— Боря, смени плавки!

— Боря, куда ты пошел? Вернись немедленно! Я приготовила тебе бутерброд. Нет, ты проголодался! Вернись и съешь бутерброд!

А ведь этому Боре не четыре года. Он учится в Львовском университете и, возможно, из него получится неплохой германист. Во всяком случае, по-немецки он говорит, скорее всего, лучше, чем по-русски. Каждый вечер он ходит на танцы в международный лагерь «Спутник». Мы тоже туда ходим, но нам нужно брать специальные пропуска, а Боре не нужно: его всегда поджидает какая-нибудь крутозадая немочка. Весь вечер он запросто болтает с ней, никогда не танцует, просто стоит и болтает, иногда указательным пальцем выковыривая из зубов остатки ужина. И ей, представьте, не противно. После танцев иностранцы идут в бар, а нас туда не пускают. Боря мог бы туда пойти со своей немочкой, но вряд ли мама дает ему карманные деньги. Нам обидно, что нас не пускают в бар, а Боре наплевать, он просто подошел к нам и слушал, как мы митинговали, стоял и слушал, скрестив короткие руки на уже выступающем животе, отвесив тяжелую, как амбарный замок, челюсть.

И вдруг на крыльце появилась его мамаша. На ее толстых, будто из ваты белых ногах, клочьями спущенной кожи болтались чулки, из-под халата косо свисала ночная рубаша, полуседые, полурыжие волосы вздыбились и торчали в разные стороны, и она кричала визгливым базарным голосом:

— Боря, что ты стоишь там, что?! Я тебя спрашиваю, почему я ни ночью, ни днем не должна знать покоя, ни днем ни ночью, идиот?!

И бедный Боря пошел к ней, он уже поднялся по ступенькам и вдруг отшатнулся, потому что, мы видели, она замахнулась и хотела дать ему затрещину...

Летом в дома творчества художников съезжаются разные люди — совсем не обязательно художники. Вот Борин папа как раз художник-баталист. После войны художников-баталистов развелось несметное количество, и, как правило, их творческий потенциал оценивался количеством наград и полученных на войне ранений. Судя по колодке на лацкане пиджака Борин папа был вполне заслуженный баталист. Многие вообще не имели к искусству никакого отношения: купил, вернее, достал путевку — и отдыхай на здоровье. Но художникам их работа всегда в радость. Немного освоившись и оглядевшись, кто-то взялся за кисть, кто-то за карандаш. В конце смены в библиотеке устроили выставку. Пример из Одесского оперного театра особенно расстарался — он перерисовал все горы и дали, всех мужчин и женщин, азартно, ремесленно, наивно, по-настоящему ему удался только портрет Бори. Наверное потому, что сама природа уже исполнила свой хитрый замысел, отразив в чертах Бориного лица крутой замес родительского хамства — в этой тяжелой челюсти, мясистости носа, в мутности, вечной сонливости глаз и вместе с тем в какой-то особой упорности существования. Получился действительно интересный выразительный портрет. Миша похвалил его, и одессит довольный и веселый порхал по зальчику.

И вдруг в библиотеку врывается Борина мама! Влетает, как шаровая молния! Ее щеки горят, коралловая нашлапка губ дрожит, собранные на макушке волосы распадаются и летят впереди ее, выпяченная грудь раздвигает воздух — огненный ком гнева проносится мимо собравшихся открывать выставку, прямо к стене, на которой висит портрет Бори. Неожиданно ловко подпрыгнув, она срывает портрет, бросает его на пол и топчет ногами, и тут только одессит не своим голосом кричит:

— Сумасшедшая! Что вы делаете?!

— Это не Боря, нет! — кричит в ответ Борина мама — А вы никакой не художник! Вы свинья! — и так бьет ногами холст,

втаптывает его, будто решила вместе с ним уйти под землю. — Ну, где тут Боря?! Нет, где тут мой Боря?!

— Как можно?! Вы же жена художника! — уткнувшись лицом в ладони не то плачет, не то рычит одессит, и кто-то как эхо повторяет:

— Вы же жена художника!

— Плевать я хотела, чья я жена! — топнула ногой еще раз, холст наконец не выдержал, лопнул, она каблуком разодрала дыру и ринулась к выходу

— Но я мать, чтоб вы это знали! — И хлопнула дверь так, что со стены свалилась еще одна работа бедного одессита.

Мы не успели прийти в себя, на этот раз уже тихо открылась и закрылась дверь — это вышел следом за женой Борин папа.

— А что вы хотите, чтобы он сказал? — подбирая с пола остатки Бориного портрета одессит горестно посмотрел ему вслед. — Это же несчастный человек...

Миша подошел к стене, где висели его шаржи, порывшись в папке, достал и пристроил свой шарж на Борю. Повыше, почти под самым потолком...

И вот мы сидим в стоповой, и люди вокруг нас продолжают судачить о происшествии в библиотеке.

— Нет, это ужасный позор, — вздыхает Раечка. — Это позор на нашу голову.

— Евреев, конечно, можно любить, но только древних... — печально шутит Фима.

В эту минуту в стоповую входит Борин папа. Вид у него совершенно особенный — будто он собрался не в стоповую дома отдыха, а на торжественное заседание: свежесбрированный, с прилизанными волосами, в пиджаке цвета морской волны, с полным набором колодок и при галстукке.

— Как это вам нравится? Вырядился! — шепчу я, уткнувшись в тарелку, а над головой повисла вдруг разразившаяся тишина.

Пружиня шаг, встряхивая животиком, Борин папа прошел к столу, за которым одиноким корявым зубом сидел его сын, послышался звук отодвигаемого стула — и снова тягостная тишина. И, подобно хорошему актеру, дав положенное время этой тишине устояться, Борин папа произнес:

— О! Ты только посмотри, Боря! Я надел пиджак, а в нем мамина карточка! Это же ужас, как она изменилась!

Боря сидел, откинувшись на спинку стула, тяжелые веки наполовину прикрыв глаза, скрывали их выражение — ничто не нарушило его полусонного безразличия. Но с соседнего стола кто-то приподнялся, вытянул шею, и вдруг, словно повинувшись режиссерскому замыслу, люди повставали из-за своих столов, сгрудились вокруг Бори и его папы, из рук в руки передавая старое, военное, девять на двенадцать коричневое фото.

На потрескавшемся его уголке стояли кривые белые буквы: «Липский лес. 1944 г.» Необычайной красоты женщина глядела на нас со снимка. Огромными, прозрачными глазами глядела она задумчиво и вместе с тем дерзко. Упругие скупы, нос чуть широковат, но славно вылеплен, и смачно припухшие губы и непонятно каким образом держится на буйной копне светлых волос чуть сдвинутая на бок конфедератка. Два польских креста «не висят, а лежат» на груди.

— Польский батальон. Армия Людова... Кукурузницы... — долетали как будто бы из того далека слова Бориного папы; его перебил легко забывший обиду одессит

— Как они шли на бреющем! Это же надо было видеть! — и, по-детски жужжа, посылая вперед руку, вторую чуть отведя назад, он стал показывать.

— Сумасшедшей храбрости... Два раза от смерти меня спасла. Один раз я уже копал себе могилу и вдруг!.. Нет, это надо было видеть... — повторил Борин папа вслед за разволновавшимся до слез одесситом и сразу как-то сник, будто выпустил весь распивавший его воздух, внезапно поняв, что видеть все то, о чем помнил он да вот этот седой ребенок-одессит, никому больше из присутствующих не интересно, да и не нужно, и не приведи Бог...

Мы вышли из столовой молча. Не хотелось ни о чем говорить. Скорее бы пролетели последние дни, пора уже заняться делом...

И вот мы с Мишей стоим и ждем машину, которая увезет нас в аэропорт. А со стороны «Спутника» к нам подходит девушка — из тех, что часами простаивали с Борей на танцплощадке. Она обращается к нам по-немецки, и я не понимаю, а Миша догадывается, что она ищет Борю. И кричит:

— Боря! — в окна их номера. И еще раз, громче: — Боря!  
И в окне появляется его мама:

— Кому нужен Боря, ну?!

Миша испугался за девушку и сказал:

— Мне...

— Изверг! Зачем вам нужен Боря?! Вы уже сделали с ним все, что могли! С нас хватит ваших шаржей, изверг! — и захлопнула окно.

В это время подъехала машина, мы стали прощаться с Раечкой и Фимой, со всеми, с кем успели подружиться на пересохшем, как воспаленная гортань, берегу Черного моря, скрывая от себя навсегда въевшуюся тоскливую память о тех, с кем подружиться не успели...

Не успели, да и не нужно было — какая уж там дружба? Но память не отпускает.

Сейчас в век компьютеров, интернетов развелось много совсем беспамятных людей. И все что-нибудь пишут на этих компьютерах, сочиняют. Еще раньше компьютеров появились калькуляторы, и люди разучились считать. То есть нажимают на кнопки калькулятора, и им кажется, что они считают. Но в уме две однозначные цифры сложить не могут. Во всяком случае, уж у меня на складе точно ни один человек шесть и семь без калькулятора не сложит. Кроме меня и Гали. Потому что мы росли без этих штучек. Длинные столбцы цифр мы с ней быстро складываем на бумаге, и все удивляются, как это у нас получается. А я не устаю удивляться тому, что до меня у нас вообще никто ничего не считал. Собственно, и сейчас никакого учета нет — воровать можно абсолютно безнаказанно. Но не всем. Не на складе. Именно потому, что я умею считать, я знаю, где и что воруют. Уже три уволившихся от нас завмага пооткрывали свои магазины, причем третий — аж два разом. И вот тут-то мне и пришла в голову мысль считать не только количество отправляемых вещей, но и подсчитывать их стоимость. Конечно, речь идет не о каждодневно отправляемых вещах — это ерунда, дешевое, никому не нужное барахло, а именно о тех коллекциях дизайнерской одежды, которой занимаюсь я.

Всю зиму я отбираю, привожу, когда надо, в порядок летнюю дизайнерскую одежду, летом делаю то же самое с зимней. Одежда от Армани, Валентино, от Версаче, Гуччи, Прада, Дольче-и-Гоббано, от стремительно ворвавшегося в

мир высокой моды очень агрессивного английского дизайнера Джона Галиано, от молодого американца Марка Джакобса, работающего теперь на парижскую фирму Витон, — это только малая часть тех драгоценных имен, с которыми мне приходится иметь дело. Все они не дружат между собой, да и я с каждым из них имею свои сложные отношения. Одних люблю — например, «Машино» — эта одежда всегда занята, всегда резко выделяется оригинальным замыслом, броской, красивой отделкой. Мне нравится «Зелда», всегда хороша одежда Клода Монтана, Гутье, польки Лолиты Лемпински, работающей в Париже, — но это не самые дорогие дизайнеры. Армани, к примеру, гораздо дороже, однако не каждая богатая женщина согласится одеваться от Армани — надо самой быть безупречно красивой, яркой, иначе есть опасность превратиться в его одежде просто в серую черепаху. И все-таки в одежде от Армани вы никогда не потеряете себя, она не затмит вас, она удобна и практически не может выйти из моды. Версаче я раньше сильно недолюбливала за его пристрастие к ядовито-зелено-желтой гамме, но после выставки в Метрополитен-музее невозможно не понять, какого масштаба художник погиб от пули несчастного больного безумца.

Художники высокой моды заняли в сегодняшнем мире нишу, освобожденную портретистами. Не просто мастерами кисти, а именно мастерами портрета, не выдержавшими конкуренции с фотокамерой. Были времена, когда актеры представляли во дворе замка, а потом их кормили на кухне со слугами. Художник же сидел на равных за вельможным столом. Ныне к этому столу приглашаются великие портные.

Английская королева однажды пригласила к себе уже вошедшего в славу Голиано. Он страшно мучился. Потом все-таки оделся, уложил свои кудри до плеч, нацепил на себя все колечки — и в уши, и в брови и в ноздри, кружевное жабо, манжеты — все было готово, и вдруг он исчез.

Его искали по всем закоулкам обширных апартаментов и нигде не могли найти, а он, оказалось, спрятался в гардеробе и вылез оттуда только, когда стало очевидно поздно отправляться на прием. «Я не мог себе представить, о чем бы мне, только простому портняжке, следовало беседовать с королевой, — объяснял он потом. — Мне стало страшно».

Милый парень, во всяком случае, был. Но одежда его скучновата. Конечно, те тряпки, с которыми я имею дело, совсем не то, что демонстрируется на знаменитых парижских дефиле — парадах высокой моды.

На них — я всегда смотрю эти парады по телевизору — на них Галиано выглядит потрясающе. Но одежда, которую покупают очень богатые, однако вполне нормальные люди, часто ничем не отличается от той, что покупаем мы с вами, — только ценой. Два крошечных лоскутка шерстяной ткани, сшитые по бокам, две выточки впереди и две сзади, но с лейблом Гуччи, стоят тысячу семьсот долларов, и кто-то не только купил эту юбочку, но, ни разу не надев, пожертвовал в пользу бедных — так вот прямо с ярлыком, ценником — солидной бумаженцией прикрепленной к изделию посредством изящной пломбочки. При том, что самого Гуччи уже и след простыл, и имя его, обагренное кровью наследника, заказанного наемному убийце ревнивой женой, внуки продали.

Два полутораметровых куска цветастого шифона, сшитые на плечах и по бокам, с проймами для рук, с пришитым к одному плечу одноцветным шифоновым шарфом от Валентно стоит одиннадцать тысяч. Об одежде парижского дома «Шанель» даже говорить страшно — сегодня это единственная фирма, не имеющая дешевых линий: «Шанель» не шьют ни в Гонконге, ни в Китае, ни в Сингапуре — только в Париже.

И вот как, по-вашему, я должна оценивать эти вещи, когда они попадают ко мне в руки? Шесть раз в году наши магазины по доллару — по два распродают все будничное барахло и освобождаются полностью для того, чтобы принять отсылаемые мной коллекции дизайнерской одежды: брюки, юбки, блузки, платья, костюмы, жакеты, пальто — словом все, вплоть до нижнего белья. То же самое происходит и с мужской одеждой, но в меньшем количестве, и к ней я не имею отношения, так же, как к обуви и к аксессуарам: сумкам, шарфикам, перчаткам...

В день, когда все это роскошество покидает склад, магазины открываются не с утра, а только в четыре часа. Вход платный: десять долларов с человека. И, представьте себе, выстраиваются длиннющие очереди. Я пока нигде и никогда не видела в Америке таких очередей: люди приходят с утра, иногда целыми семьями, со складными стульчиками, с

термосами кофе, успевают позавтракать и пообедать перед дверями наших магазинов.

Так вот: я должна оценивать вещи так, чтобы эти очереди не стали короче, чтобы за четыре часа работы было продано большинство вещей, а за следующие несколько дней, когда магазины будут работать в нормальном режиме и вход, как обычно, будет бесплатным, должно быть продано все, и еще все то, что мы дошлем. Оценивая вещь, я оцениваю имя дизайнера, ее состояние — на событие (по-английски event) я посылаю вещи только в отличной форме, без малейшего изъяна — оцениваю качество материала и предназначение: это может быть официальная одежда, будничная, спортивная и т.д.; очень важно оценить степень модности, но самое главное — это предположить возможный спрос на вещь. Кроме того, я должна помнить, что люди потому и платят за вход в магазин и стоят в очереди, что рассчитывают купить в этот вечер что-то замечательное за небольшие деньги.

Из того, что я перечислила что-то можно объяснить, чему-то научить, но есть нечто непередаваемое — это ощущение, чувство, даже эмоция. Дело не в том, хотела бы я сама иметь это платье или нет — «нравится-не-нравится — спи моя красавица». Самое неверное, что можно сделать, — это руководствоваться собственным вкусом. А вот чем? Этого я не могу объяснить. Может быть, воображением, может быть, то столпотворение, что теснилось в моей голове еще в те времена, когда я не знала другого занятия, кроме писания рассказов, так и продолжает свою разнообразную жизнь во мне, только теперь уже в качестве переминающейся с ноги на ногу очереди.

Словом, цены я ставлю очень доступные — та же юбочка от Гуччи, если она, конечно, без ценника, может стоить не больше пятидесяти долларов и улетит мгновенно.

Особенно сложно оценивать «Vintage». Это вещи из «бабушкиного гардероба». Марк Джакс сделал себе имя, отважно сочетая детали новомодного туалета с вещами давно прошедшей моды. Неожиданно, контрастно, очень пикантно. Здорово для совсем молодых. Но и голливудская звезда не откажется заглянуть в наш магазинчик в надежде найти подходящую тряпочку от Мадам Гри 1946 года, устроит ее и костюм Ива Сен-Лорана начала восьмидесятых. Я, однако,

оценивая эти вещи, ориентируюсь не на звезду, а на перекупщика, дилера — купив у нас и перепродав в антикварный бутик, он должен хорошо заработать. Ну, а звезде придется оставить в этом бутике кучу денег. И вот при всем при том, когда я стала подсчитывать примерную стоимость отсылаемых коллекций, выяснилось, что она не меньше сорока-сорока пяти тысяч долларов для каждого магазина. Почему же тогда, продав шмоток на двадцать с чем-нибудь тысяч, они рапортуют об этом начальству как о великом достижении и немедленно, уже на следующий день, требуют досыла? А вот именно потому, что воруют. И не что-нибудь и не как-нибудь, а ровно половину и самого лучшего, воруют то, над чем я трясусь, что тщательно отбираю, к чему пришиваю пуговицы, что иногда виртуозно, так что комар носа не подточит, зашиваю — и что? Все для того, чтобы очередной вертлявый парнишка, которого как-то однажды повстречал наш главный босс и наутро сделал своим заместителем, наконец-то смог расплеваться и с нашим боссом, и с нашим магазином, и открыть свой? Подсчеты мои никуда дальше моего журнала не идут, на них, представьте, нет спроса, а я сама не набиваюсь — это опасно, мне еще нужно года полтора проработать, но зато, я уже говорила вам, теперь я знаю, где и что воруют.

А мы-то думали, что это у нас, там в России, а здесь все по-другому... А все литература, все этот журнальчик «Иностранная литература» — как начнешь читать переведенный в нем роман, все необыкновенно интересным кажется, не оторвешься, до чего же это интересная иностранная жизнь, и драмы в ней все какие-то происходят значительные, завлекательные. Точно так сегодня отсюда, из Америки, новая российская жизнь кажется масштабнее и круче той, что была до нашего отъезда. Знакомят нас с ней преимущественно криминальная хроника, детективные романы и самодельно изготовленные боевики. Братва, быки, воры в законе, швейцарские банки, олигархи — ну, что еще? — да, вот: Чечня, ОМОН, теракты... Пара-другая кликух, побольше фени, да приплети сюда Майами или Лазурный берег, роковую любовь и похабно описанный секс — вот тебе и роман. Как можно больше жестокости и пыток, стрельбы и драк. Но, как ни крути, как ни тусуй все перечисленное, а все эти романы и сотворенные по ним сценарии в пять строк укладываются.

Ну, а Жора? Где же он, повстречавшийся мне когда-то на пути из Ставрополя в Пятигорск обыкновенный гений Жора? Нет, он никогда ничего не изобрел, ничего не умел — только крутить баранку — и все-таки он был гений. Просто гений жизни... Он мог постареть, мог даже умереть, но не мог же он навсегда исчезнуть с лица земли?..

Мне позарез нужно было добраться до Пятигорска, а я перепутала расписание и опоздала на автобус. От Ставрополя до Пятигорска часа три езды на такси, рублей двадцать по счетчику, но попутчиков не было, да и желающих меня возить не нашлось. И вдруг появился Жора. Ни о чем меня не спросил, просто подхватил мой чемодан и понес к машине. Открыл багажник старенькой «Победы» и, выставив перед моим носом указательный палец как знак моей удачи, сказал:

— За червонец довезу!

На всякий случай я подошла к толпившимся у своих тачек таксистам и спросила:

— Что за человек? Он кто? Не прирежет? — и махнула рукой недалеко от шеи.

— Что спрашивала? — Жора уже включил зажигание.

— Так, ничего... — мы выехали на дорогу

— Я же видел: спрашивала, не прирежу ли... Э-э! Зачем обижать? Разве я такой человек?

— Откуда я знаю, какой ты человек

— Сама подумай: зачем резать? Всегда уговорить можно! Я так люблю: довезу, расплатишься, и, если сама захочешь — пожалуйста! А так — зачем? Дорога длинная, друг друга хорошо узнаем... Человека всегда видно... Уговорить, что стоит? Ничего... Как думаешь, нет?

Я пожалала плечами. Жора маленький; щупленький, впереди под усами двух зубов нет. Их отсутствие не мешает ему говорить. И жить не мешает.

— Я не такой, как другие. Мои товарищи возраст такой, как я, имеют, — уже старики. Живот толстый висит, дышать мешает. А я еще вид имею! Мне никто моих лет не дает!..

Я вперлась взглядом в дорогу. Молчу на всякий случай. Но Жору это не огорчает:

— Три сына имею, а кто скажет? Младший, когда родился, я в загсе 500 рублей заплатил, только чтоб ему иностранное имя дать! Они говорят: «Артур — иностранное имя, нельзя писать!» А я очень хотел Артуруком назвать. Пришлось

деньги платить... Смотри, обогнал, дурак! Думает, если у него девятка, а у меня «Победа», может быстрее меня ехать!

Действительно дурак: у нас на спидометре уже сто двадцать, и дурак опять позади нас.

— Пока меня еще никто не обгонял. Мотор «волговский» стоит. От, честное слово, — Жора неожиданно бросил руль, взмахнул руками, хлопнул себя по коленям, — вот просто интересно, сколько она еще меня возить будет? — не спеша снова взялся за руль:

— Не веришь?! Думаешь, не могу другую купить? Я три «Волги» имел. Одну просто так потерял. За тьфу! — поднес ко рту сложенные щепоткой пальцы и плюнул. — Нашелся один, предложил в дело войти. Станция обслуживания. Я денег не стал вносить, просто машину поставил. В один день прихожу — все опечатано. Больше я своей машины не видел. Подумаешь, старший сын кончит учиться — ему куплю, средний сын кончит учиться...

Наверное, ему надоело, что я все молчу да молчу, и он решил круто сменить тему. Внезапно всем корпусом развернувшись ко мне, крылато взмахнул руками и спросил прямо, без обиняков:

— Вот так, скажи: если «Лебединое озеро» не считать, какой балет больше всего любишь?

Я здорово обалдела от неожиданности:

— Балет?

— Ну да, балет! Для меня самый лучший балет — «Жизель» будет! А оперу?

— Оперу?

— Для меня самая лучшая опера «Иоланта». А оперетта — «Роз-Мари»!

Тут я дух перевела:

— Я, — говорю, — оперетту вообще не люблю.

— Э-э! Напрасно. Музыка понимать надо! В Тбилиси всегда за два места в оперном плачу — когда бы ни приехал, могу пойти... Когда с женой, когда с женщиной...

На время он приумолк. Кажется, скудость моего духовного мира заставила его усомниться в том, стоит ли расточать меня ради свои роскошные представления о жизни, но решил, что, может быть, еще не все для меня потеряно:

— Семейную жизнь уважать надо! — сказал он, и я согласилась. — Когда с человеком живешь, понимать должен:

одно дело с женщиной в театр пойти, в ресторан, то-се, лишние силы отдать, другое дело — жена! С женой не все себе позволить можно. Но уважать надо...

— У вас, наверное, хорошая жена. — по-своему оценив новый зигзаг беседы, я перешла с ним на «вы».

— Ну, как хорошая? Очень хорошая. Русская, между прочим. Но такая женщина — все понимает! Один раз случай был. Она тогда в Тбилиси жила, а я здесь. А соседка туда-сюда ездила. И говорит моей жене: «Я твоего Жору с женщиной видела.» А жена ей так ответила: «Очень хорошо! Что тут плохого?! Или мой Жора не мужчина, не может с женщиной быть?!» Видишь?

— Вижу, — говорю тупо.

— Сама переживала, конечно. Жена не может не переживать. Все надо с умом делать, да? — И взглянул на меня со значением.

— Слушай, что ты все молчишь? Думаешь, я простой шофер, не могу понимать? Я простой шофер, потому что свободу люблю! Люблю вольной птицей быть. Что хочу — делаю! А раньше я очень большого начальника возил. Знаешь: начальник и его шофер — это как один человек. Я всю его жизнь знал. Куда ни приедем — мне то же уважение, что и ему. Но у него дочка была. И она меня полюбила. До того дошло — стала мне в одной рубашке дверь открывать. Я не смотрел, правда. Зачем смотреть? Она девушка... Но мать за ней заметила. И ему сказала. Он говорит: «Глупость! Жора себе не позволит!». Но мать за ней больше замечать стала. И ему пришлось сказать: «Жора! Я тебя, знаешь как уважаю! Но ты понимать должен: я — отец!..» Ай, какой разговор может быть?! Я заявление написал... Время прошло, меня опять зовут: «Жора, — говорят — тут одного большого начальника возить надо!». Я спрашиваю: «Дочка есть?» «Есть». «Э-э, — говорю — с меня хватит! Я вольная птица!» Смотри, уже Эльбрус виден...

— Эльбрус?

— Да, Эльбрус. А ты что думала? А там Машук-гора... На могиле Лермонтова была?

Прах Лермонтова перезахоронен в Тарханах, но место дуэли, где без отпевания закопали его тело сразу после гибели, так и осталось «могилой Лермонтова». А я и в Тарханах не была. Поэтому просто сказала:

— Нет, не была.

— Недалеко будет. Можно немного в сторону дать, выйдешь — посмотришь...

— Спасибо, не надо в сторону. Я не хочу.

— Пустяки. Чего боишься? Я в машине останусь, не выйду даже!

Он помолчал немного, и я молчала. Каждый из нас что-то обдумывал. Стихи Лермонтова были первыми любимыми стихами, проза навсегда осталась самой чистой русской прозой, безупречным явлением языка. Любовь к Лермонтову была жгучей, и даже школьная хрестоматийность не смогла охладить ее. Но смотреть на место, где так подрацки оборвалась его жизнь, почему-то не хотелось. А тут как раз Жора сказал:

— Я такой человек: если цель имею — я прямо бешеный! Не могу успокоиться!

«Ну, точно, — подумала я, — не надо».

А Жора продолжал: — У меня братья в Ереване — все большие начальники. Им за меня всегда стыдно было. Однажды приезжаю, они собрались и стали мне говорить: «Нехорошо, Жора, мы знаем, у тебя любовница есть. Ты человек семейный, у тебя сыновья, то-се...» Я чуть с ума не сошел: «Замолчите, говорю, никогда не упрекайте так, иначе я ноги своей в ваш дом не поставлю!». И задумал одну вещь. Средний брат начальник депо был. Совсем бедно жил. Ничего в доме не имел. Я ему говорю: «Ты вот что: оставь это, уходи с начальников, иди простым проводником». Он: «Как? Что? Стыдно! Нельзя простым проводником!». Но я его научил: «Ты — говорю — из рейса возвращаешься, всегда дай пятерку кассирше, она в твой вагон билетов продавать не будет. А людям ехать надо — они к тебе придут...»

Совсем другой человек стал. С моей женой в Москву поехали, у нее такой вкус есть: немецкий гарнитур купили. Обставился, всегда деньги стал иметь. Тогда я познакомил его с женщиной. Женщина, знаешь, — Жора отпустил руль и вмиг нарисовал женщину.

Я увидела ее крутые бедра, взбитую, сливочную грудь, пергидрольную пышную голову.

— На любой вкус! — подтвердил Жора. — Отличная женщина! Но я с ней уговор имел: она мне все рассказывала. Наступил такой день, брат с поездом приехал, мы с ним

покупки сделали, домой пришли, стали вино-коньяк пить — ему уже идти надо. Тут я говорю:

— Знаешь что, я с тобой поеду...

— Как со мной?! Не мог раньше сказать?! Почему решил?

— А так, решил и все. Что — не могу ехать, если хочу?

— Почему не можешь? Можешь, — говорит, а сам весь красный стал. А я как будто раздумал:

— А, ладно, езжай один.

Он уехал, я тоже такси взял и на вокзал. Вижу: она по перрону ходит. У нас уговор был: раньше, чем я не войду, она не войдет. Брат, когда меня увидел, зеленый стал.

— Ты что, — говорит — опять решил ехать? — Да сам не знаю. Пойдем пока, выпьем...

Пошли в его купе. Я коньяк достал, разливаю. Стук в дверь. Та женщина входит:

— Можно мне с вами ехать? — говорит, будто меня испугалась. — Мне, понимаете, билета не было, а нужно ехать».

— Почему нельзя. Можно, конечно, — за брата отвечаю. Он, как немой, стал. А я ее за руку взял, в купе ввел. — Только сначала надо с нами выпить.

— А не-удобно...

— Зачем неудобно?! — наливаю, а сам ее за грудь трогаю. Вижу, мой брат уже почти неживой. Тогда я говорю: «А, ладно, раздумал, не поеду...» Поезд сейчас тронется. Брат белый, пот с него течет.

Хорошо. Попрощался, пошел. Но не домой. В другом вагоне у меня знакомый проводник был. В три часа ночи я не спал. Через вагоны прошел, стучусь к брату.

Он:

— Кто? Что? Нельзя! Я отдыхаю!

— Сам знаю, что отдыхаешь. Но почему нельзя? Я твой брат! Давай, открывай!

Он дверь приоткрыл, в глаза не смотрит. Но я вижу: она там, у него. Вот тут я ему сказал:

— Ну что, хорошо любовницу иметь? Теперь понимаешь? Так и другим скажи...

Больше мне никогда никто упрека не сделал... Вот там могила Лермонтова. Я свернул все-таки. Пойдешь смотреть? Я же сказал, в машине останусь! Слушай, что ты за человек?! Оперу не любишь, балет не любишь, музыку не

понимаешь, людей боишься, на могилу Лермонтова посмотреть не хочешь! Там совсем рядом ресторан есть, мы его в шутку, конечно, «Подальше от жены» называем...

Я стою возле «могила Лермонтова» и думаю: «Все было неотвратимо. Жизнь, прожитая на острие ножа. Дерзкий гений, жизнь не давалась ему, только литература... Вон там, в машине, сидит гений жизни. Обыкновенный гений Жора...»

Ну уж, не гений, конечно — это так, «ради красного словца» сорвалось. Однако же в какой гармонии с самим собой живет человек! Какое удовольствие сам от себя получает!

Среди писателей такое практически не встречается. Сочинители чаще всего жизнь проживают мучительную для себя, тягостную для ближних. Что-то все гложет писателя, копается он в закромах своей души, раскапывает отходы выпретенного духа. А может, зависть его гложет? Славы вечно не хватает? Ему, конечно, необходимо умение плести интригу, а он заиграется и в жизни остановиться не может. Образуются ссоры, друзья чураться начинают. Одиночество обступает...

Вот и у меня от той прошлой моей писательской жизни осталась скверная склонность все что-то раскапывать, взгляд на все иметь подозрительный. Ну какое мне дело до того, кто и что ворует? Почему меня так раздражает эта однообразная манера нашего главного босса заигрывать с народом: не может он мимо работяги пройти без того, чтобы не сдернуть с его головы бейсболку да не закинуть куда-нибудь повыше. Или другому кому перекинуть. Вот радости вокруг: ну до чего простой, ну совсем дурачок, как и мы с вами. Сорвал один раз красную шапочку с головы источенного вирусом доходяги-гея, перекинул кому-то и, кривляясь, лицом показывает: дескать, кидай назад, а у гея тонкие ножки обуты в женские туфли на высоком каблуке. Бедняга качается на каблуках, мечется от одного к другому — гиньоль да и только. А вокруг какой-то средневековый восторг... Ну да Бог с ним, с нашим боссом, дело-то все-таки не в нем. Дело само по себе — оно уже налажено, и надо протереть глаза от засыпавшей их пыли «ползучего реализма» и вспомнить: пару лет назад нашей организацией был куплен дом, и большие сотни бывших бездомных живут в нем; нар-



коман, алкоголик, расписавшийся в твердом решении лечиться, получит лечение, оплаченное нами. Захочет учиться — пошлют в колледж или на компьютерные курсы. Многие у нас же и работают. Есть у нас дневной медицинский центр — больные получают необходимое лечение, с ними работают психотерапевты, работники социальных служб учат наших клиентов первым навыкам личной гигиены, развивают в них чувство ответственности не только перед самим собой, но и перед окружающими.

В подвале одного из магазинов стоят ткацкие станки и швейные машинки. Это школа ремесла. Из старых галстуков и непригодных для продажи рубашек люди, прежде никогда не работавшие, только что научившиеся умываться и пользоваться туалетом, ткуют ковры и шьют красивые наволочки. В типографии заказали ярлыки в стиле «ретро», и продаются эти изделия с указанием имени исполнителя.

Я еще в штате не была, работала в магазине, и мне однажды вменили в обязанность обучать нового клиента. Он неотступно бродил за мной, молчаливый, с остолбенелым взглядом — черное, ни к чему не способное бревно. Многие люди обалдевают, узнав, что больны неизлечимым, смертельным недугом. Особенно если подхватили вирус не через задницу, а через иглу. Вот как этот мой подопечный. Все валилось у него из рук, даже просто развешивать вещи не получалось, хотя мы с ним очень старались. А тут как раз оборудовали подвал станками и машинками, и Магда забрала его учиться ремеслу. И оказалось, что он настоящий художник, руки у него золотые, чувство цвета, композиции — это все у него от природы, безусловное. Вещи делает исключительно красивые. И сам стал приветлив, улыбчив.

А болезнь что ж? Все мы под Богом ходим. Русские говорят: «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Ну, и от всего прочего...



Валерий ВЫСОЦКИЙ

## МИРАЖ

### Ворух\*

И дольше века длится день...  
 Ждешь как надежду ласку ночи.  
 Пронизанная солнцем тень  
 Сады покинуть все ж не хочет.

И воспаленное лицо  
 Горит. Глазам нет облегченья.  
 Неспешность редких облаков  
 Не воскрешает негу лени.

Все ж робко первая звезда  
 Дрожит за маревом угара,  
 И ошалевшая вода  
 Бежит во мрак корней чинара.

\*Ворух - кишлак (село) в горах Памиро-Алая, Таджикистан.

Всегда задумчивый ишак  
Взревел, почувавши прохладу,  
И стайка пыльная собак  
Арык лакает до упаду.

И здесь, где воды арыка  
Заката красками играют, —  
Три чалмоносных старика  
Степенно хлеб переломляют,

И черный, в копоти, кумган  
Зеленый чай неспешно цедит...  
И в этом — весь Таджикистан:  
Жара, лепешка, чай, беседы...

Здесь горы замедляют бег  
Безумия БОЛЬШОГО МИРА.  
Здесь ощущает человек  
Дыханье Вечного Памира...

Но вот пронзает воздух свет  
Нездешним золотым сияньем  
Лучей, рассыпавших букет  
Перед желанным расставаньем,

Когда, стирая краски, тень  
Приводит МРАК прохлады Ночи,  
Чей купол звездами источен  
Но — дольше века длился день...

*февраль 1996 г.*

### Глухота

Когда залиты небеса  
Непроницаемым покровом,  
Когда Божественному Слову  
Не внемлют сердце и душа,  
И мы, немые для молитв,  
В холодном стынем безразличья...  
Лишь катит новый день-Сизиф  
Валун обкатанный привычки —  
Тогда медлительный рассвет  
Сдвигает тихо шторы ночи...

Но хмурый день ступить не хочет  
На грязный города паркет.  
И в вечер вновь бегут часы,  
Не успевая свет заметить...  
Лишь тучи сивые усы  
Макают в каменные сети.

Где мы, подняв воротники,  
Изводим жизнь — на пустяки!

*октябрь 1996 г.*

### Пять евреев

Весь многоликий мир пытались ПЯТЬ ЕВРЕЕВ  
Свести к простым понятиям естества:  
Вот — УМ, познавший Бога моисеев,  
И — ВОЗЛЮБИТЕ БЛИЖНЕГО Христа...

Затем — провал средневековой жуткий,  
Потемки человечества... Но вот  
Маркс объяснил все прихотью ЖЕЛУДКА,  
От Бога сделал дерзкий отворот.

Здесь Фрейд вмешался, доказав доступно:  
Постель — основа, ПЛОТСКАЯ любовь.

Но эту точку зрения преступно  
Нацисты мигом приспособили под кровь!

Эйнштейн вовремя явился. Гениально  
Он разрешил все споры навсегда:  
Все — ОТНОСИТЕЛЬНО...

Увы, как это ни печально,  
Но вечных истин не бывает, господа!

*февраль 1996 г.*

### Мираж

Казалось: нескончаем этот день,  
Казалось: солнце светит отовсюду...  
И убредали под спасительную сень  
Выносливые, гордые верблюды.

Казалось: неизбывен этот жар,  
В котором камни плавятся пустыни.  
И лишь в предночь стал уползать пожар  
За горизонт кроваво-желто-синий.

И вот упал еще горячий мрак  
И ест песком обугленные губы.  
Чуть слышен плач полуживых собак  
И вздохи тяжкие измученных верблюдов.

Но черный свод в прохладе тайных чар  
Всю роскошь звезд рассыпал на уставших,  
И меж камней покойно стынет жар,  
Прикрыв цветы росой, к утру упавшей...

Когда в глаза вольется новый день, —  
Он осветит улыбкой белозубой  
Дрожанье марева смертельную кипень,  
В котором сгинут гордые верблюды...

1988 г.

### След

Когда за пологом ресниц уснут глаза  
И к ночи день устало немеет,  
Заря закатная задумчиво зардеет —  
Зенит прочертит тихая звезда,  
    И меж ладоней теплых облаков  
    Она пустыню неба покидает,  
    И свет ее бесследно истлевает,  
    Не достигая призрачных лугов.  
И колокол ночной молчит, скорбя  
По роскоши угаснувшей утраты...  
И в бесконечность отбывают даты,  
Когда за пологом ресниц уснут глаза...

Так наша жизнь: как тихая звезда  
Не возвратится в небо — НИКОГДА...

апрель-май 1984 г.

### Стыдно...

С.А.Ковалеву

Постыдно жить под гнетом пустяков,  
Не ведая КАК можно жить иначе.  
Зависеть от капризов дураков  
И от амбиций неучей — тем паче!

Постыдны: бедность и захламленный простор,  
Судеб вершитители — из подворотен — в «князи», —  
И разум, выметаемый как сор,  
И совесть нации, мешаемая с грязью.

Постыдно зависть злобно затаить,  
Привычно «на-халяву» бить баклуши.  
Быть Патриотом — значит НЕ любить  
Апломб державности, имперское бездушие!

Постыдно жить все время на войне —  
Внутри страны, с соседями и миром.  
И ненавидеть тех, кто не в тюрьме,  
И слышать только «варварскую лиру».

Постыден грохот взрывов и сапог  
Среди руин российского предместья:  
Где балом правит дьявол, а не Бог —  
Там трупы, кровь, насилие и бесчестье!

Постыдны: ежедневное вранье  
И смрадный дух окопов и портянок...  
Вновь вместо жаворонков — в небе воронье,  
Вновь землю вспахивают гусеницы танков...

Постыдно сознавать, что молодость — «ЗАПАС»  
Для пушечного мяса генералов,  
И жить в стране не средь ЛЮДЕЙ, а «МАСС»,  
Привычно озабоченно-усталых,

Уверенных, что жизнь, увы, «НЕ ТА»  
В Отечестве, где каждый крик — от боли,  
Где в дефиците — хлеб и доброта...  
Но в ПЫТОЧНОЙ — всегда ИЗБЫТОК соли!

Не стыдно ПРОСТОДУШНЫМИ прослыть:  
Стыдней, «штаны задрал» бежать за популистом.  
Россия — Гамлет: «Быть или не быть?»...  
Могила РОЕТСЯ — лопатами нацистов!

Постыден рок, нависший над страной,  
Холопы алчные, что зарятся — в мессии...  
Постыдно жить с дырявою сумой,  
Еще постыднее насилие над Россией!..

13-16.02.95

**Патина**

*Посвящается Его Святейшеству  
папе Иоанну-Павлу II (Войтыле)*

Навсегда популярная тема:

Ясли, овцы, Мария, Христос,  
Воссиянье Звезды Вифлеема,  
Осветившей жестокий вопрос:

Впредь отсюда какую дорогой

Человек зашагает в веках —

К свету, мраку, ко дьяволу, к Богу,

Вновь и вновь повергаясь во прах?

Не напрасны ль мученья Голгофы?

И тела на крестах, и костры?

Гениальность, истекшая в строфы,

В камень, в звуки, иконы, холсты?

По сей день неменяемы речи,

Что зывают к Любви, не на бой.

И на всех, миру сущих наречьях,

Только Смерть верховодит судьбой:

Не Любовь величавится в бронзе —

Покорители стран и племен.

И кровавое плавится солнце

В гордой тяжести бранных знамен!

В бронзе тронутых патиной пушек,

Пасть разверзнувших в синюю даль,

В блеске воинства детских игрушек,

Озарив агрессивную сталь!

И, раскинувши руки над миром,

Без ответа на ГЛАВНЫЙ вопрос,

Не взлетает из белого Рио

Пригвожденный к утесу Христос...

Потому — нескончаема тема:

Мать, кормящая грудью дитя,

И солдат под Звездой Вифлеема,

Пулю в небо вогнавший — ШУТЯ...

26.12.98

**Шуламит**

Не греют в старости ни слава, ни престол

Царя Давида. Нет ему покоя.

Пустыню ложа как широкий стол

Он гладит ослабевшею рукою.

Проходит все... Лишь власть пока верна.

Жар жизни заменил предзимний холод.

И даже он не знал — пока был молод, —

Что СТАРОСТЬ — неприступная страна!

Ведь никогда он робости не знал

На зависть Саулу. И чтит Ковчег Завета.

Сам Бог ему победы даровал,

И даровал признание всего Света —

С тех пор как мальчиком он принял страшный

Презрев смертельную опасность страха:

С пращой в руке, но как инфант — нагой,

Он сокрушил громаду Голиафа!

Но призрак старости преследует ночами

И не дает забыться ни на миг:

Из мрака смотрит мрачными очами

И вяжет сердце, руки и язык,

И мозг слабеет... Не плетется ныне

Волшебных строф сверкающая нить.

И в черепа пустеющей храмине

Он тщетно силится хоть память сохранить...

Но верный раб — он верен и в пустыне.

И как-то вечером (еще закат горит)

Царю представил в крытом паланкине

Прелестное созданье — ШУЛАМИТ.

«Пусть согревает долгими ночами

Твое слабеющее тело — раб сказал —

И греет сердце жаркими устами,

Ласкает душу звуками цимбал»...

Но море грусти не дано покинуть

Знававшему жар множества ланит:

Любовь подвластна юности — не чину.

Он — царь. Но лишь для ТЕЛА Шуламит.

И покорить он может оболочку,

Но не согреет душу НЕЛЮБОВЬ...

Нужна ль Давиду жалкая отсрочка

Той неизбежности, что остановит кровь?

Взор девушки был ясно-непокорен:  
 Ты — властелин могучий, я — раба...  
 И он прозрел в том взоре только горе,  
 Но тут же понял: Шуламит — судьба!  
     «Откройся, милая, скажи — кто твой избранник?  
     О ком тоска твоя, кому твоя любовь?  
     Я в этом мире — ослабевший странник,  
     Чей след под Солнцем не возникнет вновь»...

И Шуламит ответила спокойно:  
 «Моя любовь — Поэт поэтов, о, мой царь!  
 Его любви совсем я недостойна,  
 Но жизнь положена на жертвенный алтарь!..  
     Однажды я в садах Эршелаима  
     Осмелилась стихи его пропеть,  
     И Сам Поэт, присутствуя незримо,  
     Заставил голос мой до неба долететь!»

«Так спой же что-нибудь!» - вскричал Давид поспешно.  
 И лира зажурчала под рукой,  
 И звуки дивные наполнились чудесно  
 Псалмом великим как водой святой:  
     «Приму веселье я из чаши Вакха,  
     Когда увижу, что ты пьешь со мной!  
     В Долину Смерти я сойду без страха  
     Твоей влекомый любящей рукой!»

Умолкли струны... «Если б ты узнала,  
 Что твой избранник немощен и сед,  
 О, Шуламит?» Но дева отвечала:  
 «Несовместимы Старость и Поэт!  
     И я люблю Поэта... Мне известно —  
     Кому душа принадлежит моя...»  
 Давид с улыбкой молвил: «Слышать лестно:  
 Ведь твой Поэт счастливый — ЦАРЬ. И Царь тот — Я!»

Путь в прошлое проторен Немесидой.  
 Там — кладезь мудрости для каждого открыт.  
 Быть может, вняты нам псалмы царя Давида,  
 Поскольку пела их с любовью Шуламит?

9-10, 24.12.97



Лада НЕГРУЛЬ

## СИРЕНЕВЫЙ МОТИВ

### Иная жалость

Нет, мне не жалко трусов и бессильных.  
 Я не сочувствую их горестной судьбе.  
 А жалко мне бесстрашных и двужильных,  
 Что всю планету держат на себе.

Достойно мощи высокопородной  
 Сочувственные взоры привлекать.  
 Пусть обвинят в жестокости холодной —  
 К суду молвы, увы, не привыкать:

Когда за помощью протянут руку,  
 К тому я поспешу на всех парах,  
 Кто предпочтет победы труд и муку  
 Привычке быть поверженным во прах.

Тому, кто на коне, дарю коня я!  
 Пусть обвинят в безумье — все равно,  
 И скажут: братству слабых изменяю,  
 Чтоб выпить славы кислое вино.

Я с сильным, ибо нет его слабее,  
С уверенным в себе, ведь он раним.  
Я с тем, кто к смелости идет, робея,  
На риск — лишь слабой верою храним.

Заменил мужество уход больничный,  
Унынье — шутка, а рыданье — смех.  
У всех «все плохо», у него — «отлично!»,  
И комплексы его сулят успех.

На плечи, не взирая на усталость,  
Он взвалит тех, что ноют и ревут.  
(Те приспособленней, что бьют на жалость,  
Что сильных всех, увы, переживут!..)

Устала слышать я: «Ты не рыдаешь,  
Смеешься — ты сильна!» Толкнут ногой  
И скажут: «Жалости не вызываешь».  
Прогонят и вослед махнут рукой.

Я жду того, кто скажет мне иначе,  
Отбросив навалившихся гурьбой:  
«Ты сильная, — смеешься, а не плачешь.  
Поэтому я рядом! Я — с тобой».

### Святая болезнь

«Я верю, что добро непобедимо», —  
Сказал безумный своему врачу.  
Ответил врач ему невозмутимо:  
«Ты веруешь? Я это и лечу».

Больной был бит, оставлен без обеда,  
Но все кричал он: «Граждане земли,  
Хочу, чтоб за добром была победа,  
Чтоб делу мы святому помогли!»

Никто выздоровленья не дождался,  
И, насладясь лечением вполне,  
В загробный мир несчастный тот подался, —  
Спасибо медицине и родне...

Вот силою смертельных циркуляров  
Мириады судеб подытожил век,  
А в следующем миллионом экземпляров  
Был издан тот безумный человек.

Великим оказавшись ненароком  
Не тленной славы медь он получил,  
Но жизнь, не ограниченную сроком.  
А бедный врач навеки опочил.

Хотел бы свой диагноз он исправить  
На гениальность, но — увы и ах! —  
Пришлось к чертям лечить его направить.  
(Уж эти-то толк знают во врачах.)

Что зло непобедимо, непреложно —  
Вот, что известно гражданам земли,  
Что победить добром не трудно — невозможно...  
Но ведь безумцы — гении — смогли!

### «Мы чужие на этом празднике жизни»!..

На праздник жизни нас не приглашали  
Те, к кому в дверь стучим: «Не помешали?..»  
Не жалуйся, мы при любом режиме,  
В любом столетье были бы чужими.

Одно при разных судьбах повидали:  
«Нежданных» нас нигде не ожидали...  
Нас судит ложь, живя под крики «Браво!»:  
«За правду умирать кто дал вам право?!

А есть ли у вас имя, дорогие?..  
А есть ли чин? Вообще... кто вы такие?!  
Кольцом своим кровавая порука  
Вас обошла — фортуна близорука».

Не жалуйся, что не имеем выгод  
От той поруки. Мы отыщем выход.  
Путь к цели без кровавых полномочий  
Других верней, прямее и короче.

Раз истиной мы к истине ведомы,  
Неважно, есть ли чин у нас и кто мы.  
Живем, творим и дышим нелегально,  
Но победим мы дерзко и нахально.

За всех «нежданных» будучи в ответе,  
В любом столетье мы — одни на свете.  
Нет, не одни. Мы с Тем, по мере сил,  
Кто нас на праздник жизни пригласил.

**Снег**

Выпал снег, чтоб струился свет,  
 Чтобы лучше был виден след,  
 Чтобы ярче кровь оттенить...  
 И чтоб просто погоду сменить.

Чтобы ночь не была темна,  
 А дорога во тьме — видна,  
 Чтобы белым засыпать темень.  
 И чтоб просто упасть на темя.

Выполняя свой долг, он гибнет —  
 Бросив звезды к подошвам липнет.  
 Но кто точно сказать осмелится  
 Так красиво зачем он стелется?

Пунш из снега пенистый бел.  
 А проглотишь его — как мел.  
 От него улетает хмель,  
 Но не сладкая льда карамель.

И, ругай его, нет, он есть.  
 Нипочем ему злоба и лесть,  
 От него никуда не деться.  
 И приходится в шубы одеться.

Всех покрыл он белесой эмалью.  
 Всех закутал пуховой шалью.  
 И — рабы ли, цари ль, палачи ли —  
 Снега порцию все получили.

Так зачем он?.. Чтоб «делать дело»?  
 Чтобы «природа наряд надела»?  
 Чтобы нам у печей согреться?  
 Иль чтоб просто блистать, красоваться?..

«Он для снега!» — Не так уж нелепо.  
 Потому он и падает с неба.  
 Чтоб для всех мы умели светиться  
 Так как он — не взирая на лица.

**Дорога**

С разъезженными нервами дорога  
 Так ныла, что не в силах устоять,  
 По ней пошли мы. Даль глядела строго...  
 Но что нам даль, нам только б не стоять!

Дороге братья, дети пустоты,  
 Швы горизонта трогая рукой,  
 Мы с детства не боялись темноты.  
 Что нам опасность, только б не покой!

Себя бессонной скачкой увлекли,  
 Когда весь мир устраивался спать.  
 Мы в кровь стереться скоростью могли,  
 Но что нам скорость, только бы не вспять!

И солнце мы увидели тогда,  
 Когда еще не думало светать,  
 Пусть путь ночной нелегок — не беда,  
 Что нам усталость, только бы не ждать!

И так нас та дорога захватила,  
 Что не вернуться нам и не свернуть...  
 О, только б жизни на нее хватило!  
 Но мы и смерть минуем, только — в путь!..

**Сиреневый мотив**

Флейта звучит плаксиво.  
 Сиреневый цвет красивый.  
 Рояль тяжело вздыхает.  
 Сирень благоухает.

Рояль неизменно пыльный.  
 Слегка стороною тыльной  
 По крышке рука проводит...  
 С ума этот запах сводит!

Изящна пыльная сетка.  
 За дверью кричит соседка —  
 К сознательности взывает.  
 Сирень мечты навевает...

И томный изгиб рояли  
Уводит в мечты из яви,  
Где громче крика соседки  
Мотив сиреневой ветки.

Соседка замолкнет гордо.  
У флейты охрипнет горло.  
Рояль закроют на ключ.  
Сирени же звук живуч.

### Зерно в тернии

*"А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно».*

Мф. 13.3

Мы — в терние упавшее зерно.  
Мы плодоносим лишь смешавшись с грязью.  
И хоть лицо с небес озарено,  
Мы постигаем образ в безобразье.

Не Господа мы — грязь боготворим.  
Обожествляя выгоду мгновенья,  
Мы с каждым днем бездарней все творим,  
Не зная вдохновенья — омовенья.

Но мы не злоумышленники, нет!  
Мы просто очень занятые люди.  
И видим мельком — в суете сует —  
Пророка голову у нас на блюде.

Но не убийцы мы! Кто суд свершит  
Над нами?.. Рук не портим мы гвоздями.  
Но в мире, что не нам принадлежит,  
Хозяевами стали, не гостями.

И мы не воры! Просто отдавать  
Тому, Кто одолжил нам дарованья,  
Не станем ничего, спеша урвать  
Не к правилам Творца, к себе вниманье.

В злодействах нас нельзя подозревать...  
Но и Пилат Понтийский не был злобным, —  
Был занят, мог Спасителя прервать  
На полуслове — график дел был плотным.

Мы руки умываем вслед за ним,  
Но вряд ли их когда-нибудь отмоем.  
Храним пожитки. Душу не храним.  
А совести всегда глаза прикроем.

Что ж удивляться, что жесток конец —  
Коль повезет, то скажет современник:  
«Пророку дал терновый он венец»,  
Не повезет: «...земле — терновый веник».

### К Тебе

Я иду к Тебе по воде,  
По качающейся глади.  
И с законами в водной среде  
Мои дерзкие пятки не ладят.

И сердечно желают помочь,  
И скорбят о моем невезенье  
Окружающие. Им невмочь  
Мне от счастья найти спасенье.

Всех волнует моя беда! —  
Мне активно машут из рубки  
Проходящие мимо суда  
И на воду спускают шляпки.

От холодной воды сапоги  
Защищают сильные ноги.  
А владельцы их, рыбаки,  
Мне кричат, что здесь нет дороги.

Отдыхающие на берегу  
От сочувственных слез промокли.  
Может, волн разглядеть не могу?..  
Но на то существуют бинокли.

И строители переживают:  
«По воде идти, в полный рост! —  
Смерть в пучине ее ожидает...»  
Предлагают построить мост.

В аквалангах мое униженье  
Обсуждают прямо на дне:  
Стоит дорого снаряженье,  
Оттого так не сладко мне.



Может, плавать я разучилась?..  
 Демонстрируя крепкий брасс,  
 Мне пловцы, чтоб беды не случилось.  
 Предлагают круг и матрас.

А паромщик с седыми усами  
 В них роняет скупую слезу:  
 "Мадемуазель, вы не сможете сами.  
 Разрешите я вас подвезу».

Дорогие плоты и матрасы!..  
 Подвезти? Так — смотря куда.  
 Корабли, скоростные трассы  
 Не помогут мне — вот беда!

Можно в Лондон доплыть постараться.  
 На матрасе до Ниццы — пустяк!  
 С аквалангом — в Нью-Йорк перебраться..  
 Но к Тебе можно — только так.

книга стихов

Лады Негруль

## В ЧУЖОМ ДОМУ ЗАБЫТАЯ СВЕЧА

Телефон в Москве: **943-50-93**

Заказы можно направлять по адресу:

Россия, 125252, Москва,  
 ул. Новопесчаная, 23/7, 310  
 в книге 99 стр., цена 1\$  
 e-mail: [enegroul@online.ru](mailto:enegroul@online.ru)



Владимир ДОБИН

## БУДЕМ ВЕРИТЬ

### Радуга

Розовый, синий цветок,  
 бирюзовый,  
 желтый, зеленый,  
                   пронизанный светом...  
 Словно бы радуга — жизнь  
 основа  
 в мире, который придуман  
                   поэтом.  
 Мир, что ушел, не забыт,  
                   но — отброшен,  
 хоть и осталось немало  
                   зацепок.

Высох цветок, что навеки  
                   заложен  
 между листов и записок  
                   и скрепок.

Этот же, тутошний,  
                   благоуханный  
 светоразлитый,  
 водой напоенный,  
 розовый,  
                   желтый,  
                           белый,  
                                   зеленый,  
 странный,  
                   чудной,  
 но навеки желанный,..

\*\*\*

Как легко мне раздвинуть пространство —  
 Словно мел на доске я стираю.

Я мечтал никогда не расстаться —  
 и теряю, теряю, теряю.

Бой курантов ловлю издали —  
 он доносится через границы.

Знаю: все в жизни — волею рока.  
 Но не спится, не спится, не спится...

\*\*\*

Только так вот бездумно  
 и можно писать о любви  
 и нанизывать букву за буквой,  
 как бусы на нитку тугую.  
 В небе — имя твое,  
 и по радио — песни твои,  
 и в окне предвечернем  
 я вижу тебя, молодую...

А за тихую Темзой  
 отыщу старый «Глобус в лесах  
 и, свернув на восток,  
 выйду к спящим химерам Нотр-Дама.  
 Ужас время сковал  
 на безумных кремлевских часах,  
 и билет в Тель-Авив

заказала Прекрасная дама...  
 Все за доллары можно —  
 и даже века пересечь.  
 Стук колес, рев винта  
 и компьютерный блеск перевода  
 куда лучше, конечно,  
 чем «ворон» в ночи и картечь,  
 даже если не знаем,  
 что делать нам с нею — свободой...

\*\*\*

Земля Израиля —  
 два слова освященных,  
 как две свечи,  
 зажженных в черный день.

Бессилен даже ветер  
                           из пустыни  
 их пламя негасимое задуть...

\*\*\*

Во мне горит Уитмена огонь —  
 вздувает ветер пляшущее пламя  
 и разгоняет в небе облака,  
 чтоб мог Господь с небесной высоты  
 меня, почти неслышного, услышать,  
 меня, почти невидного, узреть.

Оставлю Господу заботы о других:  
 пусть ветер времени в чужие паруса  
 надсадно дует, пусть чужие кони  
 несутся вскачь, — а мне милей покой,  
 когда в багряном отсвете заката  
 не льют с небес кровавые дожди.

Со всех картин я краски соберу,  
 все книги разом я перечитаю —  
 способна лишь еврейская душа,  
 весь мир вместив, голодную остаться  
 и вечность миг за мигом принимать,  
 и жить в веках, нисколько не насытятся

У каждого свой выбор — впереди.  
 Но, чтоб меня коснулось озаренье,  
 подобное Давидовым псалмам,  
 дай силу мне — рассудку вопреки —  
 и слышать все в полнейшей тишине,  
 и далеко во тьме кромешной видеть.

Во мне горит Уитмена огонь...

### Пастернак

Этот нос — восклицательный знак,  
 эти губы — набухшие, бычьи...  
 Да, напротив меня Пастернак —  
 как живой, только в женском обличье.

Здесь, в автобусном забытии,  
 в декабре, посреди Тель-Авива,  
 он (она) тоже пишет стихи,  
 гениальные неуловимо.

Он (она) тоже смотрит в окно.  
 все, что было и сбудется, зная,  
 от других отстранясь как бы, но  
 никому ничего не прощая.

\*\*\*

И снова с неба солнца ливень жаркий  
 А даль, как встарь, прозрачна и суха.  
 И мандаринов детские подарки  
 срывает с тонких веточек рука.

Как воздух чист и сладок на вершине!  
 Как здесь земля поката и красна!  
 Под музыку веселую в машине  
 еще роднее кажется она.

Возьми на память эти косогоры,  
 цветов плетенье, поле красных крыш.  
 Такие безграничные просторы,  
 наверно, лишь во сне и облетишь.

Все здесь — свое: и радости, и горе,  
 и даже крылья мельниц ветряных.  
 Живем себе — от моря и до моря,  
 вернувшиеся из краев чужих.

### Стихи, написанные накануне несостоявшейся войны с Ираком

Это странное чувство — ожиданья войны,  
 словно вправду уже все мосты сожжены,

и никто никогда не придет ни к кому —  
 мы одни в целом свете, летящем во тьму.

Это страшно — весь день без надежды почти  
 думать только о том, что нас может спасти,  
 и всю ночь напролет сонных глаз не смыкать —  
 ждать войну и надеяться все же, и ждать...

Снова гонят нас из дому — нет уже сил...  
 Сколько в небе промчится распахнутых крыл,  
 знает только Господь. Почему ж он молчит?  
 Или с кем-то другим в этот миг говорит?

Неужели кому-то еще тяжелей  
 в этой жизни проклятой, но все же своей,

и он столько молился и столько страдал,  
 что Господь раньше прочих его услышал?

Мы ж не лучше других — нам ли это не знать...  
 Будем ждать и надеяться,  
 верить и ждать...

### Скрижали

Из всех известных мне созвездий  
 и всех знакомых мне людей,  
 деревьев голых на вершинах  
 и волн, разбитых о причал,

из городов, где ночью небо  
похоже на девятисвечник,  
а свет мерцающих огней  
о вечности напоминает,  
из всех неразрешенных споров  
в том запредельном далеке,  
что люди прошлым называют,  
из книг, прочитанных когда-то.  
и неразгаданных легенд  
что выберет скупая память  
и на скрижали занесет,  
чтобы пришедшим издалека  
мир этот смог я передать  
по описи, как повелось?

И эти десять строк на камне  
их. будущих, научат жить?

Прости мне, Боже, богохульство!..

\*\*\*

Был прав Вийон: о снеге и дожде  
лишь в сушь такую пишется легко.  
О солнце — ночью; в полдень — о звезде,  
о тех, кто умер или далеко.

Всего ж труднее — в зеркало глядясь,  
себя узнать, увидев без прикрас.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

## СОВЕТСКИЕ ЛИДЕРЫ РАЗГЛЯДЫВАЮТ С ТОГО СВЕТА ПУТИНА

Опыт сюрреалистического эссе

Безотносительно к возможным ошибкам Путина в будущем он останется президентом России в течение четырех или еще большего количества лет. Даже такие трагические события, как гибель атомной подводной лодки «Курск» и пожар на Останкинской телевизионной башне, когда погибло три человека и вышли из строя большинство телевизионных станций в Москве, были не в состоянии подорвать режим Путина.

Сегодня президентская власть фактически бесконтрольна со стороны парламента и высших судебных органов. Путин имеет больше власти, чем некогда всемогущие Генеральные секретари партии, которые, вынося решения по стратегическим проблемам, не могли не учитывать мнение Политбюро, или по крайней мере его ведущих членов. В то время как путинская личность оказывает влияние на развитие Российской государственности не в меньшей степени, чем Генеральные секретари ЦК в советскую эпоху.

Представим себе советских лидеров в Кремле 2000 года, разглядывающих Владимира Путина. Каково же их впечатление? Прежде всего это лидер, который превратил укрепление государственной власти в свою основную стратегию для решения проблем страны, и в первую очередь восставления в мире ее статуса великой державы.

В глазах послесталинских руководителей — от Никиты Хрущева до Константина Черненко — первый российский президент Борис Ельцин был ренегатом, разрушившим Советский Союз и занятый прежде всего личным обогащением и интересами своей семьи.

В отличие от Ельцина советские лидеры, кажется, склонны считать Путина своим, хотя по стилю жизни он вроде бы отличается от них. Они приветствуют путинское восхищение Сталиным, превратившим некогда отсталую страну в могущественную сверхдержаву, и надеются, что он шаг за шагом поведет Россию к намеченной цели. Так же, как Сталин, Путин постарается консолидировать все ресурсы страны, прежде чем она предъявит свои претензии на лидирующую роль в современном мире.

Противопоставляя себя российским либералам, советские руководители поддерживают близость Владимира Путина к КГБ. Будучи весьма обеспокоены его прошлым опытом (когда большую часть жизни он был связан только с органами госбезопасности), лидеры Кремля, за исключением Хрущева, вместе с тем, поддерживают Путина в его преклонении перед политической полицией. Оно, это преклонение, уходит истоками в годы его юности, когда КГБ, как говорится, на всю катушку, подвергало преследованиям диссидентское движение в 70 годах.

Среди прочего они разделяют его прошедшее через всю его жизнь восхищение основателем советской тайной полиции Феликсом Дзержинским. И впрямь, наблюдая за сложными и запутанными событиями, происходившими в России после 85 года, они были очевидцами того, как аппарат КГБ при всех обстоятельствах оставался верен советскому прошлому страны, верил в ее державность и могущество, был предан геополитическим интересам России.

Борцы с коммунизмом приходили из высших эшелонов партии, госаппарата и армии, но никогда из КГБ (за исключением генерала Олега Калугина, которого Путин назвал предателем).

Для Путина это было совершенно естественно скомплектовать свое президентское окружение из числа своих соратников по службе в органах государственной безопасности.

Генеральные Секретари Партии, включая Хрущева, самого либерального из них — полностью поддерживают путинское стремление вернуть стране былое военное могущество, и порядок. Они поддерживают предлагаемое им увеличение военного бюджета, который уже оказывает свое влияние на состояние военно-индустриального комплекса, ему во все времена оказывали наибольшее предпочтение советские лидеры. Путинские планы сокращения государственных расходов на медицину, образование и жилищное строительство все больше ими воспринимаются как путь укрепления военной индустрии, которая оказалась разрушенной в годы правления Ельцина.

Советские лидеры, которые разглядывают Путина с того света, полностью поддерживают его намерение покончить с независимостью местных российских баронов — губернаторов и президентов нерусских республик. Опираясь в своих оценках Путина на собственные «заслуги» (подавление Хрущевым восстания в Венгрии в 1956 году, война с Афганистаном, развязанная Брежневым в 1979) они одобряют путинскую войну в Чечне. Они отвергают критику Запада, продиктованную по их мнению исключительно неприязнью к России.

С чувством удовлетворения они отмечают ненависть Путина к российским олигархам и его стремление ослабить их роль в экономике и, в особенности, в политике. Советские лидеры приписывают олигархам самые отвратительные черты русской дьявольщины. Они с готовностью соглашались с Путиным, когда он объявляет их зачинателями и главными виновниками российской коррупции, выступая на встрече с российскими бизнесменами в июле 2000 года. С присущим им нутряным антисемитизмом они особенно резко выступают против еврейских магнатов в России. Советские руководители пребывают в уверенности, что Путин вместе с его соратниками из КГБ, понимает, что большинство евреев и еврейских олигархов испытывают к России ненависть.

В то же время в условиях трудностей, переживаемых режимом, они понимают, что Путин сегодня вынужден скрывать свое истинное отношение к еврейским олигархам и

даже демонстрировать лояльность к этим людям, чтобы получать от них финансовую поддержку, так же как и поддержку Запада.

С точки зрения руководителей Кремля помощь Запада всегда контролировалась сионистами. Советские лидеры помнят, как Сталин эволюционировал от борца против антисемитизма до лидера, который рассматривал антисемитизм как важнейшее орудие международной и внутренней политики.

Идеологические расхождения между Путиным и советскими руководителями не выглядят сколь-нибудь значительными. Для них коммунистическая идеология являлась основным прикрытием для достижения их главной цели — превращение России в сверхдержаву и оправдания тотального контроля над умами людей.

Естественно, Путин нуждается в другой идеологической концепции, чтобы отвечать требованиям сегодняшнего, изменившегося мира. Советские лидеры рассматривают путинскую демократическую фразеологию как новую маскировку, способную стать прикрытием для старой стратегии.

Путин утверждает, что главным в его государственной политике является разделение властей и проведение честных выборов, тогда как советские лидеры не уставали говорить о руководящей роли рабочего класса и идеях пролетарского интернационализма в качестве своего главного мотива при агрессии в Чехословакии и Афганистане. Руководители СССР с удовлетворением отмечают возродившееся при Путине разделение двух идеологий, существующее в современной России — одна обращена к массам и за границе, другая служит интересам российской элиты.

Путин проявляет большую теплоту в своем отношении к народу, нежели бывшие властители Кремля. Однако советские лидеры понимают, что он разыгрывает спектакль и что на самом деле он разделяет их презрительное отношение к рядовым гражданам страны, которые в массе своей ленивы, склонны к пьянству и воровству. Они видят, что путинская маскировка адресованная к массам, выглядит более искусной, чем их: никогда в их время простые люди не были так разобщены и безразличны к общественным проблемам, никогда представители образованных слоев общества не были так алчны и беспринципны. Лидеры Кремля одобряют путинское стремление к популизму и его заигры-

вание с массами, так же как его уверенность, что толпе не может быть доверено управление обществом. Советские руководители рукоплещут таланту Путина предрешать результаты почти что любых выборов. Достигнув подобной легитимности, советские лидеры могли бы избавиться от комплекса неполноценности перед лицом своих американских и французских партнеров.

Бывшие руководители страны не обвиняют Путина за его презрение к демократическим институтам, которые он публично превозносит. Фактически они поддерживают его недавние усилия в этом направлении. Он превратил российский парламент в поддакивающий ему орган, который очень напоминает Верховный Совет прошлого. Сегодня президент вызывает к себе глав Конституционного и Верховного судов как своих обычных подчиненных. Путин разрушил Совет Федерации как независимый политический орган, способный бросить вызов Кремлю.

Генеральные секретари также поддерживают его стремление посадить своих собственных кандидатов на предстоящих губернаторских выборах, они поддерживают его стремление свести на нет свободу средств массовой информации, представляющих угрозу престижу государства и армии, как это стало ясно после катастрофы, постигшей атомную подводную лодку «Курск».

Поддерживая полезность существования двух идеологий — одну для населения, другую для Кремля — советские лидеры приветствуют привычную путинскую ложь как вполне нормальную вещь. Они верят в необходимость подобного рода обмана иностранных руководителей и российских масс для того, чтобы оградить военные секреты, шпионские операции и сохранить на высоте престиж армии. Однако они были немало смущены некоторыми путинскими фабрикациями по малозначительным вопросам, в особенности, когда в глазах мира сказанное им выглядело как очевидная ложь. Им было просто не понятно, почему он лгал во время своей июньской (2000 года) поездки в Испанию о невозможности разыскать генерального прокурора, чтобы получить объяснения, на каком основании был арестован газетный магнат Владимир Гусинский.

Поддерживая постоянные контакты с мировым сообществом, они могли только удивленно пожимать плечами, глядя, как

Путин скрывал информацию о трагедии, постигшей атомную подводную лодку «Курск». Ведь информация эта была легко доступна для общества, которое имело доступ к относительно свободным средствам массовой информации.

Несоответствия правде также слишком бросались в глаза, когда Путин утверждал, что никогда не отвергал помощи извне и готов был принять поддержку Запада в спасении подводной лодки. Еще более вопиющей выглядела его ложь, во время парламентских выборов в декабре 1999 года и президентских выборов в марте 2000 года, когда новый президент не моргнув глазом, отрицал перед всем миром вмешательство Кремля в избирательные кампании.

Кремлевские лидеры только усмехались, наблюдая за путинским назначением на высокий пост Павла Бородина, который был глубоко коррумпированным хозяйственником в Ельцинской команде. Путин открыто проигнорировал все разговоры о подмоченной репутации Бородина, не удосужившись даже упомянуть о прозвучавших в Швейцарии требованиях его ареста (заметив, что суд не нашел его виновным). Хотя для российской публики было совершенно ясно, что Кремль просто пытается защитить своего приближенного от швейцарской и российской юстиции.

Наблюдая Путина, советские лидеры, естественно, озабочены тем, что он склонен к обману, качество, по-видимому, приобретенное еще со времен его службы в КГБ. Они опасаются, что растущее недоверие к нему отразится на его способности договариваться с политиками Запада.

Бывшие лидеры Кремля переживают весьма смешанные чувства в связи с экономической программой Путина. Часть ее выглядит, как более чем либеральная. Однако другая часть напоминает ленинскую экономическую политику (НЭП), которая ведет к централизации хозяйства как основы для интенсивной индустриализации и развития военной промышленности.

Сторонники Путина утверждают, что в стране, влачащей жалкое существование, и с пустой казной, новый президент не имеет иной альтернативы кроме использования тактики НЭПа для восстановления экономики. Эта политика особенно важная для привлечения иностранных инвестиций и специалистов — испытанная стратегия Кремля в годы сталинской индустриализации и создания военно-промышленного комплекса.

Более того, Путин может позволить себе получать на эти цели кредиты из-за рубежа, тогда как Сталин вынужден был конфисковывать зерно у голодающего крестьянства для того, чтобы оплачивать иностранное оборудование.

Советские лидеры уверены, что Путин способен вернуться в будущем к восстановлению централизованной экономики, не идя на ликвидацию малого и среднего бизнеса, как это делал Сталин в конце 20 годов. Они испытывают явные симпатии к журналисту Александру Проханову, шовинисту и трубадuru Великой России, который некоторое время назад был приглашен в Кремль как гость президента. В недавно опубликованной статье Проханов писал, что он надеется, что предложенная Путиным либеральная экономическая программа — это «хорошо продуманный мобилирующий народ проект, уже поддержанный Российским Советом Безопасности и Генеральным штабом вооруженных сил».

В то время как вчерашние лидеры Кремля разделяют многие взгляды Путина, они с трудом скрывают свое раздражение, вызываемое некоторыми чертами его характера. Слыша его официальные выступления, Генеральные секретари буквально поражены его манерой то и дело прибегать к использованию уголовного сленга. Путин говорил во время одной из своих первых публичных встреч на таком языке, что умудрился ошарашить буквально всю страну. Согласно более или менее точному переводу одного из американских переводчиков, он сказал: «Если понадобится, российские воинские части будут загонять чеченских бандитов в их собственные дома и там их уничтожать, пока те будут сидеть в своих туалетах».\*

В последующие месяцы Путин продолжал использовать уголовный жаргон в большинстве своих публичных заявлений.

Некоторые лидеры Кремля объясняют эту путинскую слабость к определенному рода лексике его прошлой службой в КГБ. Другие считают, что все дело в ментальности посткоммунистического российского поколения. Не только Путин, но такой же уличный жаргон используют большинство политиков в стране, включая таких прозападных и хорошо образованных деятелей, как Борис Немцов и Анатолий Чубайс.

В противоположность Путину все генеральные секретари развивали свое искусство управлять, пройдя через долгую

\*В оригинале Путин предложил: «мочить чеченцев в их сортирах».

карьеру местных, республиканских и общесоюзных секретарей партии. По мнению кремлевских лидеров, такой опыт совершенно необходим для советского руководителя, который стоит перед необходимостью принимать важные решения, в особенности по подбору и расстановке кадров. Весь путинский стаж исчисляется одним годом службы на посту главы федеральной службы безопасности. Спрашивается, как может управлять огромной страной человек, имея за плечами такой жалкий руководящий опыт? — не устают удивляться бывшие кремлевские лидеры.

В качестве фактора, способного рассеять их сомнения, они ссылаются на несколько эпизодов, происшедших в течение первых ста дней его президентства, когда он пытался снять с себя ответственность за действия своих подчиненных. Это происходило во время знаменитого дела Гусинского и во время острой схватки между министром обороны Игорем Сергеевым и начальником генерального Штаба Анатолием Квашниным относительно будущего Российской армии.

Наиболее тревожным, в глазах кремлевских лидеров, стало поведение Путина во время и после катастрофы с атомной подводной лодкой «Курск», в августе 2000 года, когда он отказался взять на себя руководство по спасению «Курска» и его экипажа. Пытаясь в создавшейся ситуации выгородить себя, он говорил, что поступил правильно, поскольку в присутствии в районе бедствия высокопоставленных лиц, не являющихся специалистами, может не только не помочь, но, скорее, даже повредить работе.

Советским лидерам оставалось только согласиться с взбешенными россиянами, которые рассматривали путинскую попытку выгородить себя как непонимание им своей роли верховного главнокомандующего.

Одно из самых недопустимых обстоятельств в глазах бывших лидеров Кремля являются взаимоотношения Путина с семьей Ельцина. Ни один из генеральных секретарей прошлых времен не доверял окружению своего предшественника. Во всех случаях, как только к нему переходил контроль над Кремлем, он заменял старую администрацию своими людьми.

Советских лидеров сильно удивляет решение Путина сохранить на своем посту главу ельцинской администрации Александра Волошина. Равно как они с тем же удивлением видят до сих пор дочь Ельцина Татьяну Дьяченко среди

наиболее заметных политиков страны, каким она остается согласно последним опросам населения.

Бывшие руководители Кремля считают симпатию Путина к «семье» его слабостью как лидера и боязнью пойти на риск. Они отвергают слухи о том, что «семья» шантажирует президента угрозами предать огласке его участие в подготовке московских взрывов в сентября 1999 года, которые помогли ему придти к власти.

Итак, вернувшиеся с того света, генеральные секретари в мрачном расположении духа попивают в своей кремлевской резиденции коньяк и обсуждают будущее России. Во многих отношениях им нравится новый президент, его взгляды на мир, его идеология и его видение целей России. Однако в долгосрочной перспективе они не уверены в его способности (или даже в своих собственных способностях) решить главные проблемы страны. Российская экономика спотыкается. Ее оборудование безнадежно устаревает и все большим становится отставание российской технологии от стран Запада.

28 августа 2000 года в своем публичном выступлении Путин признал, что последние кризисы — гибель подводной лодки «Курск» и пожар на Останкинской башне — стали явными признаками критической ситуации, переживаемой Россией.

Советские лидеры не могут не видеть еще одного величайшего препятствия на пути осуществления путинского плана — это полная деморализация общества. Формальная поддержка народом Путина не преобразуется в реальное участие населения в осуществлении его планов.

Подводя итоги своим наблюдениям, советские лидеры усматривают в облике Путина недостаток харизмы, малый опыт и боязнь принимать дерзкие решения. К их разочарованию, они не верят, что такого рода лидер окажется в состоянии преодолеть множество препятствий, стоящих на его пути и достигнуть исторической цели возрождения Великой России.





Андрей НУЙКИН

## ОЛИГАРХИ

### БЛЕСК И АРТИСТИЗМ БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО

На одной из передач «Гласа народа» некоторые нервные журналисты обрушили бездну праведного гнева на бедного Бориса Абрамовича Березовского. Он-де и исчадие ада, и источник всех зол, и войну в Чечне развязал, и... Не знаю, не знаю... Мне лично как представителю той самой «творческой интеллигенции», которую Борис Абрамович однажды полюбил как родную, он профессионально очень интересен, а по-человечески просто симпатичен. Почти так же, как его предтеча Остап Бендер.

Чем именно? В то время как сотоварищи Березовского по переработке общенародной собственности в личную грабят страну угрюмо, нагло и опасно одновременно, Борис Абрамович делает это легко, жизнерадостно, с выдумкой и артистизмом. В нем даже первично-накопительской оголтелости не ощущается. Нестандартность и изящество осуществленных комбинаций ему явно дороже величины счета в банке.

И как всякого настоящего художника, Бориса Абрамовича очень огорчает обывательская жажда покопаться в меркан-

тильной стороне артистизма. Всем знаком один очень противный тип зрителя в цирке. Мастер творит на сцене чудо, сказку — извлекает из пустой шляпы стаю голубей или засморканный платок превращает в букет прекрасных роз, а вышеупомянутый тип с перекошенной от гражданской бдительности рожей требует, чтобы артист вывернул карманы или засучил рукава, хотя откуда в рукаве взяться букету роз, а в тощем кармане — стае турманов? Вот так и к Березовскому на закате ельцинской эпохи пристала целая свора зануд: мало им увидеть чудо, им еще и материалистическое разоблачение этого чуда подавай!

Пришла в один прекрасный день Березовскому в голову сугубо благотворительная фантазия — взять и подарить свои кровные акции народу, в смысле интеллигенции, вернее — лучшей ее части. И тут же вместо спасибо: «Чего это он вдруг?»... И пошли-поехали размазывать свои подозрения! Насчет того, что 49% акций ОРТ — это же сотни миллионов долларов! Откуда они вдруг взялись у скромного советского Корейки?.. Ну, допустим, эту-то сумму еще можно, экономя на завтраках и педикюре, накопить. Так ведь говорят, что он владеет еще чертовой прорвой прочих СМИ! Мало того, упоминают какие-то «Сибнефть» «Аэрофлот», «Андаву» и еще десяток других фирм в России и за рубежом, где на «ключевых постах сидят полностью подконтрольные Березовскому люди». Случайно, что ли или, может быть, за «фуфу» они ему вдруг «подконтрольными» стали? На все на это, даже если вообще перестать обедать и в банку начать ходить раз в два года, нипочем таких денег не накопишь! Так откуда же они все-таки взялись?

«Пусть Борис Абрамович поделится с нами секретами, — галдят скучные люди, — мы тоже хотели бы попробовать командовать независимыми газетами и всякими там «Андавами»! Небось, когда мы собираемся купить однокомнатную квартиру в панельном доме, от нас тотчас же декларацию о доходах требуют, а тут»... Типичные зануды, до смешного прямолинейно понявшие чисто пропагандистский постулат о равенстве всех перед Законом.

Еще бессмертный Швейк объяснил, что глупость тоже необходима — без нее в мире воцарился бы полный хаос. Без воровства, добавим мы, — тоже! Ведь и дураку очевидно: откладывая на сберкнижку от зарплаты и пенсии, беско-

рыстной, свободной прессы не создашь! И народ останется совершенно не защищенным, простому человеку абсолютно некуда будет пожаловаться на милиционера и непосредственного начальника, демократический процесс пройдет в стороне от России, про гражданское общество придется навсегда забыть, и некому будет «создать рубеж, чтобы не позволить Путину сосредоточить всю власть в своих руках» (из интервью Березовского в Париже). Так что подарок Березовского, если вдуматься, отнюдь не акт рядовой благотворительности, а гуманистическая акция, преследующая очень стратегические цели.

Всяческие декларации о доходах — дело, конечно, похвальное, но ими устремленность Президента к кровавой диктатуре не остановишь, господа обыватели! Тут нужны и несгибаемая воля, и змеиная мудрость. Герой наш и то, и другое готов положить на алтарь Отечества (несмотря на все бытующие разночтения, говоря это слово, мы имеем в виду Россию).

Факт, что мессианская акция Березовского вызвала в российских демократических кругах веселое оживление: усмешечки-насмешечки, пожиманьица плечами — все это не от большого ума демократических кругов, в наличии чего, впрочем, данные круги давно уже никто и не подозревает. Давайте припомним, что именно стало поводом для усмешек.

Начался шум-гам в связи с передачей акций «уважаемым представителям журналистики и творческой интеллигенции». Обрадовались интеллигенты, губы раскатали на дармовые дивиденды, а БАБ их просто разыгрывал! Ничего он им дарить не собирался, он лишь «передал в доверительное управление» непонятно, сколько непонятно чьих (фигурируют Логоваз, Объединенный банк, Газпром, «СБС-Агро», «Менатеп», Альфа-банк и черт-те кто еще!) акций «очень убыточного», по словам самого БАБа, предприятия, где он даже не обладает контрольным пакетом, а чем обладает лично (чтобы иметь право кому-то что-то дарить) вообще абсолютно никому (и, похоже, даже самому БАБу) не понятно. Ибо все время идет речь об акциях, «контролируемых Березовским», а это совсем не то же самое, что «являющихся собственностью».

Березовский развивал свою эффектную комбинацию, ничем, в общем-то, не рискуя: все, что являлось до сих пор

его собственностью, таковой и оставалось. Не обладающим опытом работы в специфической финансовой сфере интеллигентам предназначено было стать послушными марионетками (простите, следует сказать «непримиримыми борцами за свободу слова!») в руках Березовского. А, учитывая, что щедро посуленные блага, доверитель вправе у них в любой момент отобрать, они вынуждены будут из кожи лезть, чтобы «соответствовать». Тем более что через четыре года особо послушные якобы получают часть акций уже в полную собственность!

Экстремисты из Думы давно уже грозятся отгадать, наконец: откуда же взялись у Березовского эти самые 49%? Суетные трепыхания! Предположим, обнаружится крупномасштабное жульничество. Наши романтически настроенные «доверительные управленцы» в этом случае превратятся, извините, в укрывателей краденого, насчет чего, если помните, существует статья УК. Но в том и гениальность БАБа, что даже у такого тирана, как Путин, рука не могла подняться, чтобы открыто, публично отобрать рождественские подарки сразу у дюжины известнейших в мире и влиятельнейших в стране «творческих интеллигентов». Он ведь не мог не отдавать отчета, какой шум и визг поднялись бы по всей планете. Тем паче что состав осчастливленных подобран весьма умно и не для разового пользования. В категорию бессребренной и беззащитной творческой интеллигенции включены махровые политики, акулы пера, пиаровские воротилы, дельцы от пропагандистского бизнеса.

Эта стальная когорта в рядах хрупкой интеллигенции способна взломать стены любой крепости. И найдена весьма остроумная схема их вербовки, позволяющая «известнейшим людям» сохранить лицо, не выглядеть простыми наемниками Березовского. Большая их часть — народ тертый, и от самого управления акциями «очень убыточного» канала больших доходов вряд ли ожидает. И прибыльным делать его с их помощью Березовский вовсе не собирается. Но их самоотверженный труд по превращению канала в «подлинно общественный» без награды не останется, это они тоже знают, ибо согласно разработанному мудрым олигархом ноу-хау, вместо того чтобы тратить деньги расточительно и малоэффективно, т.е. покупать СМИ, оснащать их техникой, платить коллективу зарплаты и т.д., надо покупать руководителей

уже функционирующих предприятий и тех, кто делает на них погоду! Тут кажущиеся обывателям огромными затраты сравнительно мизерны и быстро начнут окупаться. По уже публиковавшимся доносам, Любимов получает за каждое свое «Здесь и сейчас» по девятнадцать тысяч долларов, а Доренко, если помните, меньше тридцати тысяч зеленых за каждый полив в руки брать брезговал. И как мы не раз убеждались по результатам, эффект от подобных вложений не в технику, а в человека достигается поистине планетарного масштаба.

Но не заикливайтесь, господа иронисты, только на сугубо одиозных фигурах, вроде Доренко. Вы весь список еще раз просмотрите и приметьте знаковую черту отбора номинантов: они представляют и медиа-империю Березовского, и медиа-империю Гусинского, которые в совокупности вобрали в себя, наверное, добрых 90% реально способных компостировать мозги россиян СМИ. Не так уж давно (во всяком случае, в ходе последних президентских выборов) эти империи вели между собой пиаровскую схватку. (Не потому ли Путину так легко удалось прошмыгнуть во власть?). Ну, а если бы империи, совокупно представляющие почти абсолютного монополиста в сфере информации и пропаганды, объединили свои усилия в предвыборной борьбе?

Давайте посмотрим правде в глаза. Независимых СМИ в России нет, отстаивающих государственные интересы — почти нет (РТР — отнюдь не самый большой по охвату населения и не самый популярный канал ТВ, а «Российской газете» дай Бог успевать публиковать одни только официальные документы). В этих условиях указанный альянс мог бы, если бы захотел, сделать правящей партией Партию любителей пива (чуть подправив «Закон о выборах»), а Президентом великой России — г-на Шандыбина.

Не верится? А вы не допускаете при нынешнем всемогуществе нашей четвертой власти вариантов и похуже? Иронизирующие журналисты сто раз высмеяли уже объявленное Березовским политическое движение «конструктивной оппозиции» «Цивилизация». Дескать, электорат уже весь разобран, партию раскрутить даже ему не по карману и т.д. Очнитесь, господа! Сами же то и дело повторяете, что БАБ деньги умеет экономить, но тратит их с умом. Благотворительной акцией с акциями ОРТ, он, считайте, не тратясь на

раскручивание своей «Цивилизации», вовлек в ее «конструктивно-оппозиционную» деятельность буквально даром весьма влиятельные политические силы, хотя они вроде бы в движение и не вступали.

Какие именно силы? Увы, те самые, о которых, в частности, не сдержавшись, в разговоре с родственниками погибших на «Курске» с горечью обмолвился Путин: «Есть люди, которые сегодня орут больше всех и которые в течение десяти лет разрушили ту самую армию и флот... Сегодня они в первых рядах защитников... Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии и флота! За несколько лет они денег наворовали и теперь покупают всех и вся! Законы такие сделали!..» Не только армию и флот, добавим. Этим силам и более масштабные задачи по плечу. Благо, некоторое время они действовали поврозь, даже конкурировали. И вот на наших глазах конкуренты, координируемые добрейшим Борисом Абрамовичем, начали сливаться в структуру таранного типа...

А каков главный общий прицел задуманного альянса, можно догадаться, если вдуматься в срок, по истечении которого обещана «раздача слонов» членам новоявленного «Союза меча и орала» (в случае их хорошего поведения, разумеется). Премия в виде живых акций была обещана через четыре (!) года. Откуда такая точная цифра, интересно? Ба! Да это же срок очередных выборов президента! Остается лишь чуть-чуть поднапрячь мозги и представить, что могут сделать со страной ОРТ, НТВ, «НТВ Плюс», «Наше радио», «Эхо Москвы», газеты: «Независимая», «Коммерсант», «Сегодня», журналы: «Итоги», «Власть», «Караван», «Деньги», «Домовой», если они объединят свои финансы, интеллекты, наглости, бесстыдства и прочие качества свободной демократической прессы, начав дружно бить в одну точку.

Это ведь Гусинский с Березовским выехали из России на период улаживания их мелких недоразумений с правоохранительными органами (зловеще заявив на последней ступеньке трапа самолета: «Мы прощаемся, но не уходим!»), а рабски покорная их воле «свободная» наша пресса вся при нас осталась. Чуть-чуть разве что притихла и затаилась, но боевого потенциала не утратила и хозяев не меняла. Поступит команда и тогда.... Не до беглых олигархов будет Путину, всю оставшуюся жизнь проведет он, доказывая, что не

он это, надев акваланг, нырнул в Баренцево море, чтобы киркой проломить оба корпуса подводной лодки, не он, подкупленный Басаевым, вырыл подкоп под собор Василия Блаженного и заполнил его гексагеном, не он каждую пасху пьет ритуально кровь еврейских младенцев, воображая, что это кровь Шендеровича...

Однако... время! — как говорит Миша Леонтьев. Мы ведь собирались всерьез поговорить о том, что такое «олигархи», откуда они завелись в России и чем ей грозят, а пока все отделяемся какими-то байками про милейшего Бориса Абрамовича Березовского.

### ШЕЛ В КОМНАТУ — ПОПАЛ В ДРУГУЮ!

Жизнь наша с началом перестройки — сплошное «поле чудес». Недаром передача под этим названием остается любимой у российских телезрителей. Но засевалось то поле, без сомнения, кем-то очень похожим на лису Алису и кота Базильо. И столь стремительно созревшего, столь щедрого урожая мир не видывал. Не чудо ли — собирать с полей, которые не засевал? Не сюрприз ли — обмолачивать столько, что и «Кубанским казакам» не снилось! Впрочем, к отличившимся на страде мы еще вернемся, а пока о чудесах и сюрпризах.

Полтора десятка лет мы с энтузиазмом возводили белоснежное здание демократии. Очень старались — головы поднять некогда было. И вот не так давно нам по этой голове дефолтом стукнули. Да крепко так — поначалу мы и понять не могли, что стряслось? Потом в себя немного пришли, озираться стали: Где это мы? Что это мы, черт возьми, возвели на фундаменте недоделанного коммунизма? Демократию?.. Не похоже. Конкурентные рыночные отношения?.. Ни боже мой! Правовое государство?.. Не смешите!.. Ни одно знакомое слово не подходит к тому, что сляпали. «Олигархический режим», — объясняют те, что были выездными еще по путевкам КГБ и потому очень любят щегольнуть эрудицией.

Ну, «режим»-то нам слово не чужое, а вот что это еще за «олигархи» такие и откуда они вдруг на Россию свалились? Листаем словари. «Кучка людей, осуществляющих свое господство путем насилия, террора и подкупа...» Что ж, тут

тоже все слова, вроде бы, хорошо знакомые, но дальше — примеры: «аристократическая олигархия», «Венецианская олигархия 14 века», «олигархия банкиров и фабрикантов»... Тут полный абзац! При чем тут аристократы, Венеция и фабриканты? Откуда они у нас появились, а тем более господство установить успели, если даже в Венеции олигархи в 15 веке повывелись, а фабрикантов и аристократов мы еще в 17-м году вчистую в расход пустили? Даже если из опыта южной Америки исходить, то тамошние олигархи не одно поколение искусство насилия, террора и подкупа шлифовали, прежде чем господство обрели. У нас же они как бы ниоткуда возникли: не то инопланетяне их забросили, не то решением Политбюро институт олигархов создан с выделением каждому по кошельку размером в мавзолей Ленина.... И как-то так получается ведь, что именно ради их процветания мы последние пятнадцать лет на митингах бушевали, партбилеты на площадях в копны складывали, колхозы дискредитировали и ВПК разваливали. И вроде бы нам теперь олигархов яко членов Политбюро почитать и слушаться следует, раз уж мы социалистическую, нет, простите — капиталистическую демократию построить хотим; раз уж мы равенство и братство, нет, простите — святость частной собственности утвердить мечтаем; раз уж мы дружбу народов, нет, простите — право наций на самоопределение провозглашаем...

И еще прикрепленные к России инструкторы по строительству капитализма строго заказывают нам проявлять нездоровую любознательность относительно источников столь молниеносного возникновения олигархических капиталов. Олигархи ведь вполне могут оценить такое поведение как призыв к переделу собственности. А это уж, извините, святотатством попахивает, ибо частная собственность (почитайте любую книжку на эту тему) очень, очень священна! В итоге — удовлетворение пустой любознательности вполне может обернуться еще одной гражданской войной для страны, которая еще и первую до конца не расхлебала.

С переделом собственности действительно баловаться опаснее, чем дошколятам со спичками, тем не менее, избежать первородного греха любознательности мне не удастся. Таким уж уродился не в меру любознательным, да и вам, сознайтесь, все-таки, наверное, любопытно было бы хотя

бы в самых общих чертах понять, откуда у какого-нибудь мелкого клерка Гусинского вдруг появились немереные деньги для приобретения гигантского холдинга с кучей радио и телестудий, газет и прочих растлителей народной нравственности?

Или: откуда у скромного учителя физкультуры А.Быкова взялись капиталы, чтобы стать совладельцем алюминиевого гиганта, стоящего многие миллиарды долларов? И все это в то время, когда администрация президента вместе с правительством огромной совсем недавно еще богатейшей державы еле-еле наскребают денег на содержание единственной газетки? (Была вторая, но пришлось от нее отказаться из-за нехватки средств).

В конце концов, не поняв, как подобные нелепости могли возникнуть, мы не ответим на вопросы: что мы, черт возьми, все-таки построили в ходе своих перестроек, ускорений и демократизаций? Действительно ли большевики ушли от власти в России? А если это не так, то стоило ли разваливать наш «единый и могучий», отдавая своих проживавших в союзных республиках сограждан под власть тоже неожиданно появившихся откуда-то национальных сатрапов?..

Насчет «единого и могучего» поговорим как-нибудь в другой раз, а вот ушла ли большевистская хунта от власти — этот вопрос к нашей теме имеет самое прямое отношение. Только, ради Бога, не трактуйте слово «власть» в духе новомодного пустословия, дескать, есть власть законодательная, судебная, исполнительная и т.д. Большевики никогда формалистами не были. И ритуальная сторона оформления своей железной воли их не лимитировала. Если власть можно делить на сусеки и соблюдать при этом хитро придуманные «правила игры», то вам показывают не саму власть, а лишь ее декорацию или фасад, оформляющиеся для прохожих. Есть необходимость втирать очки обывателям — подбрось на политический фасад всяких рюшечек и завитушечек. Отпала в этом нужда — отменяй без сожалений все эти игры в советы-комитеты и всякую там муру про отечески заботливое Политбюро! Хватайся за основное звено, за то, что действительно обеспечивает реальную власть в новых условиях! Вам что, надо объяснять, в чем оно может и будет состоять, если фасад — капиталистический, а рюшечки — демократические? Как ни печально, но многим еще надо.

Но самые умные и хваткие еще при первых намеках на «демократизацию» сразу все поняли и ринулись кучковать-ся вокруг этого самого «основного звена». Давайте и мы оторвемся от разглядывания фасада и поинтересуемся, что происходит под прикрытием рюшечек и завитушечек.

## КАК РОССИЮ РАСКОММУНИЗДИЛИ

Советский Союз, безусловно, был нехорошей империей — частную собственность не уважал, демократию толковал превратно, писателей душил цензурой, диссидентов рассортировал между Сибирью и заграницей, к тому же еще и оружием часто бряцал.... Но бедным он никогда не был. От золотого запаса обручи на сундуках под Кремлем лопались, стройки великие в регионах одна за другой разворачивались, коммунистическое и антиколониальное движения в самых дальних уголках мира финансировались, экономика стран СЭВа щедро подпитывалась, армия гигантская самым современным оружием обеспечивалась, оборонная промышленность все, что просила, тотчас получала, наука бед не знала, искусство и литература весьма нехудо подкармливались...

Не так и не туда расходовались государством гигантские средства, а часто — просто во вред народу? Допустим. Но нам важно сейчас другое подчеркнуть: было что расходовать! В таких размерах было, что в миг исчезнуть ну никак не могло. И когда сегодня слышишь, что два молодых моржа вот-вот умрут в муках в московском зоопарке потому, что даже на транспорт и лекарства (саму операцию по удалению больных клыков норвежские ветеринары готовы произвести бесплатно!) в казне нет денег, то становишься в тупик, не зная — смеяться или плакать по такому случаю.

Экономист Н.Шмелев попробовал следовать заветам старейшей науки, т.е. «не плакать, не смеяться, а понимать», но и у него с пониманием не очень получилось: «За годы реформ Россия избавилась от ежегодных субсидий и других льгот бывшим советским республикам — порядка 50 млрд. долларов, от содержания наших клиентов в СЭВ и в «третьем мире» — еще порядка 25 млрд. долларов в год, расходы на оборону за это время сократились в 3-4 раза, средняя заработная плата работающих снизилась в 2 раза, пенсии — в 3 раза, налоговое бремя на предприятия, на экономику

в целом возросло примерно в 2 раза — и куда все это ушло?» («Российские вести», 25.12.97).

Думается, ответ на этот вопрос позволил бы не просто разобраться в направлении финансовых потоков, но и в сущности социального строя, возникшего в России в ходе реформ, и во многом, многом другом. Полного ответа конечно и Интерпол не смог бы дать, бросив все свои силы на разрешение безусловно самой трудной «загадки века», но некоторые штрихи можно было бы обозначить и без многолетних академических исследований.

Одно из первых массированных ограблений страны и населения произошло в конце 80-х, когда наряду с государственным сектором, который продавал продукцию по низким фиксированным ценам, были разрешены еще и кооперативы, устанавливавшие свободные цены. И эта система двойного рынка превратилась в гигантский насос, перекачивавший ресурсы из государственного сектора экономики в частный. В государственном все получалось, естественно, не «за так», но оформлялось по смехотворным фиксированным ценам, а в кооперативном реализовывалось — по фантастическим! В государственном для населения все, как вы понимаете, стало жестко дефицитным (что и дало моральное основание объявить позже «шоковую терапию»). «Навар» от указанной перекачки денег и ресурсов из сектора в сектор был астрономический, но экономика, которая до этого худо-бедно, но все-таки функционировала, начала стремительно разваливаться, что дало окончательное моральное право объявлять шоковые реформы, как нечто срочное и неизбежное.

При всем при том, к моменту начала шокового «оздоровления» нашей экономики на сберкнижках у населения (по данным В.Селюнина) все-таки сохранялось еще от 350 до 500 млрд. рублей. Деньги эти были конфискованы правительством Гайдара подчистую. Хватит все беды валить на несчастного реформатора? А относительно сбережений... Так их просто не осталось в подвалах Сбербанка к 1992 г.! Именно так продолжают объяснять нам неотвратимость того государственного разбоя и невозможность найти виновных.

«А что Гайдар? Он, придя на хозяйство, заглянул в казенную кубышку, а там пусто! Ему бы взять да соврать что-нибудь утешительное народу, мобилизовав весь свой опыт

работы в журнале «Коммунист», а он возьми да и скажи: «Ребята, в кубышке пусто!» Для всех нас Гайдар действительно предстал гонцом, принесшим худую весть. В старину таких гонцов вешали. Или головы им рубили, чтобы гадостей не орали. У нас предпочли третий вариант: «Ах, ты говоришь, там пусто? Да сам же, небось, и скоммуниздил! После чего, правда, устроили гонцу и гражданскую казнь тоже... Эх, наказать бы настоящих воров, что ли...» (Б.Уткин, «Бабок жалко» — «Огонек», 25.09.00).

Иными словами, в садах у ушедших служить в доблестную Красную Армию «яблони обтрясли и грушу сломали» хулиганы из шайки нехорошего Мишки Квакина, а Гайдар и его команда шныряла ночью по кустам только для того, чтобы убедиться, что яблони обтрясли вчистую и честно проинформировать на этот счет расстроенных старичков и старушек. Но те не поняли смысла благородной игры и решили: сама эта команда их яблочки и скоммуниздила!

Такова извечная трагедия всех умных, честных и хорошо воспитанных — изо всех сил пекутся они о людях, а те все время в дурном их подозревают, даже побить норовят! Но вернемся к трудовым вкладам и казенной кубышке. Допустим, государство действительно обанкротилось. Что надо делать в такой ситуации? «Честно» развести руками и все? Однако в мире давно выработана другая практика. Имущество банкрота продается с молотка и вырученную сумму делят между кредиторами. У российского государства описывать было что! Только по ваучерам выделялось имущество на 1 триллион 500 миллиардов рублей. И это была лишь небольшая часть того, что все равно подлежало обязательному, вроде бы, разгосударствлению по общему замыслу реформ. Почему бы из этих фондов не компенсировать долги вкладчикам? А земли государство имело столько, что названную сумму можно было в сотни раз перекрыть. «Что вы! Как можно? — отвечает Уткин — деньги советская власть вкладывала в одни только танковые и ракетные заводы, а ими долги не компенсируешь. Земельными участками, конечно, и можно бы было, но...» Оказалось, что львиная доля всех вкладов принадлежала лишь десяти процентам населения, и обойти в дележе оставшиеся 90% было бы явно несправедливо! Ограбить до нитки десятую часть населения для того, чтобы остальные 90% смогли злорадно

потереть руки?! Приходится пи удивляться, что справедливость тут толкуется в духе революционеров из «Собачьего сердца»: «Отобратить все и поделить!» Кончилось все, разумеется, тем же: отобрать-то отобрали, а поделить — забыли.

Те многие миллиарды долларов, которые, по словам Н.Шмелева, должны были остаться у государства в итоге резкого сокращения ее «имперских» расходов и усиления эксплуатации, исчезли куда-то безвозвратно. Взятые в долг у населения чуть ли не 500 млрд. рублей — тоже. Недвижимость, якобы переданная в собственность населению, стоимостью в один триллион пятьсот миллиардов рублей — тоже...

Неизбежные «накладные расходы» при полном сломе общественного строя? В конце 1999 г. фигурировала цифра: из России за годы ельцинских реформ на западные счета утекло минимум 360 млрд. долларов. Из каких ручейков образовался этот финансовый «Гольфстрим»? Не из тех ли (в частности) «утекших в песок» миллиардов, что фигурировали выше? Недвижимость, естественно, за кордон не утекала, она лишь переходила в частные руки просто так — за фу-фу, не компенсируя ничем эту утрату у государства, а достаточно часто и у общества (рачительным использованием этой собственности, увеличением рабочих мест, освоением новых технологий, повышением качества продукции, снижением ее себестоимости — всем тем, чем могла окупиться дармовая раздача «общенародной собственности» в частные руки). Происходило простое разрушительное расхляпывание общего достояния в особо крупных размерах и почти ничего сверх того! А мы ломаем голову, откуда у Гусинского его миллиарды? На какие шиши «трудящийся Востока» Лев Черный обрел компанию, контролирующую производство и сбыт трех четвертей российского алюминия?..

Получается, что все-таки именно Гайдар и его команда учинили такие «реформы», что в мгновение ока наплодилась целая куча олигархов? Не смешите. Не по плечу юным тимуровцам подобные масштабы ограбления гигантской страны. За ними просматриваются силы весьма взрослые — планетарных и эпохальных масштабов. Да и началось раскассирование экономики отнюдь не в момент назначения Гайдара на должность. Вот только две цитатки для разминки мозгов, разучившихся, похоже, думать в результате интенсивной обработки их всеми видами «свободной прессы»:

«Из СССР в последние месяцы его существования на Запад было переведено 26 миллиардов долларов. Кроме того, значительная часть его золотого запаса переправлена в Швейцарию, Канаду и Лихтенштейн, где упрятана в надежных местах» («Известия», 1.06.92).

«Консервативные коммунисты в руководстве КГБ в 1989-92 гг. активно содействовали падению курса рубля, помогая международной финансовой мафии устанавливать контакты с ответственными российскими чиновниками... Десятки миллиардов рублей были проданы на Западе за половину тогдашней стоимости» («Известия», 19.03.94)...

А теперь сопоставьте с тем, что мы перечисляли выше. Чувствуете, какова преемственность поколений и единство почерка? И до Гайдара, и при Гайдаре, и после Гайдара.... — На чем базируется подобная гармония? На проверенных десятилетиями в бесчисленных испытаниях большевистской номенклатурной солидарности, стоящей в свою очередь на прочном фундаменте общих (Маркс сказал бы — классовых, а мы скажем мягче — клановых) шкурных интересов. А насчет тимуровского «либерализма»... Что ж, когда партия говорит «надо!» (надо захватывать собственность и отречься от коммунистических лозунгов), комсомол отвечает: «Будьте благонадежны! Соорудим демократизацию по классу «люкс!» И соорудили. В союзе со старшими товарищами, конечно, и под их отеческим присмотром.

Как смею я подверстывать к советской хунте наших чистых, как горный хрусталь, идейных, как Павлик Морозов, бескорыстных, как Красная Шапочка, первореформаторов? А вы прикиньте хотя бы только на базе вышеперечисленных сюжетов, чем они так уж сильно отличаются друг от друга? Не по публичным лозунгам, не по маркам автомобилей, не по формам стрижки шерсти на голове, но по масштабам и беззастенчивости разграбления страны и народа? А ведь, если бы Руцкой принес свои знаменитые чемоданы, все можно было под завязку наполнить цифрами и фактами, иллюстрирующими это утверждение.

Помните объявления в газетах типа: «Обналичим любые (!) суммы под 25% т. 422-68-38» («Известия», 3.09.92)? «Безналичные деньги» до начала реформ деньгами не считались и не были, фактически, будучи не больше чем статистической формой ведомственного учета и выражаясь в

поистине астрономических числах. «Обналичивать» их было государственным преступлением, способным развалить экономику. А тут... «в любых суммах»! И ведь обналичивали, превращая чернильные пятнышки в миллионы и миллиарды «живых», натуральных. Не отсюда ли и фантастический размах инфляции — в тысячи процентов (за первые два года реформ цены выросли в среднем в 5 тысяч раз, а на тепло и электроэнергию — даже в 11 тысяч раз!). Поучительно, что и объявления про «обналичку» печатали без опасения сесть в тюрьму. Не потому ли, что процесс шел под непробиваемой правительственной «крышей»?

Мало того, при инфляции в тысячи процентов долги частных лиц государству в ходе шоковых лет оплачивались по... номиналу, без всякой индексации! Я буквально оторопел, узнав об этом. Случайно, от человека, поразившегося, что ему почему-то практически списали его долг. Думается, эту маленькую, техническую деталь скрывали от общественного мнения пуце атомных секретов. Ведь, разумеется, были люди, заранее осведомленные о предстоящем щедром «списании» долгов. Конечно, это были такие люди, которые обладали возможностью незадолго до начала реформы брать кредиты в любых размерах и, разумеется, взяв кредит, они не прятали «деревянные» в чулок, но тотчас обращали их в доллары. Кстати... помните, сколько стоил доллар в те времена? Меньше рубля поначалу. Так миллиарды пустых цифр превращались в миллиарды реальных долларов. А вы спрашиваете: откуда же на нас свалились какие-то «олигархи»? (Пикантная деталь — внесенную гражданами вперед полную плату, допустим, за квартиру, электричество, закупленные впрок почтовые марки, оплаченные вперед подписные издания и т.д. государство не забывало многократно проиндексировать в соответствии с реальным уровнем инфляции, но это, разумеется, такие «мелочи», что о них в кругу джентльменов и говорить неприлично!).

Не утомило ли вас удручающее однообразие фактов? Тогда продолжу. Имя Лени Голубкова не забыли? И названия всяких «Горных Алтаев» и «Русских домов Селенга»? В одной Москве пыльцу с лохов в 1993-95 гг. «собирали около двух тысяч фирм (не считая 800 банков, большая часть которых тоже «лопнула»). Пострадало около 30 миллионов человек, а «экспроприровано» у них было порядка

3 триллионов рублей (в ценах 1994 года)» («КП», 29.12.00). Ах, в этих случаях не государство грабили, а наивных простаков. Но у нас речь не о том, кого грабить нельзя, а кому так и надо. Мы ведь просто пробуем прикинуть вчерне, откуда какие-то «олигархи» на нашу голову свалились? К тому же, вообще-то говоря, государство своих подданных, даже если они наивные лопухи, должно учить, а не проучать. У нас же оно словно в негласном сговоре с мавродиями этими состояло и на паях карманы лохов обчищало. Опыта по пути набираясь. И набралось. Достаточно вспомнить, как Минфин выпускал свои ГКО и другие ценные бумаги под баснословные проценты, хотя не мог не знать, чем это неизбежно должно завершиться.

Все от того кошмарного дефолта пострадали? Тогда как понять фиксацию появления «новых олигархов» именно после июля 1998 г.? Не к ним ли перекочевали (не все, конечно) деньги обанкротившихся банков, потерявших сбережения вкладчиков, разорившихся импортеров? А в чей карман перетекают каждый месяц половины наших зарплат и пенсий, которые с дефолтом, как известно, «упали» и все еще не «отжались»? Тайна сия велика есть, но вряд ли случайно в газетах олигархов из номера в номер выражают восторги по поводу того, как здорово обесценивание рубля в пять раз «оздоровило нашу экономику», помогло отечественному производителю, и как печально, что положительное влияние девальвации начинает иссякать. Право слово, наши экономисты готовы сказать новое слово в теории. Оказывается, катастрофическое снижение покупательной способности населения — бальзам для экономики! То, что нищие перестают покупать импорт — это очевидно. Но на что они будут покупать доморощенные товары — это всем загогулинам загогулина!

Причем тут, однако, гайдаровцы и прочие наши горвардские мальчики, спросите вы?.. Что они могли сделать, если старая советская номенклатура по всей стране, снизу доверху осталась сидеть в своих креслах? Не удалось просто мальчикам одолеть матерых дельцов, пробиться сквозь бетон системы со своими слабыми ростками честных идеалов и т.д. и т.п.! А вы прикиньте на глазок, сколько реформаторов этой поры вдруг в олигархах оказались? Они что? Тоже, как Березовский, на сэкономленных завтраках миллиарды



накопили? Долларов, разумеется. И вообще бойких мальчиков (особенно из числа комсомольских деятелей) впечатляющее количество обнаружилось.

Детями демократических реформ значатся, коммунизм клеймят, и дореволюционную Россию тоже — как «тюрьму народов», западные свободы очень уважают, но... Не стоит обольщаться на счет их европейскости. Они — плоть от плоти нашей славной старой большевистской гвардии. И возвысившись до буржуинов, они демонстрируют это генетическое и духовное родство и образом жизни, и формами клановой спаянности. Не даром у Б.Гордона недавно вырвалось из глубин души: «Ну и чем же нынешняя корпоративная культура отличается от тогдашних обкомовских штучек?!. У меня ощущение, что из-под глянцевого обертки нашей экономики вот-вот вылезет знакомое до боли мурло хамящего советского продавца...» («Огонек», №49,00).

И чему тут удивляться? Яблоко от яблони недалеко падает, да и откатываться не торопится. Советская (чуть сменившая лексику) и новая (набравшаяся лексики из русско-английских разговорников) номенклатура все это десятилетие шли бок о бок, локоть к локтю в едином строю, делая одно общее дело, т.е. додавая государство и обирая до исподнего лохов-россиян. Во имя великой цели — построить свободное (от законности), изобильное (для себя, жены и тещи), слившееся со всем цивилизованным миром (через Канары и Лазурные берега) Олигархическое общество. Почти удалось. Как и почему все-таки пока не до конца — об этом стоит поговорить отдельно.



Анна ГЕРТ

## НЕСТЯЖАТЕЛИ

Рыночная экономика и российский менталитет

Нет особых стран. С точки зрения экономиста — это наука со своими законами. Все страны в плане стабилизации о-ди-на-ко-вы...

П.АВЕН, министр-реформатор\*

Для среднего россиянина идея социальной справедливости выше идеи демократии. Идеи богатства, социального неравенства воспринимаются без восторга. Любая партия обречет себя на поражение, если станет игнорировать умонастроение народа.

А.КИВА, политолог\*\*

Несмотря на успехи, достигнутые российской экономикой в первой половине двухтысячного года, провал российских властей очевиден.

Причиной неудачи нового социального эксперимента были не только номенклатурная приватизация, разрыв хозяйственных связей, вызванный развалом СССР, «шоковая терапия» и прочие меры, разрушившие до основания и без того

\*«Независимая газета». 27 февраля 1992 г.

\*\*«Российская газета», 2 сентября 1995 г.

дышавшую на ладан экономику. Не менее важным стало и то, что реформаторы образца 1992 года нисколько не считались с душевным настроем народа, его национальными традициями и системой нравственных ценностей. Полагая, что новая обстановка заставит россиян отрешиться от привычных стереотипов, они действовали по принципу «стерпится — слюбится». Власти не задумывались над тем, что капиталистические отношения, господствующие на Западе, имели здесь исторически благоприятную почву и что нельзя ожидать успеха от экономических преобразований, если они не соответствуют менталитету большинства населения.

Выдающийся немецкий экономист В.Зомбарт считал, что развитие капитализма стало возможным только в связи с появлением особого «душевного настроения», присущего пуританской Англии, народам Западной Европы и Северной Америки. Главным компонентом такого рода «душевного настроения» является «стремление к стяжанию», т.е. стремление увеличивать размеры денежного имущества посредством хозяйственной деятельности. Это стремление к стяжанию побуждает к а) безграничному, б) безусловному, в) ни с чем не считающемуся развитию энергии». Стремление к «стяжанию», по мысли В.Зомбарта «свойственно, например, всем американцам, начиная, с магнатов, распоряжающихся трестами, и вплоть до последнего мальчишки на побегушках».\*

Вряд ли стоит доказывать, что подобное «душевное настроение» для большинства российских граждан и сейчас не характерно. А потребность в «стяжании» (или лучше сказать стяжательстве) по-прежнему противоречит их нравственным критериям. Не только для людей преклонного возраста, но и для значительной части молодежи (из числа тех, кого в конце восьмидесятых — начале девяностых ВЛКСМ не ангажировал на роль будущих бизнесменов) до сих пор не ясно, откуда взялись все эти новоиспеченные олигархи, банкиры, владельцы шикарных ресторанов и отелей. Отношение к ним, к их шкале моральных ценностей со стороны наделенных чувством юмора и не обремененных богатством сограждан очень точно выразил известный драматург Александр Володин:

**Как будто мы жители разных планет —  
На вашей планете я не проживаю.  
Я вас уважаю, я вас уважаю,  
Но я на другой проживаю... Привет!**

\*В.Зомбарт, «Современный капитализм», т.3, стр.24, 29, Москва, Госиздат, 1929 г.

Вероятно, бывших советских людей можно упрекнуть в недостатке предприимчивости. Некоторых из них можно заподозрить, как писал Э.Фромм, в желании «бегства от свободы», т.е. в том, что будь на то их воля, они с радостью отрешились бы от нынешней «демократии», предпочитая оставаться винтиками в механизме тоталитарного государства. Однако нельзя не считаться с тем, что прошлые десятилетия оставили глубокий след в формировании психологии среднего россиянина.

## ПРОВАЛ СТОЛЫПИНСКОЙ РЕФОРМЫ

Нельзя не считаться и с тем, что и до 1917 года нравственные приоритеты в России существенно отличались от западных. Крестьянство, составлявшее в начале XX века около восьмидесяти процентов населения, все еще придерживалось общинной психологии, плохо усваивая капиталистические принципы, свойственные фермерам Европы и Америки. Пренебрежение этими особенностями крестьянского мироощущения обрекли на неудачу земельную реформу Столыпина. Хотя она и способствовала промышленному подъему, начавшемуся в 1909 году, но не смогла решить коренных экономических, политических и социальных проблем, стоявших перед государством. Напротив, именно эта реформа, как ни парадоксально, заложила основы для развития революционной ситуации в будущем.

В отличие от первоначального проекта, разработанного С.Витте и предусматривавшего передачу крестьянам значительной части помещичьей земли, столыпинская реформа, проводимая после подавления революции 1905 года, требовала разрушения крестьянской общины, оставив неприкосновенной дворянскую собственность. Такое решение в глазах современников казалось достаточно обоснованным, поскольку помещичьи хозяйства были более производительными, обеспечивали страну хлебом и поставляли его на экспорт. Что же до общинной формы землепользования, которую всячески превозносили славянофилы и народники, то она базировалась на архаичных принципах ведения хозяйства, препятствуя внедрению прогрессивной технологии. Крестьяне зачастую не могли обеспечить даже собственных нужд влачили полуголодное существование. К тому же страна нужда-

лась в увеличении производства зерна не только для экспорта, но и для снабжения городских жителей, число которых неуклонно возрастало.

Подобно теперешним реформаторам, Столыпин пытался направить развитие России по западному образцу. Важнейшей целью его проекта было создание среднего класса из числа зажиточных крестьян, в будущем они должны были превратиться в фермеров и стать надежной опорой для царя и отечества. Хотя часть хуторских хозяйств планировалось основать в восточных районах путем переселения на отруба, суть замысла Столыпина состояла в передаче общинных наделов, используемых «нерадивыми крестьянами» (т.е. бедняками) состоятельным хозяевам. Сама эта идея противоречила сложившейся в России традиции распределения земли «по справедливости», исходя из количества членов семьи мужского пола, и вызвала бурю недовольства в деревне. Однако главное заключалось в том, что «справные хозяева», на которых делал ставку Столыпин, являлись плотью от плоти российской деревни, им тоже не было присуще «неудержимое стремление к стяжанию», что непосредственно сказывалось на результатах их деятельности.

## КРЕСТЬЯНЕ ИЛИ ФЕРМЕРЫ?

Блестящий русский экономист А.Чаянов обратил внимание на различие между фермерским и крестьянским хозяйствами. Для фермера прибыль является доминантой экономической деятельности и диктует постоянный рост трудовой активности. Для крестьянина же дополнительные затраты труда определяются только потребностью самой семьи в дополнительных средствах. «Работник развивает свою продукцию, — пишет А.Чаянов. — в строгом соответствии с нарастающим числом едоков, и объем хозяйства семьи зависит всецело от числа едоков, а не от числа работников»\*.

Поскольку потребности даже относительно зажиточных крестьян оставались на крайне низком уровне, а достаток большинства из них был весьма скромным, хозяйства их не соответствовали фермерской модели. Столыпинская реформа вызвала поляризацию и дальнейшее обнищание крестьянства. Однако капиталистические отношения в русской де-

ревне в то время так и не сложились. В соответствии со своей ментальностью, безудержной погоне за прибылью русский крестьянин предпочитал иные ценности, прежде всего — «жить и не тужить», располагать свободным временем и хотя бы относительной независимостью.

## КТО ПОМОГ БОЛЬШЕВИКАМ

### ИЛИ ЧЕМУ УЧИТ ОПЫТ СТОЛЫПИНА?

Перед Первой мировой войной лишь четвертая часть крестьян вышла из общины и вела хозяйство самостоятельно. Многие из них разорились во время войны, пополнив количество сельской бедноты, или уходили на заработки в город, где в связи с обнищанием крестьянства появился значительный слой люмпенов. В условиях военного времени, когда все общественные противоречия были обострены до предела, эти два слоя — беднейшее крестьянство и городской, в большой мере люмпенизированный пролетариат — дали возможность столь малой по численности партии большевиков не только захватить власть в октябре 1917 года, но и выиграть гражданскую войну.

Опыт Столыпина и сегодня может служить поучительным примером для тех, кто, определяя судьбу державы, мало интересуется менталитетом ее граждан. В октябре 1917-го большинство населения сделало свой выбор. Позиция большевиков по земельному вопросу, не имевшему решения на протяжении многих веков, совпала с позицией крестьянства, чье понятие о справедливости складывалось с незапамятных времен, восходя к представлениям протопопы Аввакума, к мечтам о Беловодии, к устремлениям восставших под руководством Разина и Пугачева. Несмотря на то, что все эти идеи были утопичны и режим, возникший в результате революции, не только не соответствовал мифической картине социального благоденствия, но и в связи с продрозверсткой вызвал волну крестьянских мятежей, новая власть пользовалась широкой поддержкой деревенской бедноты. Не желая возврата старых порядков, шесть миллионов крестьян сражались на стороне Красной Армии, что и определило исход гражданской войны.

Начавшийся затем процесс восстановления народного хозяйства на основе НЭПа происходил быстрыми темпами,

\* А.Чаянов, Избранные труды, Москва, 1993, стр. 64.

хотя частнособственнические формы охватили в основном сельское хозяйство и торговлю, а доля частной промышленности в валовой продукции всей промышленности была незначительной. В 1925 году она составляла 3,8%.

Расширение товарно-денежных отношений и поворот к индивидуальным методам ведения хозяйства в то время, психологически не отвечал настроениям значительной части общества, что нашло отражение в литературе. Например, в романе Л.Леонова «Вор» или в поэме С.Есенина «Страна негодяев», где поэт писал;

**Да, Рассветов! Но все же, однако,  
Ведь и золота мы хотим!  
И у нас биржевая клоака  
Расстиляет свой едкий дым.  
Никому ведь не встанет в новинки,  
Что в кремлевские буфера  
Уцепились когтями с Ильинки  
Маклера, маклера, маклера...**

И все же новая экономическая модель не ломала вековых крестьянских традиций, создавая благоприятные условия для функционирования различных форм собственности, с учетом середняков и кулаков. В это время наметилась четкая тенденция роста многих показателей не только промышленного, но и сельскохозяйственного производства. В 1928 году валовой сбор зерна был почти таким же, как в довоенном 1913-м, что говорит об огромных потенциальных возможностях мелких крестьянских хозяйств. Несмотря на потери, вызванные Первой мировой и гражданской войнами, мужики, ставшие собственниками, оказались способными вырастить такой же урожай, какой был в дореволюционной России, располагавшей технически и экономически развитыми хозяйствами.

## **ЧЕГО, КАК ОГНЯ, БОЯЛСЯ СТАЛИН!**

Однако в 1928 году сельские труженики продемонстрировали не только умение активно и упорно работать. Вырастив богатый урожай, они в то же время, отказались продавать хлеб по государственным ценам, которые устанавливались ниже себестоимости на продукцию аграрной отрасли при значительном завышении цен на промышленные това-

ры. Очевидно, сочетание этих двух начал — способности к продуктивному труду с хозяйственной инициативой и стремление получить за свой труд достойную оплату — ознаменовало поворот крестьянской психологии в сторону фермерской. Но именно становления индивидуального, кулацкого, то бишь фермерского сознания Сталин боялся больше всего, поскольку оно рассматривалось как главная угроза как для построения социализма, так и для самой власти.

В самом деле, такая опасность была вполне реальной, тогда еще были миллионы «носителей частнособственнической психологии», которые умели работать в условиях рынка. Поэтому, как писал Андрей Сахаров, «можно предполагать, что именно НЭП мог явиться базисом плюралистического развития нашего общества».

Обстановка того периода открывала перед страной альтернативные варианты. Во время НЭПа появилась реальная база для возникновения крепких крестьянских хозяйств и создания среднего класса, который был предметом утопических мечтаний Столыпина и составляет основу стабильности всякого государства. Но, как известно, развитие рыночных отношений противоречило партийной догме, поэтому важнейшей причиной коллективизации было стремление убрать с «дороги, ведущей к храму», т.е. в понятиях партийной элиты — к коммунизму, частного товаропроизводителя, уничтожить кулачество как класс, а заодно ликвидировать и середняка. Кстати, по переписи 1927 года середняцкие хозяйства составляли более 70% обследованных хозяйств и владели 79% средств производства.

## **ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ**

Вряд ли стоит говорить, что колхозы так и не решили экономических проблем по обеспечению горожан сельскохозяйственной продукцией, зато коллективизация, стоившая жизни миллионам, надолго задушила хозяйственную инициативу и предпринимательские способности у большей части населения.

В тоталитарном государстве вообще не принято было упоминать о побудительных мотивах, рождающих интерес или волю к труду, составляющих основу существования, любого общества. И уж совсем неприлично было утверждать, что именно стремлением к «стяжанию» человечество на протя-

жениии своей истории обязано многими изобретениями и открытиями — в области географии, науки и техники. Объективности ради следует сказать, что жажда наживы и сейчас является мощным двигателем технического и научного прогресса. За незнание или неприятие столь очевидных истин приходится расплачиваться дорогой ценой. Советская, интеллигенция брежневского и постбрежневского разлива, воспитанная на полном пренебрежении к «торгашеству», борясь за демократические идеалы и права человека, упустила из вида, что альтернативой, тоталитарному режиму является рынок, в жестких условиях которого далеко не всегда соблюдаются, такие первостепенные человеческие права, как право на работу, жилье, медицину, образование и т.д. Выходит, за что боролись, на то и напоролись...

## ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ РОССИИ

Кстати, «новая политическая элита», усвоив стиль и демагогические приемы своих коммунистических предшественников, так и не удосужилась разработать законы, защищающие права личности от разнообразных форм произвола, рожденных постсоветским режимом и угрожающих не только свободе, но и жизни рядового россиянина. При этом один из главных «архитекторов реформ», в результате которых большинство населения оказалось обреченным на нищенское существование, Анатолий Чубайс цинично заявил: «Новой, демократической России правозащитники не нужны. Их с успехом заменили адвокаты».

«Новая демократическая Россия...» Как известно, молодежь — будущее любой нации. Сейчас в России по меньшей мере 4 миллиона беспризорных детей. Побегии из дома из-за голода, побоев и невыносимых условий существования стали массовым явлением. В Москве, по данным ЮНЕСКО, все 100 процентов обследованных школьников-старшеклассников знакомы с наркотиками. В подмосковном городе Видное 98 процентов старшеклассников систематически принимают наркотики.\*

Демографический портрет России в последние годы рисуют в виде косоого «андреевского» креста. Одна прямая (рож-

\*Александр Тарасов, «Бритоголовые», «Дружба народов», №2, 2000, стр. 138.

даемость) неуклонно падает, вторая (смертность) столь же неуклонно растет. Писатель Владимир Богомолов в интервью «Новому русскому слову» говорит, что начиная с 1992 года «прирост населения в России уменьшился в два раза! В некоторых районах смертность в семь раз превышает рождаемость, а в среднем — в 3-4 раза. Полно больных, которые не получают никакой медпомощи. Рост туберкулеза в 100 с лишним раз. За 7 лет сверхнормативная убыль — 4,5 млн. человек».\*

Сложившиеся рыночные отношения в России крайне неразвиты. В стране нет общенационального рынка рабочей силы, нет законченной системы рыночного законодательства, а главное, несмотря на наблюдающийся в последнее время рост инвестиций (в основном в нефтяную промышленность), и по сей день до 20 - 30 миллиардов долларов ежегодно «убегают» за рубеж. Так что основной элемент капитализма — рынок капиталов — пока что не велик и сильно отстает от потребностей в иностранных инвестициях. В условиях, когда большая часть населения все еще не адаптировалась к новым реалиям, угроза экспроприации или национализации собственности достаточно велика, так что инвесторам приходится уповать на массовую апатию, традиционную неспособность к организации и невероятное генетическое долготерпение русского народа.

## МОЖНО ЛИ ПОСТРОИТЬ РЫНОК?

Однако главным препятствием для инвестиционных вложений являются совсем иные свойства русской ментальности. Профессор Фордемского университета В. Квинт в своем недавнем интервью заявил: «Самым серьезным барьером на пути американских инвестиций даже в такую привлекательную сферу, как телекоммуникации, стала коррупция. По сути дела, речь идет не просто о коррупции и взяточничестве, а о рэжете. Россияне без взятки просто не дают возможности иностранцам инвестировать капитал». Это одна из причин, почему «западные капиталы, минуя Россию, уходят в Бразилию, Корею, Восточную Европу...» В то же время правящие, «элитные» слои России говорят о высокой нравственности, гражданственности, гуманности, прикрывая этим свои «по-

\*«Новое русское слово», 20 августа 1999 г.

сути, преступные деяния, замешанные на обмане, коррупции, хищениях, безмерном бесстыдстве. Только одна цифра. Цена годовой коррупции в России равняется сорока миллиардам долларов, а если говорить о взятках, то их сумма оценивается в шесть миллиардов долларов».\*

Очевидно, избежать оттока миллиардов долларов и стимулировать приток капитала возможно как с помощью законодательных ограничений, так и путем создания доверительного психологического климата, снижающего риск инвестиций.

Разумеется, понятие «капитализм» в наше время предельно абстрактно и существенно отличается в зависимости от географических условий, истории и традиций страны — американская модель не совпадает со шведской, британская — с японской, тайваньская — с аргентинской и т.д. Однако во всех перечисленных странах рыночные отношения складывались постепенно, являясь результатом длительного и непременно стихийного развития. В этом смысле сама постановка вопроса о «создании» или «строительстве» рыночной экономики достаточно абсурдна. Не вызывает сомнения, что в основе политики Гайдара и его соратников, лежали все те же революционно-коммунистические методы преобразования экономики и общества в целом. Разница лишь в том, что марксистский лозунг «экспроприации» они сменили на «приватизацию».

## ЛИЦЕМЕРИЕ

Если бы наши демократы не плутовали, не жульничали, а честно объявили о стремлении вернуть страну «в капитализм», они бы не встретили всенародной поддержки. Но в том-то и дело, что тогда и речи не было о переходе к новому режиму. Вместо этого в 1990-1991 годах говорили и писали о «демократическом социализме», о «присоединении России к сообществу цивилизованных рыночных государств», об «открытом обществе», о «свободном рынке». Мнения народного никто не спрашивал. Главнейший принцип демократии — ответственность перед народом — был заменен принципом полнейшей безответственности.

«Анализ реально складывающейся ситуации показывает, что в российской экономике и политике возобладали осо-

\*Жан Тощенко, «Элита: кланы, касты или клики?», «Дружба народов», №7, 2000, стр. 149.

быв группы правящего слоя, которые добиваются осуществления: групповых, корыстных, а нередко и низменных целей, не имеющих никакого отношения к интересам общества. Более того, члены этих сообществ не так уж редко смыкаются с группировками, реализующими антиобщественные и даже преступные цели».\* Между тем сама ментальность народа, его подавляющего большинства противоречит тому, что несет с собой капитализм, да еще в той дикой, варварской форме, в которой он воцарился в России.

Всячески декларируя необходимость либерализации экономики и переустройства общества в соответствии с западными образцами, идеологи нового направления замалчивают факт, что в настоящее время во всех экономически развитых странах государство осуществляет разумную политику хозяйственного и социального регулирования через систему налогов, сеть кредитов, таможенных тарифов и проч.

А вот Россия опять уже в который раз продемонстрировала миру свою «особенную статью». Здесь не церемонились. Людей, которых отучали от общественной и трудовой инициативы в течение десятилетий, внезапно «бросили в рынок». Такого рода процесс характерен не только для городов, но и для села. Известный публицист и прозаик Борис Екимов пишет в одном из своих последних очерков, исследуя обстановку, сложившуюся в его родной Волгоградской области: там на 12800 фермеров «по пальцам перечесть» настоящих хозяев, которые работают эффективно. «Колхозника, привыкшего лишь выполнять указания, словно человека, не умеющего плавать, столкнули с борта «корабля социализма» в океан мировой экономики. Дескать, акулы капитализма не тонут, значит, и ты спасешься. Метод, конечно, зверский. Результат — налицо: барахтаются и тонут». А в итоге в области в 1999 году объем валовой продукции сельского хозяйства за минувшие десять лет, как и по всей стране, снизился вдвое. Но ментальность крестьянина, созданная годами колхозной жизни, осталась прежней. «Как ни горько признавать: на земле теперь работает не хозяин, — говорит Борис Екимов. — Хозяина мы вывели. Это был путь долгий и с кровью». (Подразумевается, по видимому, «сталинская коллективизация» - А.Г.)

Но дело не только в этом. «Досыта накормленный реформами и преобразованиями последних десяти лет, от кото-

\*Жан Тощенко, там же, стр. 148.

рых, кроме разорения, он ничего не увидел, крестьянин ко всяким очередным новациям относится с подозрительностью, боясь потерять последнюю соломинку, за которую еще держится. Наученные горьким опытом, крестьяне всюду видят обман. Только слепой да глухой не знает, кто и как разворачивает наше государство».\* Сельское начальство обогащается, корпорации, постоянно сменяющие вывески и скупающие сельхозпродукты по дешевым ценам, неуклонно жиреют. Зато работники известного в области совхоза годами не получают зарплаты, а управляющий строит для себя два огромных дома, имеет три машины...

Экономические аферы и правовой беспредел, тяготеющий над бизнесом, крайняя беспринципность правящего бюрократического аппарата, пополняющего недостаток собственных средств за счет государственных, ставит под сомнение любые нравственные установки, отравляя сознание общества и создавая основу для его криминализации.

России жизненно необходимо не только правовое государство, здесь в высшей степени необходима элементарная порядочность и ответственность верхов в принимаемых решениях. Лишь такие стандарты поведения смогут завоевать доверие народа.

Теперь очевидно, что западный индивидуализм в России не уживается, как и во времена Столыпина, с ментальностью общинности и коллективизма. Нельзя строить «величественное здание капитализма», не имея самого главного материала для его построения — человека.

## НАСТУПИТ ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ?

В настоящее время перед страной стоит огромная проблема экономического возрождения, которая может быть решена, если во главе государства будет находиться, исходя из ее авторитарно-державных традиций, достаточно сильный и компетентный правитель, способный определить траекторию ее исторического развития. Путин, на которого сейчас возложена эта миссия и который постепенно расширяет свою власть внутри рыхлой и мякотелой демократии, прекрасно понимает, что достигнуть новой ступени поступательного развития, российское общество сможет только при условии

его единения. Поэтому в современной обстановке крайней поляризации и разобщенности отдельных социальных групп, партий и индивидов, он решил приковать внимание граждан к государственной символике страны — гербу, флагу и гимну. Поскольку в российской системе ценностей державное начало всегда занимало центральное место, Путин только направил сознание людей в привычное русло.

На самом деле в данном случае вовсе не требуется ни этической разборчивости, ни компромиссов, потому что окончательные выводы, как и в не очень далеком прошлом, целиком определяются авторитарной позицией самого президента. А по его мнению символами государственной политики России в XXI веке должен стать двуглавый орел, устремляющий жадный и беспощадный взгляд на Запад и Восток, в сочетании с трехцветным знаменем империи и гимном с пока еще неизвестными словами, но с вполне знакомой музыкой, заставляющей вспомнить сталинские времена...

Как считает замечательный российский писатель Фазиль Искандер, «за обезумевшей в своем хамстве нашей демократией, застенчиво опустив глаза, маячит диктатура». И все же войдет ли Россия в систему современных демократических государств или в ней снова возобладает тоталитаризм — этот вопрос остается пока открытым...

\* Борис Екимов, «Десять лет спустя», «Новый мир» №1, 2000, стр. 120, 123.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## АМЕРИКАНСКИЙ ОПТИМИЗМ И ВАШИНГТОНСКИЕ БУНТОВЩИКИ

*Вокруг одного симпозиума*

### РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕССИМИЗМА

Недавно Барбара Хелд выпустила книжку, название которой звучит не менее категорично, чем ее монологи: «Хватит улыбаться, начинайте хмуриться!».

В начале августа Хелд и ее единомышленники из Американской ассоциации психологов собрались в Вашингтоне на симпозиум, проходивший под девизом «Незамеченные достоинства негативизма». Это был первый бунт против, как выразилась Хелд, «тирании позитивного мышления и засилья оптимизма».

Позитивное мышление воцарилось в американском обществе благодаря объединенным усилиям Голливуда, телевидения, популярной музыки, книг, рассказывающих, как помочь самому себе, и воскресных проповедей. Все будет хорошо! Все проблемы разрешимы! Будьте оптимистами, и успех вам обеспечен. Оптимизм — это залог успеха, достатка, несокрушимого здоровья.

И вот теперь психологи приходят к выводу, что помешательство на позитивности и оптимизме зашло слишком далеко. «Жизнь тяжела, — замечает Барбара Хелд, — чтобы ее прожить, нужно не обольщаться и трезво смотреть на вещи; в этом плюсы пессимизма. Толика пессимизма никому еще не помешала».

Джулия Норем, социальный психолог из колледжа в Уэлзли, штат Массачусетс. Норем исследует так называемый *защитный пессимизм* — стратегию поведения, когда человек старается мысленно проиграть предстоящую ситуацию, учитывая любые препятствия, с которыми он может столкнуться. Предположим, он готовится к публичному выступлению. Тогда он должен представить себе, что ему придется делать, если вдруг оборвется шнур микрофона, полетит на пол его конспект или на него нападет приступ кашля.

Доктор Норем утверждает, что защитный пессимизм по результатам ничуть не хуже *стратегического оптимизма*, заставляющего человека тщательно избегать мыслей о плохом, а в некотором отношении оказывается даже лучше.

Доктор Норем подчеркивает: оптимизм и пессимизм становятся у каждого второй натурой, коренящейся как в воспитании, так, по-видимому, и во врожденной предрасположенности.

О врожденности двух типов мировосприятия говорилось на вашингтонском симпозиуме не раз. То, что оптимизм и пессимизм связаны с типом темперамента, было известно еще Аристотелю, хотя, как потом выяснилось, связи эти не так просты, как кажется. Говорилось на симпозиуме и о том, в какой степени пессимизм и оптимизм может быть присущ той или иной культуре. В этой области исследования только начинаются, но уже доказано, например, что выходцы из Азии, живущие в Америке, более пессимистичны, чем выходцы с Кавказа.

На первый взгляд, может показаться, что пессимистический подход к вещам должен неблагоприятно сказываться на здоровье: улыбаться полезнее, чем хмуриться. Однако Джеймс Пеннебекер, профессор психологии Техасского университета в Остине, считает, что это не так. Начал он свое выступление на симпозиуме с рассказа о том, как вместе с коллегами по университету предложил добровольцам, выбранным наугад, вспомнить самые трагические события своей жизни, поразмыслить над ними несколько дней, а затем написать о них со всеми подробностями небольшие эссе. Удивительно было не то, что тягостные воспоминания не отразились отрицательно на показателях здоровья испытуемых, а то, что все они до единого почувствовали себя лучше, и это улучшение продержалось у них месяца четыре после эксперимента.

Пеннебекер рассказал и о других исследованиях, которые он проводил вместе с Дэвидом Уотсоном, психологом из



университета Айовы, тоже присутствовавшим на вашингтонском симпозиуме. Дело было еще в 1989 г. Они тогда со всей очевидностью установили, что даже люди нервные, обремененные различными заботами и несчастьями, склонные вечно сетовать на судьбу, раздражаться по каждому поводу и ожидать самого худшего, — даже они, постоянно жалующиеся на боли во всех частях тела, на слабость, головокружение и так далее, не чаще бывают у врача, чем их жизнерадостные сверстники, и уходят в лучший мир не раньше. Иными словами, даже глубокий пессимизм — не поведенческий, не защитный, не конструктивный, а именно глубокий и всеохватывающий пессимизм нисколько не вредит здоровью.

Итоги подвел Артур Бохарт, психолог из университета штата Калифорния в Домингез Хиллс. «Мы вовсе не хотим, чтобы люди погрязли в болоте пессимизма, но и не хотим, чтобы они витали в облаках, — сказал он. — Мы хотим одного: чтобы Америка немного повзрослела. Только и всего».

По материалам газет «Нью-Йорк Таймс»  
и «Новое русское слово».

## ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ ОПТИМИЗМ

Откровенно говоря, статья «Реабилитация пессимизма» по-своему захватила меня. Сам я по складу человек довольно нелюдимый и хмурый, так что однажды жена во время одной из размолвок даже в сердцах воскликнула: «Да ты, я думаю, вообще не создан для Америки!» Но в прочитанном меня захватило не столько мировосприятие американцев, сколько его, так сказать, общественный аспект. Словом, я поймал себя на желании перенести рассматриваемый выше вопрос (оптимизм или пессимизм?) на все американское общество.

В бывшем СССР с этим было куда как просто — вся наша родина была исполнена всепобеждающей веры в светлое будущее! Все до одного, трудящиеся страны советов, были объявлены оптимистами, а кто не с нами, тот против нас — нытикам, критиканам и диссидентам было с нами не по пути, их место было в ГУЛАГЕ.

Ну, а что же Америка? Раздумывая над этой мыслью, я поймал себя на явной крамоле. Всепобеждающий оптимизм на самом деле есть категория, не знающая ни географических, ни как теперь понимаю, социальных границ. И чем больше так размышляю, тем отчетливее вижу, да что там

вижу! — кожей ощущаю, каким жизнеутверждающим оптимизмом охвачены первые лица общества, те, кому мы сами вручили мандаты, чтобы владели нашими умами и душами, например, Президент и Белый дом, Конгресс, телевидение, Голливуд — институты, явно не имеющие отношения ни к социализму, ни к строительству светлого будущего. Тем не менее, именно отсюда могучие волны оптимизма распространяются по всей Америке. И что самое любопытное он, этот оптимизм, рождает мощные ответные флюиды, среди рядовых жителей страны, которые с первых дней моего пребывания в стране поразили меня своими жизнеутверждающими настроениями.

В прошлом я уже не раз писал о симпатичном нью-джерсийском городке Леония, где протекает моя американская жизнь. С первых же дней я поселился на Хайвуд Авеню, об обитателях которой я вот как писал в своей давней теперь уже книге «Театр абсурда»:

Несмотря на то, что Хайвуд Авеню мне кажется самой зеленой и самой красивой улицей в мире, ее жители имеют обыкновение появляться на ней только два раза в сутки — один раз утром, когда заводят машину и выезжают из гаража, и другой раз — вечером, когда паркуются возле своих домов.

Впрочем, этим я совсем не хочу сказать, что наши отношения прохладны. Скорей, наоборот. В те редкие мгновения, когда они меня видят, на их лицах появляется солнечная улыбка и они весело приветствуют меня: «How are you doing?» (что в переводе с английского означает, как я себя чувствую?). На моем лице загорается нечто не менее лучезарное, и я восклицаю: «Fine!» (что означает — прекрасно!). Я знаю, что у меня есть варианты: «O'key» или «Not bad», или «All right». Но мне больше всего нравится «fine» своей безапелляционной законченностью. Можно «Not bad». Но почему «Not bad»? Между нами может возникнуть диалог, что, по-моему, ни в мои, ни в их планы не входит. Один мой знакомый из Бруклина решил провести зкеперимент и на веселое восклицание соседа: «How are you doing?» ответил: «Bad, very bad!» Сосед на него посмотрел таким взглядом, будто плюнул ему в душу, и с этого дня перестал с моим знакомым здороваться.

Эти первые впечатления, надо сказать, послужили мне неплохим уроком для понимания моей новой родины. Со временем меня уже не удивляли бесконечно передаваемые по ТВ теле-шоу, героями которых были удивительно

похожие друг на друга американские президенты — Рейган, Буш, Клинтон, пытающиеся заморозить слушателей своими белозубыми, и непременно искрящимися радостью улыбками. Глаза все более привыкали к вечно грохочущей рекламе, переливающейся в бесконечные соупоперы, искрометно сверкающие всеми мыслимыми и немислимыми красками, к бесподобным в своем фарфоровом блеске голливудским небожительницам, к взметающимся в облака и вечно залитым электричеством небоскрегам Манхэттена. Такой представлялась мне фонтанирующая радостью, вечно грохочущая и утопающая в золоте Америка. Не возникало даже вопроса о том — хороша она или нет, другой я ее просто не представлял. Только позже, уже попривыкнув к ее несмолкающему гомону и веселию, я стал задумываться над тем, не слишком ли много смеха и бодрости, не получается ли перебора с этим вечно грохочущим на телеэкранах оптимизмом?

И вот я открываю «Нью-Йорк Таймс» — и узнаю, что тема эта выносится на повестку дня специального Вашингтонского симпозиума психологов. Итак, оптимизм или пессимизм? И если уж оптимизм — то нет ли у нас с ним передозировок? Я давно себя чувствую американцем, и меня ничуть не удивляет, что весь ход упомянутого симпозиума исполнен американской деловитости. Но вот странное депо: в обсуждаемых на форуме вопросах, в самой их постановке и даже атмосфере симпозиума проступает нечто удивительно знакомое, почти родное. Что именно? Да вот послушайте, как и о чем говорят члены симпозиума. Нет, не цитаты, а мысли и соображения. Оптимизм и бодрость духа — это, конечно, хорошо. Во всех отношениях. И для человека и для общества. (Помните? «Нам песня жить и дружить помогает»). Оптимизм помогает сохранять здоровый взгляд на жизнь, успешно вести бизнес. Но не слишком ли далеко зашло помешательство на оптимизме, толика пессимизма еще не помешала никому, (словом, перегибы у нас с оптимизмом, дорогие товарищи, тогда как и во всем должно быть, чувство меры). Далее узнаем, что пессимизм помогает не обольщаться и трезво смотреть на вещи. (Какая, однако, глубина подхода: «трезво смотреть на вещи»!) Что же касается влияния пессимизма на здоровье, то тут мы вообще не находим никакого вреда! Одним словом, давайте, дорогие товарищи, перестраиваться, устраним перегибы и восстановим нарушаемый в обществе психологический баланс.

Пусть простит меня читатель за некоторое заострение стиля: считайте, что стиль мой — плод недоумения, рожденного научными выводами первого в Америке научного симпозиума по проблемам оптимизма и пессимизма.

## ОПТИМИСТКИ-САМОУБИЙЦЫ

Я не психолог и откровенно говоря, чувствую, что тема мировосприятия американского общества мне просто не по зубам и что в этом кратком эссе, (которое, может быть, следовало бы, вообще, озаглавить «Записки дилетанта»), мне вряд ли удастся сколь-нибудь глубоко копнуть затронутую проблему. Чтобы ответить на вопрос, откуда проистекает американский оптимизм, вероятно, потребовались бы тома исследований американской истории, не знающей войн, социально-политической жизни Америки, не знающей классовых боев, ее высокоразвитой экономики, создающей самый высокий уровень жизни, островного положения Соединенных штатов, освобождающего страну от тяжелейшей конкуренции и т.д. и т.п.

Но обойдя все это, все же зададимся вопросом, не означает ли этот всеобщий американский оптимизм и удовлетворенность жизнью, когда обществу становится уже не к чему стремиться, (разве лишь к еще большему материальному обогащению) — не означает ли все это, вообще, конец прогресса и движения вперед (о чем десятилетие назад пытался вколотить миру японский социолог Фукуяма). Ученые, в том числе и американские, поправили и вернули вспарившего на небеса Фукуяму на грешную землю.

Однако социология при всей ее значимости — это лишь часть вопроса о том, как нам смотреть на жизнь и ставить ли точку в конце истории. Не менее важна и ее нравственная сторона. Если мы живем в таком прелестном мире, и нам так несказанно хорошо, что лучше и быть не может, то чем же нам, вообще, заняться в этом лучшем из миров? И во имя чего совершенствовать самих себя? И в чем черпать душевное удовлетворение и радость жизни?..

Когда участники вашингтонского симпозиума бунтуют против засилья оптимизма — это, конечно, заслуживает поддержки, Вопрос только в том, на сколь широком социальном плацдарме происходит этот бунт. Против каких социальных сил и механизмов он направлен, что он отстаивает и против

чего выступает. Попутно и еще вопрос — насколько этот вечный оптимизм способен осчастливить человека. Мне вспоминается не так давно показанный по программе НТВ фильм дочери Франка Коппола «Девственницы-самоубийцы». Фильм рассказывает о жизни четырех юных девочек, которые, живя в глухом американском местечке, в обстановке всеобщей любви, благоденствия и семейных радостей одна за другой кончают жизнь самоубийством. Режиссер пытается объяснить случившееся возрастом, половым созреванием, появлением в жизни первых мальчиков, но — как это случается в произведениях настоящего искусства — автор, сам того не замечая, проговаривается и затрагивает куда более важные социальные проблемы. Героини фильма не выдерживают окружающей их — хоть и полной оптимизма — скуки и никчемности жизни. Кругом все исполнено радости, светлых мечтаний и жизнеутверждения, а совсем еще юные девочки решают свести счеты с жизнью. Воистину радетелям оптимизма есть над чем подумать!

Тянет меня, однако, выйти за рамки семьи и личной жизни. Задуматься над тем, чем оборачивается наш воинствующий оптимизм, действуя на арене всего общества.

## ОПАСНОСТЬ КОНФОРМИЗМА

Когда мы говорим, что граждане Америки с их позитивным мышлением достигают беспрецедентных успехов во всех областях — это, может быть, и прекрасно. Но, вероятно, лишь с одной стороны, ибо неизбежно возникает подозрение, — а не ведет ли этот доведенный до логического конца позитивизм к серьезной опасности для общества, имя этой опасности — конформизм.

Мы страна — высшей цивилизации, мы лучшая страна в мире, мы авангард, на который сегодня равняется человечество. Так в пылу самовосхваления зарождаются и расцветают национальные амбиции, заглушается обращенная внутрь общества критика, да и критика всякого рода теряет под собой почву или просто-напросто игнорируется.

Вы критикуете, например, результаты югославкой компании, И вот уже слышите недоуменные возгласы оппонентов. Что? Провал Президента? Провал Конгресса? Провал сенаторов и вооруженных сил? Да вы думаете, джентльмены, о

чем говорите или не читали результаты опросов? В каком свете выставляете перед миром Соединенные Штаты? Да любите ли вы, вообще, Америку? Вот так и зарождается опаснейший для любой демократии политический конформизм.

Я привожу эти примеры с одной лишь целью, чтобы показать, какой глубины придерживалась вашингтонская дискуссия и какой глубины ей следовало бы придерживаться. Разговор-то должен быть не о том, есть ли у нас перебор с оптимизмом, или там недобор с пессимизмом, а о том, что перешагнувший все границы оптимизм при определенных условиях может обернуться бедой для общества. Ведь если представить, что «всепобеждающий оптимизм» есть ничто иное, как метафора конформизма, то не возникает ли опасность, что под угрозой может оказаться само состояние важнейших политических институтов Америки, если угодно, даже конституция и принципы американской демократии. Я знаю, что это звучит парадоксально, однако, только на первый взгляд. Чтобы понять суть дела, обратимся к примерам из живой практики Америки. Да вот один из них.

При том, что в Соединенных Штатах разрыв в материальном положении между верхами и низами общества исчисляется катастрофически опасными цифрами, — Соединенные Штаты последнего десятилетия почти не знают стачечной борьбы, да и профсоюзное движение мало-помалу сходит на нет. Забастовки, конечно, происходят, но бастующие по большей части не находят поддержки у общества. Бастовать становится просто неприлично в такой процветающей и идущей в авангарде человечества стране. То же самое видим и в политической жизни, и в межпартийной борьбе, и в юстиции и во взаимоотношениях граждан, и более всего в попытках каким-то образом переустроить общество...

Давайте согласимся с тем, что, если бы в стране не процветал всеобщий бодряческий дух и конформизм, а вместо этого господствовал здоровый пессимизм, Америка смогла бы двинуться вперед куда быстрее. И уж наверняка быстрее вышла бы из глубокого нравственного кризиса, конца которому не способна положить никакая из президентских администраций. Но при том охватившем страну «агрессивном оптимизме» и самолюбовании, последнее выглядит вряд ли реалистичным.

## БЛИЗНЕЦЫ—ПРЕЗИДЕНТЫ

Согласимся далее с тем, что двухпартийная система — это своего рода гарант американской свободы. Две противоборствующие партии — это вроде бы и есть настоящая демократия. Однако вот вопрос, отчего у любой из двух партий так мало стойких, постоянных и главное идейных сторонников. Не оттого ли, что слишком размытой и лишённой в глазах избирателей всякой харизмы, выглядит идеология каждой из них.

Несмотря на жестокость президентских баталий, избиратель слишком часто остается в неведении, что принесет ему, человеку с улицы, победа того или иного кандидата. Что мог бы дать Америке Гор и что реально способен принести Буш? Кто, в конце концов, предпочтительней? Спор о кандидатах я слышал накануне выборов миллионы раз. И в такие минуты задавал себе другого свойства вопрос, чего больше у кандидатов общего или различного. И сам себе затруднялся ответить. Единственное, что было ясно — оба жаждали победить. Победить любой ценой, пустив в ход любые обещания и закулисные приемы. Не находя особых отличий в программах, я сравнивал их характеры. Как будто, это были совершенно разные люди. И по возрасту и по воспитанию и даже по внешнему облику. Но вот какой однажды случился со мной казус. После одной из президентских дуэлей, оба они самым нелепым образом слились в моем сознании, — это же надо было такому случиться! — оба претендента приснились мне как два близнеца с разными фамилиями — фамилия одного была Гор, другого Буш. Оба говорили одни и те же речи, одинаково размахивали руками и одним и тем же голосом восклицали в конце своих речей: «God bless America!» Для интереса я стал разгадывать этот сон (не понимая вообще, как могла вся эта чушь мне привидеться). И, наконец, кажется, начал кое-что понимать — и с той и с другой стороны действовали всепокрушающие оптимисты, достаточно было поймать их горящие, восторженные взгляды. (Даже блеск в их глазах был одинаков). Кажется оба они великолепно знали, к чему зовут избирателей. Думаю, что несмотря на то, что они говорили сплошными лозунгами, возносимая ими цель не казалась самим им расплывчатой — оба они звали их от хорошей жизни к еще лучшей, к самой лучшей и счастливой, которая только и может быть на земле. (Помните, «борьбу лучшего с отличным» в творениях наших выдающихся писателей-лакировщиков?). Вот

и здесь примерно то же самое — «Америка! Америка! 21 век! Перелом истории! Америка возглавит мир и поведет его... к сияющим вершинам!» (Ради Бога не улыбайтесь, чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что мыслительный процесс политиков происходит по одной и той же, до боли знакомой схеме). Так или иначе, для пессимизма и осмысления недугов страны в их предвыборной борьбе просто не оставалось времени, также, как в пылу предвыборной эйфории не оставалось времени для постановки острейших проблем американской жизни.

## ПАРТИЯ ПЕССИМИСТОВ

Только не спрашивайте меня: отчего так? У меня нет ответа на этот трудно разрешимый вопрос. Может быть, от того, простите, что в Америке, характеры президентов — как бы они не были отличны — самой системой подвергнуты некому выравниванию, некому особому процессу, в ходе которого они подстригаются под одну гребенку (не отсюда ли мой дурацкий сон о двойниках-президентах?) И все же, в чем все же причины? Наверное, их не одна. Но в числе многих, может быть, все это потому, что в Америке и по сей день не образовалась мощная оппозиция, которая на фоне всепобеждающего оптимизма, могла бы стать партией пессимистов.

Если бы, например, такой партией стали республиканцы — им было бы, о чем спросить демократа Албера Гора, во многом разделяющего провалы Билла Клинтона. Как мы знаем, Клинтон покидал свой президентский трон воистину победителем, буквально осчастливившем Америку за восемь лет своего пребывания. Он относил на свой счет (и, естественно, на счет своей демократической партии) успехи американской экономики (хотя надо было их относить за счет собственного везения), демократы считали своим успехом урегулирование балканского кризиса, вылившегося в кровавую баню, устроенную маленькой Югославии, но которое на самом деле никакого мира и благоденствия на Балканы не принесло. Как и не принесла ничего России безоговорочная поддержка Клинтонем коррумпированного режима Ельцина. И наконец — Ближний восток, который Клинтон совсем уж было привел к миру, но в самом конце его правления стало ясно, чего на самом деле стоил этот мир, чреватый новой приближающийся изо дня в день войной.

С другой стороны, я и сам чувствую, что перечисленные мной претензии к демократам выглядят как чистой воды схоластика — никто им этих претензий не предъявил и предъявлять бы не стал, и понятно почему. Провалы Клинтона один за другим представлялись населению страны как сплошные успехи, Клинтон не уставал появляться перед камерой телевизоров с чарующей улыбкой победителя. Каждая из его речей, (как и речей его супруги Хиллари, избранной в сенат), дышали бодростью духа и верой в будущее Америки. Оптимистический настрой Президента воспринимался как должное всем населением страны, и голоса пессимистов, (а они, конечно, тоже раздавались), мало что могли изменить. И, прежде всего, потому, что это были голоса одиночек — другое дело, если бы единым фронтом выступила политическая партия диссидентов, за которой шли бы многие миллионы избирателей.

## АМБИВАЛЕНТНАЯ АМЕРИКА

К сожалению, в сегодняшней Америке мысли о партии пессимистов выглядят, как далекие от жизни мечтания. Кому такая партия нужна? Конгрессу? Пентагону? Против пессимистического хныканья мощной и воинственной стеной поднялся бы весь Голливуд, поскольку ему, Голливуду, с его бездумными и сияющими улыбками, с его кастовостью, процветающим депотизмом, подавлением талантов — просто-напросто нечего было бы делать в обществе, где возобладали бы силы разумной критики.

Недаром тот же Клинтон в тяжелые для него дни Моникагейта самую сильную поддержку нашел не в научных или университетских кругах, вообще, не в интеллектуальных сферах, а в кругах безмятежно веселящегося и раздувающегося от денег и богатств Голливуда.

Гордясь своим положением в современном мире, мы слишком редко говорим об амбивалентной Америке — что она, страна успехов, в то же время является страной проблем. Об успехах трубят политические деятели, к какой бы партии они не принадлежали, бодростью духа и верой в будущее дышит любое их выступление. Как уже сказано, громом побед и многоцветьем красок полны телевизионные «коммершелс» — да что там «коммершелс» — все американское телевидение как некий могучий центр оптимизма в тысячи и миллионы прожекторов действует на психику слушателей,

пытаясь все более и более сдвигать по фазе их и без того оболваненное сознание.

Вспомните демонстрируемые в телекамеры миллионные толпы избирателей, жующих гамбургеры, стонущих от восторга и пожирающих влюбленными глазами своих кумиров. Где уж тут до здравого смысла, пессимизма и критического осмысления жизни? Боже, благослови Америку!

И кто знает, дойдет ли вообще дело до проблем, лихорадящих страну? Нет, я не хочу останавливаться на давно набивших оскомину расово-этнических вопросах или там бедности и безработицы. С чем-то надо мириться в нашем далеком от идеала мире. Проблемы, о которых я хотел бы упомянуть, не требуют ни революций, ни крупных социальных сдвигов. Мы живем рядом с ними. Они, как больной зуб во рту, как жужжащие перед носом мухи, которых мы даже не пытаемся переловить. Какие проблемы? Ах, какие проблемы! Да вот, чтобы далеко не ходить, — первые из попавшихся под руку — вы получаете утреннюю почту и в ее разбухшей связке находите счет... на баснословную сумму!.. Надеюсь сами догадываетесь от кого? Да, именно, от врача, от самого дорого в мире врача. А может быть, от адвоката, по числу которых Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Или надо оплатить лекарство, стоимость которого вам давно уже не по карману, особенно, если волей судеб вы дожили до пенсионного возраста. Вот тут-то и проявляется амбивалентная суть Америки, у жителей которой так часто скребут на душе кошки и которым просто некуда деться от бурлящего в стране оптимизма.

И снова вопрос — когда все же легче человеку жить? Когда день и ночь пытаются влить в него заряды оптимизма? Чтобы пел он и смеялся как дети. Или когда призывают смотреть правде в глаза, как бы ни была неприятна эта правда. Признаться, я в затруднении ответить на этот вопрос. Знаю только что, когда жизнь летит мимо правды, мне становится неуютно. Пусть это будет неприятная и горькая правда, пусть она испортит мне настроение и сделает меня пессимистом, пусть меня даже обвинят в недостаточной любви к отечеству, все это будет не так уж важно, если под крики «гром победы раздавайся», я почувствую хоть маленькую, неправду, которую ненавижу больше всего. Вот и решайте после сказанного, что лучше оптимизм или пессимизм, а заодно и то, перед какого рода проблемами они нас ставят — чистой ли психологии или самой сути нашей жизни.

## Я - ВТОРОЙ БЕРНАРД ШОУ, НО МЕНЯ НЕВОЗМОЖНО ВЫНЕСТИ

Лев Неврозов о своей новой книге

Поселок «Литературной газеты» в 1962 году. Мы (в том числе, Левитанские, Шкловский, Винокуровы, Инна Борисова, Окуджава, Корнилов, Войнович) ведем вольные разговоры. У меня в голове и на бумаге растёт книга, которую я опубликую после приезда в США в 1972 году под заглавием «Воспитание Лёвы Неврозова», а пока пересказываю из нее мысли — так сказать, пробуя их на присутствующих. Вдруг поэт Дезик Самойлов поднимается и молча уходит в соседнюю комнату. В чем дело? Он не может слышать того, что я говорю. «Мы тут все, конечно, критики, вольнодумцы, инакомыслящие, — объясняет он. - Но то, что говорит Неврозов... Я не могу этого вынести!»

Нью-Йорк в 2000 году. Получив от меня двухстраничную заявку на мою новую книгу — о США и других странах английского языка — литературный агент тут же звонит мне.

Моя книга «Воспитание Лёвы Неврозова» получила в США свыше ста откликов, в которых я сравнивался с Мильтоном, Марком Твенем, Прустом, Оруэллом и Достоевским. Но вот я написал острую критику — нет, не о советской России, а о США. И нью-йоркский литературный агент не может ее вынести.

Моя книга рассматривает умственный и творческий регресс на Западе вне науки и техники. В силу того, что хотя абсолютизма нет (и, следовательно, нет умственной и творческой тирании правителя, как при сталинском абсолютизме), но нет и свободы личности. Ибо свободны лишь, например, огромные корпорации — коллективы «средств массовой информации». Они создают коллективные «массмысли» и «масс-чувства», не более ценные и глубокие, чем пропаганда правителя при сталинском абсолютизме. И именно они обрекают население на то, что Джон Стюарт Милль назвал уже в 1859 году «духовным рабством», хотя было еще далеко до корпоративных глобальных сетей телевидения и прочих источников «массовой информации».

Последствием этого умственного и творческого регресса на Западе является неспособность воспринимать даже смертельную опасность. После аварии в бактериологической лаборатории под Свердловском в 1979 году стало ясно, что советская Россия разрабатывает сверхоружие (в данном случае бактериологическое), способное уничтожить Запад. Но эта смертельная угроза не воспринималась. Когда же Ельцин открыл «архипелаг Биопрепарат» в 1992 году, то западные журналисты поохали и вскоре все забыли. А когда я говорю о разработке сверхоружия в Китае, то эту весть о гибели Запада опять же не воспринимает. Вот почему название моей книги: «Гибель лишённого геостратегического мозга Запада».



Лев НАВРОЗОВ

## ПАРАДОКС 21 ВЕКА: БЕСПРАВИЕ ЛИЧНОСТИ В АНГЛО- САКСОНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Отрывок из книги

### МОЙ СОВЕТСКИЙ МЯТЕЖ В НЬЮ-ЙОРКСКОМ БАНКЕ

Как передать счастье небожителей сталинского рая на земле? Разве что спеть вездесущую в то время песню о том, что «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Но американца, эмигрировавшего в 30-х годах из страны неравенства, кризисов и безработицы в создаваемый Сталиным рай, вскоре подстерегал случай, который советским небожителям казался самым естественным и даже похвальным, но который американца озадачивал, тревожил и томил дурными предчувствиями. Скажем, в 1937 году, ночью происходил арест, и арестованный бесследно исчезал. «Да что же это такое?» — недоумевал ошеломленный американец. — «В Англии в 1215 году бароны заставили правителя (короля) подписать Великую Хартию

Вольностей, согласно которой тот больше не имел права никого лишать свободы или принимать репрессивные меры без открытого независимого суда. И это в XIII веке! А в самой передовой и свободной стране XX века, открывшей новую эру человечества, сам же творец самой гуманной конституции в мире творит расправу в застенках своей тайной полиции (как в Англии до 1215 года) и жертвы бесследно исчезают».

Тут американец замечал, что он и сам уже озирается. И недаром! Большинство эмигрантов из США было заподозрено в шпионаже, в антисоветских настроениях (или в привязанности к США) — и бесследно исчезло.

И вот я с семьей прибываю в 1972 году в город Нью-Йорк, где прибывших встречает статуя Свободы, и иду в наше местное отделение банка, чтобы вложить туда чек издательства «Харпер энд Роу» — аванс за книгу «Воспитание Лёвы Наврозова», которую мне вывез эмигрант Виктор Кебачник из России в виде микропленки, помещенной в «Крем для лица».

Банки в Нью-Йорке закрывались в 3 часа, потому что когда-то их клиентами были короли, князья, бароны и им подобные. А поскольку они не работали с 9 до 5, дневное время было для них и вполне удобным, и самым безопасным, ибо улицы в то время не освещались.

Я попал в обеденный перерыв, а кассиров было только двое. И стояла такая очередь, что было ясно: не взять, не вложить деньги этим американским простолюдинам до конца их обеденного перерыва не удастся, а в три часа банк закрывается.

**Теперь перенесемся в сталинскую Россию. Сталин ввел Книгу жалоб (и предложений). Чуть что не так, дайте жалобную книгу! Директор бледнел: несколько жалоб, и его снимут. Что такое директор для Сталина? Как перед Богом, перед Сталиным все были равны. Заключенный, ожидающий расстрела в качестве шпиона, пишет письмо Сталину. Письмо читают Сталину, чтобы позабавить его. А Сталин — мрачнее тучи. Значит, Генеральный комиссар Госбезопасности, Ежов Николай Иванович, 1895 года рождения, фабрикует дела? Заключенного освободить, все дела пересмотреть, а Ежова — расстрелять.**

В секретариат Сталина стекались жалобы на все на свете. Согласно Джону Стюарту Миллю, в этом — рациональное

зерно абсолютизма. В человеческом обществе всегда есть множество хищников, использующих свое богатство, общественное положение и даже просто физическую силу во вред своим ближним. Те жалуются правителю, то есть хищнику, настолько могущественному, что любого рядового хищника он может раздавить, как муху.

Средневековому христианину внушали, что он должен никого не бояться, кроме Бога. Житель сталинской России никого не боялся, кроме Сталина. Если бы сберкассы стали закрываться в 3 часа дня по распоряжению Сталина, то эта мера встретила бы всенародное ликование. Но если бы это было самоуправством сберкассы или всех сберкасс, а в обеденный перерыв стояла бы такая очередь, что работающему с 9 до 5 ни взять, ни положить деньги, то вообразите бурю возмущения, устного и в письмах к Сталину, по отношению к тупым и черствым бюрократам, мешающим созиданию рая на Земле.

И вот я в очереди в нью-йоркском банке. Вскоре начался импичмент президента Никсона. Он был похож на директора советского гастронома, осаждаемого разъяренными покупателями, требующими «жалобную книгу», и когда он повернулся спиной к телевизорам, молодой человек, попросивший у него — нет, не «жалобную книгу», а автограф, сделал вид, что он вытирает автограф о спину президента США. Понимаете? А тут директор местного отделения банка издевается над клиентами, работающими с 9 до 5 — ведь им ни взять, ни положить своих денег. И я начинаю возмущаться — совершенно как советский человек, но полагая, что поскольку я в стране, где молодой человек делает вид на глазах у телевизоров, что он вытирает автограф президента об его спину, то вся очередь тут же ко мне присоединится и закричит в один голос: «Довольно издеваться над народом!» Разве первый глашатай американской революции не провозгласил: «Дайте мне свободу или дайте мне смерть!» О чем повествует каждая книжка о нем с картинками для детей дошкольного возраста?

На самом же деле стоящие в очереди рядом со мной отшатнулись от меня. Что если банк вызовет полицию и заявит ей, что мы устроили riot («буйство», «мятеж») с цепью ограбления банка? Сталин и его инспекторы верили жалобам трудящихся на директоров, а не директорам, каких снимали на основании жалоб. Но для полиции, банк — это богатство, уважение, влияние, а главное — множество

высокооплачиваемых юристов, способных добавить массу неприятностей полиции, А мы в очереди — те, для коих нанять и одного плохонького юриста за жалкие 250 долларов в час не в подъем, ибо некоторые из нас зарабатывают 250 долларов в неделю или живут на пенсию в 350 долларов в месяц. Полиция поверит банку, поведет нас (допустим, вполне вежливо и корректно) в полицейский участок и к судье, и отныне мы — подзащитные или обвиняемые. Кто же нас защитит от нелепого вымысла банка? Только суд. Но суд в странах английского языка зиждется на юристах: это средневековый феодальный суд (причем в Англии его средневековая феодальная природа подчеркивается, как в музее подчеркивается старина и посему особая ценность музейной реликвии).

Лица, пережившие 1937 год в сталинской России, могут сказать:

«Подумаешь! что такого может сделать этот банк, суд, полиция по сравнению с застенками и концлагерями Сталина? В случае ложного обвинения банком в буйстве и мятеже с целью его ограбления, дело закончится, вероятнее всего, лишь тем, что юристы разорят всех подзащитных до нитки, и те станут обитателями «дна» в виде ночлежек и прочего. Экое несчастье! Вы забыли сталинские застенки!»

Замечание это справедливо, и об этой мягкости средневекового феодального суда и карательных органов в Англии 1859 года (по сравнению с абсолютизмом в его худшие годы) писал еще Джон Стюарт Милль тогда же, в 1859 году. Но Милль интересовался не мерой страдания, которое может причинить средневековый феодальный строй по сравнению с абсолютизмом, а его влиянием на свободу личности. Знаменитый мыслитель считал, что для отсутствия свободы личности совсем не обязательны камеры пыток и массовые казни абсолютизма. Опасность быть разоренным юристами в английском феодальном суде была достаточной для того, чтобы население отказалось от свободы личности и подчинялось бесчисленным «рядовым хищникам» вроде банка так же беспрекословно, как при абсолютизме население подчиняется «главному хищнику».

Но прежде чем рассматривать природу средневекового феодального суда, позвольте мне рассказать, чем кончился мой советский мятеж в местном отделении нью-йоркского банка.

Тут опять же есть аналогия со сталинской Россией. Моя соседка по даче, Любовь Орлова, решила на новогоднем приеме чокнуться со Сталиным, пройдя сквозь три круга охраны. Когда ее уже считали погибшей и отворачивались от нее, Сталин вдруг улыбнулся ей и поднял бокал. Три круга охраны расступились, они чокнулись, и даже на их каменных лицах появилось нечто вроде умиления.

А что произошло в нью-йоркском банке? Когда вышел к нам директор местного отделения банка, и я представил, в лучшем советском стиле, «нашу жалобу», он улыбнулся и сказал: «Я узнал вас по голосу. Вы выступаете на радиопрограмме Бэрри Фарбера. Я сейчас пришлю еще двух кассиров».

Так вот оно что! Оказывается, я, так сказать, заочно на дружеской ноге с самим директором местного отделения банка! И вот вам — сразу же еще два кассира!

Очередь заулыбалась и придвинулась ко мне, а одна дама сказала: «Нашелся хоть один смелый человек!» Все как в случае с Орловой. Но только там был Сталин, а здесь — директор местного отделения банка.

## СУД — МУЗЫЙНЫЙ ЭКСПОНАТ XIII ВЕКА

Итак, в 1215 году английские бароны (рядовые хищники) заставили правителя (главного хищника, державшего их в узде) подписать Великую Хартию Вольностей, согласно которой правитель мог преследовать своих подданных только через независимый гласный суд. А вскоре в Англии и вовсе произошло «разделение властей», казавшееся во Франции эпохи абсолютизма и мировой культуры нелепым чудачеством дикой отсталой страны на задворках Европы. Вся судебная власть стала независимой, и она судила подданных, независимо от исполнительной власти, правительства и «государства». Отсюда ясно, как важно было для баронов обеспечить защиту своих вольностей в суде по отношению к правительству и по отношению друг к другу.

Барон нанимал (retained) слуг — телохранителей, кучеров и прочую свою челядь. Отсюда выражение, существующее в английском языке и поныне: «to retain a lawyer», то есть нанять слугу-юриста. А слово «lawyer», которое переводится на русский язык как «юрист», означает буквально «законник». И недаром.

Русское слово «юрист» идет из римского права, в котором «юрист» — *juris consultus*, был консультант в области *juris*, то есть права.



Помните юридические консультации по всей Москве? Прихожу и говорю, что мне должны крупную сумму денег. «Есть расписка?» — спрашивает консультант, кстати говоря, женщина. «Есть. Но даже неудобно показывать. На клочке бумаги. Не будет ли суд возражать против такой расписки?» — «Не будет!» — оборвала она меня. Вот читайте Гражданский кодекс. Если его рука, и он дал расписку по своей доброй воле, суд решит в вашу пользу». Иду в суд. Суд длится пять минут. Взглянув на расписку, ответчик объясняет, как он все время хотел уплатить долг, но дух хочет, а плоть слаба. «Довольно!» — прерывает судья (тоже женщина) его излияния и выносит решение, взыскать. Удерживали из его зарплаты, пока не выплатил все.

Юридическая консультация в Нью-Йорке? Нет, это вам не Рим времен Цицерона и не советская Москва. «Законник будет хапать у вас 200 или 1000 долларов в час. Какая там еще консультация? Разве кучер консультировал барона, как править каретой? Его нанимали, и он правил. Законник «правит» делом: он пишет за хозяина и от его имени все бумаги, говорит за него в суде, барон же только «едет», а если кучер вывалит его в канаву, то барон отругает его на чем свет стоит и другого наймет, возможно, еще хуже.

«Вот Гражданский кодекс» — сказала мне московская юристка. Гражданский кодекс? Такого не было в Англии в XIII веке и нет в странах английского языка в XXI. Римский император, французский король эпохи абсолютизма, Наполеон, русский император (после отмены крепостного права) советский генсек собирали комиссию из правоведов, и те составляли гражданский кодекс. В советской Москве конца 60-х годов я собирался подать в суд, нет, не на всесильное и непогрешимое государство, а на соседа по даче, поэта Суркова, за клевету. В Гражданском кодексе было дано определение клеветы: «заведомо ложное фактическое сообщение». Обратите внимание на старое русское слово «заведомо». Оно значит, что тому, кто сообщил, было ведомо, он знал, что его фактическое сообщение — ложное, а не просто он старательно и честно изучил все обстоятельства дела и честно при этом ошибся. Между прочим, слово показывает, что определение было взято из старого российского кодекса, а в него пришло из французского кодекса, а туда, возможно, из римского кодекса.

Но ведь в странах английского языка судебная власть была отделена от государства еще в средневековье. Что же такое клевета? А чтобы ответить на этот вопрос, надо поднять предыдущие судебные дела о клевете и прочесть решения судей. Так, в деле 1964 года судьями Верховного Суда США было введено понятие «заведомости», и это нововведение прославляется как величайшее основополагающее открытие в юриспруденции всех времен и народов. Кстати, надо сказать, что ни один американский «законник», с которым я общался, не имел понятия ни о праве вне стран английского языка, ни об истории судопроизводства в этих странах. Зато «законник» знает предыдущие судебные дела («закон»), и суд — это спор на основании этих дел, в котором сам клиент участвовать не может, если он не изучил предыдущие судебные дела для того, чтобы понять, определить и доказать, что, скажем, клевета — это заведомо ложное фактическое сообщение.

Истина рождается в спорах. Это верно, если у спорящих есть общее пространство для спора. Например, европейские астрономы некогда спорили о том, движется ли солнце вокруг земли или земля вокруг солнца. Спор их родил истину, ибо у спора было общее пространство: астрономия после появления телескопа.

Спор «законников» в судебных делах стран английского языка возник в средневековье не из науки, а из ордалий и схоластики, царившей в университетах начала тысячелетия. В ордалиях спор решался тем, кто кого убьет: дуэли дворянства — отголосок ордалий. Убийство противника в ордалии — это Божий глас: убивший противника доказал свою правоту, ибо Бог не допустит убийства того, кто прав, тем, кто не прав.

Общеизвестно, что почасовая оплата «законника» колеблется в широких пределах. Значит, «законник», получающий 1000 долларов в час, победит «законника», получающего впятеро меньше. Не потому, что его клиент прав, а потому что он «сильнее» — например, нахальнее, красноречивее, хитрее, энергичнее, а может быть, и способнее влиять на суд вне судебных заседаний. Но ведь, в отличие от начала тысячелетия в Европе, никто не верит, что за победой «более сильного» законника стоит Бог. Значит, суд — откровенно несправедливый, а правосудие — это возможность нагнуть как можно больше и как можно вышеоплачиваемых и,

следовательно, «более сильных» законников. На весах Фемиды следует изобразить, сколько денег на законников затратили тяжущиеся стороны, и ясно, чья чаша перевесит.

Общее пространство спора? Ни о какой науке бароны и «законники» в 1215 году и не слышали, а в университетах, выдававших им дипломы, «наукой» являлась схоластика. Ее споры велись, например, о том, сколько ангелов (или чертей) может уместиться на булавоочной головке. Барон послал своего слугу-законника на словесную ордалию или схоластический спор, в котором «законник» доказывал, что «все наоборот». И делал это с тем рвением, с которым схоласт доказывал, что не 1000 ангелов, а, наоборот, 1000 чертей может уместиться на булавоочной головке.

Как и во французском праве, судебный спор в старой, а затем, советской России был в основном устным: в советском судопроизводстве сохранилось даже старое русское слово: судоговорение.

Французский абсолютизм и Великая французская революция (а вслед за ними и их российские последователи) косо смотрели на средневековую гильдию юристов, процветавшую при средневековом феодализме и процветающую до сих пор в странах английского языка, (общественное устройство которых является феодализмом, хотя в США такое явление будет встречено с возмущением). Разве не произошла Американская революция и разве «законники» в США носят средневековые парики, как они носят их до сих пор в Англии? На это я отвечаю, что в России произошла Великая октябрьская революция, и Сталин не носил корону, а, наоборот до Второй мировой войны являлся народу в гимнастерке (наподобие походного плаща Наполеона), но все же его новая эра человечества сильно смахивала на абсолютизм Ивана Грозного и Петра I.

При франко-русско-советском судоговорении, судья сам уравновешивал (помните весы Фемиды?) сторону, не имевшую юриста, причем судья держал юриста в пространстве спора. «Адвокат, это к делу не относится». Или: «Адвокат, вы нам объясняете, что черное — это белое, а белое — черное».

Судопроизводство в странах английского языка лишь в малой степени судоговорение, а в основном, оно, (в согласии со схоластикой), огромная судописанина, в которой адвокат может беспрепятственно и беспределно врать, как сивый ме-

рин, и доказывать на тысячах страниц с рвением схоласта, что черное — это белое, а белое — черное. Чем более наглым, упорным и объемистым будет вранье законника, тем вернее крохотная истина утонет в этом бушующем море вранья.

И вот тут-то и лежит экономический ключ ко всей деятельности законников. Они подают клиенту счет, в котором сами проставляют количество затраченных часов, а проверить, так ли это, клиент никак не может. Но ясно, что чем больше судописанины, тем больше часов. Я не хочу сказать, что нет законников, идущих наперекор своей выгоде. Таких тысячи! Но все же эти тысячи составляют, возможно, лишь долю одного процента законников. А выгода для «среднего законника» состоит в том, чтобы 1) начать дело, хотя в конечном счете оно проигрышное, 2) тянуть его добрый десяток лет вплоть до проигрыша в Верховном Суде США, 3) наворачивать письменно как можно больше, 4) указывать в счетах наибольшее (мало-мальски правдоподобное) число затраченных часов, и 5) избегать соглашения сторон вне суда, благо закон предписывает сторонам общаться друг с другом только через их законников.

Законники были слугами баронов, то есть богатейших людей в стране, ибо в то время главным богатством была земля. При абсолютизме общество состоит из социальных горизонталей: те, кто находится на более высокой горизонтали — «выше» тех, кто находится на более низкой. Слуги — бесконечно «ниже» своих хозяев.

Не то при феодализме, средневековом или нынешнем. В нашем доме мы сами не имеем права мыть окна со стороны улицы, а обязаны нанять члена профсоюза (то есть гильдии) мойщиков уличных окон. Законники объединились в гильдии (как это и полагалось при феодализме), и стали также членами независимой судебной власти, наподобие судей, прокуроров или клерков. Бароны были обязаны нанимать в качестве слуг-законников только членов гильдии законников и судебной власти. При феодализме в этом случае неясно, кто «выше» и кто «ниже». Здесь не горизонталей соподчинения, а вертикали соперничества. Барон держал законников за шиворот, как слуг, а гильдия слуг-законников держала его за глотку.

А простолыдину нанимать ученого (с университетским дипломом) законника столь же не подобало, как нанимать кучера

и развезать в карете. Если в христианском мире к простолюдину, который сидел и курил табак, подошел татарин (не-христи) и ударил его по уху, рассудить их должен староста: «Я схватил его за грудь, пойдем к старосте на суд».

**А как быть с законниками? Недавно бывший президент Картер сделал открытие в обществоведении, равносильное открытию, что  $2 \times 2 = 4$  в математике. Не прошло и немногим более двухсот лет со времен Американской революции, а Картер уже открыл, что поскольку плата юристам в судебном деле достигает миллионов долларов, то правосудие в США доступно только миллиардерам и мультимиллионерам в виде отдельных лиц или корпораций. Открытие Картера было передано в «основных СМИ», ибо имя Картера известно большинству населения США. Тут важно кто сказал, а не что он сказал. Я позвонил в Центр Картера и объяснил, что хочу процитировать открытие Картера в своей книге. Прошу сообщить мне текст по почте, факсу или e-mail'у. Вниманием они, видно, не избалованы, и мой звонок был явно событием. Через две недели они мне горестно сообщили, что текст выступления Картера они найти не могут. Куда же он делся?**

**В начале века в России шел водевиль «Баронесса Фекла». На лотерейный билет, который обедневший барон дал своей кухарке в счет жалованья, пал главный выигрыш. Барон женился на ней и спросил про билет. «Не могу найти его, барин», — ответила баронесса Фекла. «Куда же он делся?» «Должно, я его невзначай сжевала».**

## **ЗАГОВОРИЛ АМЕРИКАНСКИЙ СУДЬЯ...**

Недавно в США вышла книга судьи Бэртона Каца под таким заглавием: «Правосудие? Отклонить!» Зная, что это — тема моей книги, друзья немедленно мне ее прислали, и, заглянув в нее, я ахнул: до чего же это похоже на то, что я пишу! Но есть и разница. Настрой судьи Каца в США напоминает настрой поклонников Горбачева в советской России: положение хуже некуда, но вот если провести «перестройку»... Кац говорит о перестройке правосудия в США. Он не понимает, что оно — восходит к XIII веку в Англии. Когда французы в конце XVIII столетия решили осуществить свою «перестройку», которую они называли революцией, они отрубили королю голову, хотя ничего из этого не вышло, — а выросла новая — императорская! — голова (Наполеона). Но для того, чтобы осуществить пере-

стройку или переверот судьи Каца, надо отрубить голову доброму миллиону юристов, которые встретят в штыки его «перестройку-поворот».

Но в остальном судья Кац... И до него говорилось о том, что дело «законника» врать как можно более нагло, а так как законник противной стороны тоже врет как можно более нагло, но «все наоборот», то из их обоюдного вранья, в котором «все наоборот», рождается истина. Кац приводит судебные дела, из которых ясно, что никакой истины не рождается, а выигрывает дело тот законник, который его больше запутывает, т.е. врет более нагло.

Муж обвиняется в убийстве жены. Ее тело нашли изрешеченным пулями. Стреляли из карабина М1. Их сын семи лет видел, как отец, выходя из дома с матерью сунул карабин М1 себе под пальто. А взрослый свидетель видел карабин М1 в багажнике машины обвиняемого. Законник допрашивает семилетнего мальчика, сбивая его с толку, запутывая и внушая ему, что он не может отличить карабин М1 от своего игрушечного ружья, и отец сунул себе под пальто это игрушечное ружье — решил поиграть с ним в ковбоев и индейцев. А взрослого свидетеля законник спрашивает, видел ли он в багажнике рядом с карабином М1 клетку, в которой щебетала птичка. Свидетель теряется. Никакой клетки он не видел. Таким образом, присяжным законник внушает, что никакого карабина М1 свидетель тоже не видел — это его выдумка! А иначе уж, конечно, он увидел бы и клетку, в которой щебетала птичка.

Но дело в том, что никакой клетки и не было: это вымысел законника. Убийцу оправдали. Но как замечает Кац, запутать семилетнего ребенка и выдумать «клетку с птичкой» для того, чтобы опорочить свидетеля, — считается вполне в рамках правовой этики. А сколько действий законников выходит за эти рамки!

Впрочем, вот еще один тип законника, действующего вполне в этических рамках. Дело в том, что законник Ирвинг Канерак был не способен даже сбивать с толку семилетних детей, создавать вымыслы вроде клетки с птичкой, которой не было, и вообще врать, запутывать депо, скрывать истину под покровом бесконечной болтовни и писанины, глумиться над свидетелями, подавлять их, нарушить ход их мыслей своим непрерывным выкриком «Возражение!» Не беда! Зато

Ирвинг Канерак изматывал свидетелей, выступавших против его клиента. Получасовой допрос свидетеля он растягивал на полтора месяца. Он брал измором. Однажды, изматывая таким образом свидетельницу, он пожаловался судье, что та назвала его сукиным сыном. «Вы назвали его сукиным сыном?» — строго спросил ее судья. «Нет», — ответила та. «А как вы его назвали?» — спросил судья. «Я назвала его подлецом, мерзавцем и сукиным сыном».

Защищая (за соответствующую оплату) безнадежные дела, законники выбирают таких присяжных, которые бы решили дело в их пользу в силу своей исключительной тупости или национальных предрассудков.

В 1991 году автомобиль, в котором ехал еврей, сшиб двух негритят, игравших на мостовой в Бруклине. Собралась толпа негров, и один из них по фамилии Нельсон вдруг увидел проходившего по улице Якова Розенбаума. «Еврей!» — закричал Нельсон. — «Держи еврея!» Десять негров нагнали Розенбаума, и Нельсон ударил его ножом. Полиция задержала Нельсона и нашла у нег в кармане окровавленный нож. Розенбаум был еще жив и опознал Нельсона. После суда, который длился полтора месяца, Нельсона оправдали. В чем дело? Законники сумели подобрать соответствующих присяжных из числа негров и латино-американцев. Кац считает, что национальная рознь в США подобна вражде сербов и хорватов, и суд превращается в национальную борьбу. А средства для оплаты законников Нельсона негритянские организации вполне могли выделить за счет взносов негров «в наше дело».

То, что негр О.Джей Симпсон убил белую Николь Симпсон и белого Рональда Гальдмана, судья Кац считает очевидным. Но помимо использования «национальной борьбы», Симпсон мог себе позволить истратить миллионы долларов на адвокатов, и вот, после девяти месяцев показаний 133 свидетелей, 45 000 страниц стенографического отчета и свыше 1 100 вещественных доказательств — оправдание.

Кац отмечает, что законник Джонни Кокран на суде Симпсона использовал то обстоятельство, что белые присяжные отказались осудить белых полицейских за избиение негра Родни Кинга. Белое/черное око...

«Мы наделили огромной властью судей», — говорит судья Кац. Не мы, а английские бароны XIII века и их восприемни-

ки последующих веков, которые боялись власти политического правителя (монарха) и желали, чтоб судьи обладали достаточной независимой от политического правителя властью, чтобы защитить их от него. Судья Кац продолжает: «Судьи имеют право приказать полиции проникнуть в ваш дом, арестовать вас, отправить в тюрьму, держать вас в тюрьме без залога, очернить вас — и все это без единого выстрела».

Заметим, что политический правитель (король и премьер министр Англии или президент США) права на это не имеют. Но низовой судья, который часто является обывателем, безграмотным вообще, а юридически полуграмотным, имеет право себя вести как верховный политический правитель, монарх абсолютизма или диктатор. Соответственно, судья часто ведет себя как монархи абсолютизма или диктаторы.

**Например, Леланд Гейлер — (видимо, гомосексуалист, судья по дальнейшему описанию судьи Каца) — в одно прекрасное утро пригласил «публичного защитника»\* и прокурора в свой кабинет. Неожиданно выйдя из пространства за картошкой, судья ткнул жужжащую модель мужского полового органа на электрических батарейках защитнику между ног, и при этом захохотал, как будто это была необыкновенно остроумная шутка.**

**Во время предварительного слушания дела, судья продолжал донимать защитника своей моделью мужского полового органа, несмотря на возражения прокурора.**

**Судья: Ха-ха-ха! А ну-ка засунь! Ведь об этом ты думаешь, а? Ты меня убеждаешь все больше и больше взять другой макет. (Клерку) Как батарейки?**

**Клерк: Я заряжаю. Они сильнее. Они — 15 вольт.**

**Судья (публичному защитнику): Джон, теперь у нас 15 вольт!**

**Клерк: И ручка длиннее...**

**Судья: Побейте, Джон. У нас есть для тебя батарейки на 15 вольт.**

**Публичный защитник: Мы разбираем сегодня тот случай с полицейским, Ваша честь.**

**Судья: Да нет, возьми его домой. Что еще?**

**Публичный защитник: Больше у меня вопросов к этому полицейскому нет, ваша честь.**

Как снять судью? Члены Федерального Верховного Суда назначаются президентом и конгрессом пожизненно. Снять их можно, как и президента США, с помощью импичмента.

\*То есть адвоката, которого суд назначает для неимущего подзащитного, платя ему 75 долларов в час, в то время как законник, нанимаемый частным образом теми, кто может себе это позволить, стоит в час в пять раз больше.

То есть такого судью должен судить сенат, и снять его можно, если за это проголосует две трети сената. Сложный, громоздкий, долгий процесс, который в случае с президентом Клинтоном ничем не кончился. Судья Кац считает, что в результате своего пожизненного назначения эти верховные жрецы правосудия «часто ведут себя как капризные самодержцы, одержимые манией величия».

А обычные судьи не назначаются, а избираются. Но тут опять загвоздка. Судью, который защищает справедливость, поиск правды, права отдельной личности, не изберут, а изберут судью, который поддерживает предрассудки большинства в данной местности вроде обязательности религии в государственных школах, хотя церковь отделена от государства. Существуют комиссии по наблюдению за судебной деятельностью, но ведь судьи должны быть независимыми, не так ли? И вот их независимость поворачивается обратной стороной и превращается в тиранию.

Если бы не вера судьи Каца в «светлое будущее», в «перестройку-поворот», то, возможно, его трагическую книгу и не напечатали бы. Как мне объяснил мой американский знакомый, мультимиллионер, американский оптимизм (напоминающий былой советский оптимизм, который Сталин, кстати говоря, заимствовал у США в начале 30-х годов) требует объяснения автором, как успешно преодолеть, перестроить, повернуть то трагическое положение, которое он изобразил («Ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами обливай! Эй, товарищ, больше жизни...»).

## **ДЕЛА, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕШИТЬ ЗА ПЯТЬ МИНУТ... ОСТАЛЬНОЕ НЕ СНИЛОСЬ И КАФКЕ**

В этой главе я ограничусь моим собственным опытом в двух гражданских делах. Как писатель-публицист сталкивается с судом? Либо на него подают в суд по обвинению в клевете, либо он подает в суд по такому же обвинению. Как участник и того и другого дела я коснусь их с точки зрения отсутствия правосудия, то есть темы бесправия личности при нынешнем феодализме в странах английского языка (за вычетом современных баронов в виде отдельных лиц или корпораций).

Сразу же по приезде в США я заговорил в консервативно-республиканских СМИ (а только они меня и признавали)

о наивности Запада в области «внешней политики» (читай: мировой геостратегии). В 1975 году я привел в своей статье в качестве примера наивность Черчилля и Голды Меир по отношению к Сталину. Будучи первым израильским послом в Москве, она передала Сталину списки советских евреев, желавших участвовать в войне Израиля за независимость. Еще бы! Ведь Сталин был лучшим другом Израиля!

Голда подала на меня в суд, предъявив иск на 3 миллиона долларов за клевету. Клевета — это (см. советский Гражданский кодекс) заведомо ложное фактическое сообщение. Прежде всего надо было доказать, что мое фактическое сообщение о Голде Меир — ложное. А я подношу судье два документа: книгу министра иностранных дел Израиля Аббы Эбана, где он упоминает промашку Голды, и письмо чиновника ее правительства, в котором тот пишет, как они уничтожили весь тираж книги выходцев из России о той же самой промашке Голды. Но только я посвятил ей один абзац, а тут целая книга воспоминаний жертв и очевидцев. Причем чиновник пишет, что один экземпляр книги он себе оставил. Как сувенир.

При наличии правосудия судья должен был прочесть соответствующий абзац из книги Аббы Эбана (20 секунд), затем письмо чиновника (2 минуты 40 секунд), а затем сказать (2 минуты): «Как Голда Меир может доказать, что сообщение ответчика заведомо ложное, если она не может доказать, в свете этих двух документов, что оно вообще ложное? Отклоняю иск. Следующий!»

В условиях правосудия «законники» Голды должны были ей объяснить, что ее дело проигрышное. Впрочем, возможно, она понимала это сама. То, что они получали почасовую плату и готовы были ее получать и производить свою писанину еще добрый десяток лет, — понятно. Но зачем ей это понадобилось?

Мне устроили встречу с американцем русского происхождения, корреспондентом нью-йоркской газеты, который меня читал, ценил и мне сочувствовал. Он спросил:

— Что она требует от вас? Туманного сожаления? Ни слова о том, что ваша статья — неправда. А просто, вы, мол, сожалеете о том, что ваша статья так или иначе причинила ей страдания.

— Да, но она и СМИ повернут это сожаление так, что, мол, моя статья — неправда, и я извиняюсь за нее — беру свои слова обратно.

— У вас нет другого выхода. Вы не понимаете, куда вы приехали. Вы уже осуждены и приговорены тем, что она подала на вас в суд. Тяжба — это ваше наказание. Вы теперь будете платить юристам годы и годы. А в состоянии ли вы платить им хоть неделю? Если у вас есть сбережения и собственность, все пойдет в их карманы. И вы все равно проиграете. У нее целая фирма самых сильных юристов в Нью-Йорке. А кого вы можете себе позволить? Да он вас продаст с потрохами этой фирме потому, что ему важно ее расположение. Она может пообещать ему взять его потом к себе. Как вы это проверите и кому что вы докажете?

Что же меня спасло? То, что я был отчаянным вольнодумцем из советской России и действовал наперекор всем нравам и обычаям. В штате Нью-Йорк появилось новое веяние: разрешение представлять в суде самого себя в качестве, так сказать, своего юриста. Некоторые левые слои демократической партии осознали, что не все американцы — миллиардеры и мультимиллионеры. Отлично! Я буду своим собственным юристом.

Законники Голды Меир исписывали горы бумаги, получая почасово, а я отвечал: «Не имеет отношения к делу». Это огорчало судью, и он каждый раз показывал гору бумаги, исписанной законниками Голды, а рядом мои странички и грустно спрашивал: «Почему вы не возьмете юриста?»

Видимо, в его представлении перевешивала та чаша весов Фемиды, где лежало больше не относящейся к делу писанины. Правота — это количество исписанной бумаги и полученной за нее почасовой оплаты.

Известен вопрос, приписываемый супруге Людовика XIV Марии Терезе и другим подобным лицам, вплоть до последней французской королевы Марии Антуанетты: Почему бедные не едят бриоши (сдобные булочки), если нет хлеба?» Но нью-йоркский судья превзошел их. «Ваша честь! — мог бы сказать я ему. — У французских королей не было недостатка в пирожках и сдобных булочках. Но вы-то сами разве миллиардер или мультимиллионер, которому ничего не стоит отвалить миллионы долларов на юристов? Ведь одно известное дело о клевете длилось 15 лет! Вы платите за дом в рассрочку, не так ли? Образование детей в перво-классном университете стоит 100 000 долларов на каждого. Да и медицина, курорты, минеральные воды ни для кого

полностью не бесплатны. И вы всем этим пожертвуете, чтобы платить юристам? А будете жить с семьей в ночлежке и питаться супом в кухне Армии спасения?»

Через год Голда забрала дело. Нельзя было бесконечно оттягивать сам суд, с присяжными, свидетелями, журналистами и прочим. Представьте себе в качестве свидетелей калек, выживших после пять лет сталинских лагерей, куда они попали благодаря наивности Голды. А уничтоженная книга об этом? Да это куда хуже! Тут уж не наивность! От такого Голда не отмылась бы и после смерти.

В 1997 году началось «обратное дело»: я подал в суд за клевету. А сходство в том, что и это дело могло быть, при наличии правосудия, решено за пять минут.

В сталинской России ловили шпионов. Впрочем, и в конце 60-х годов мой дачный сосед поэт Сурков утверждал во всеуслышанье, что я — израильский шпион. Довод Суркова был неотразим: «Он со своей дачи передает секретную информацию в Израиль». «Но откуда вам это известно?» — спрашивали у него. И тут он убивал всех наповал своей логикой: «А зачем же еще он купил дачу?»

После смерти Сталина среди «советской интеллигенции» шла не ловля шпионов иностранных держав, а, наоборот, каждый, кроме самого данного лица, подозревался в том, что он — стукач, сексот, агент КГБ. Но часто доводы были также неотразимы, как железная логика Суркова при доказательстве моего шпионажа.

Неудивительно, что в 1996 году два недавних выходца из России опубликовали в нью-йоркской русскоязычной газете «Новое русское слово» три статьи о том, что я был агентом КГБ в советской России, а с 1972 года — шпион в США. Этим недавние выходцы из России убивали двух зайцев сразу: с одной стороны, они разоблачали агента КГБ, как «советская интеллигенция» после смерти Сталина, а с другой стороны они ловили шпиона иностранной державы, как бесчисленные бдительные ловцы шпионов при Сталине. Разумеется, «иностранная держава» — не Израиль, ибо в отличие от Суркова, данные выходцы из России, да и большинство читателей «Нового русского слова» — евреи, и многие из них сочувствуют Израилю, а Россия, которая была заклятым врагом США «в годы холодной войны» и будет им, если в ней вернется диктатура. Так что разоблачить шпиона

России — «верх патриотизма» для некоторых приехавших в США из России на постоянное место жительства.

Один из двух упомянутых выше выходцев из России — автор бесчисленных советских романов и сценариев о ловле и разоблачении шпионов в советской России, Георгий Вайнер. Да, он был на самой вершине советской пирамиды власти и славы, членом высшего политико-идеологического класса советской империи. Но она — мог ли кто вообразить такое? — рухнула, вместе с КПСС, и обломок бывшей советской империи оказался в Нью-Йорке, где в 1995 году стал главным редактором газеты «Новое русское слово», (из какой-то он в 1997 году столь же внезапно и таинственно! исчез).

А во время своего краткого пребывания на этом посту, он лично предложил мне еженедельно публиковать свою колонку в газете. Согласно статье Вадима Ярмолинца («Русский репортер» 13-18 декабря 1995 г) в своем «Меморандуме» для сотрудников газеты, Вайнер причислил меня к «блистательной плеяде русскоязычных писателей и публицистов».

**Но вот Вайнер опубликовал в газете и представил читателям в самом радужном свете отрывок из книги, который United Jewish Appeal счел антисемитским. Вайнер позвонил мне и «заказал» статью в его защиту, но я назвал отрывок антисемитской галиматией и защищать его отказался.**

**И тогда в газете появились три статьи, последняя за подписью самого Вайнера (вскоре бесследно исчезнувшего из газеты), а две предыдущих — за подписью никому не известного лица по имени Борис Гарт. Каждая фраза трех статей доказывала, что глупее, невежественнее и бездарнее бумагомарателя, чем автор постоянной колонки в газете «Новое русское слово» свет еще не видывал, и при одном упоминании Наврозова нельзя не хохотать до упаду.**

Я не привожу всех подробностей моего разоблачения двумя ловцами шпионов и борцами против врагов народа, ибо оно не более интересно, чем тысячи подобных разоблачений в советской России, вроде разоблачения меня Сурковым в качестве израильского шпиона.

Одним словом, пошлейшая советская шпиономания, фальшивка на основе бульварных советских детективов, наглый и жалкий подлог. Судье достаточно было бы пяти минут, чтобы убедиться в этом, сличив мои работы с его фальсификацией ответчиками. Разумеется, ответчики знали, что их «сообщение» — ложное, но вместо пятиминутного решения

судьи, началась обычная писанина. «Новое русское слово» — мультимиллионер и вполне может отвалить законникам миллионы долларов, если дело будет идти 15 лет — вплоть до Верховного Суда США. Я же могу взять законника только с условием не платить ему ничего, а отдать ему одну треть из суммы, которую газета выплатит мне, в случае выигрыша дела по предъявленному мной иску на 11 миллионов долларов. Разумеется, законник должен верить, что дело выигрышное, ибо в случае проигрыша, он не получит ни цента, а работать ему придется, возможно, лет 10-15.

Но зачем вообще мне нужен законник? Ведь дело проще простого! Недавние «наши советские люди» вообразили себя высокопоставленными работниками советской пропаганды (каковым Вайнер и был вплоть до краха «советского государства»), а меня — врагом народа сталинских времен, наподобие Троцкого. Разумеется, они попрали в своей бдительности все законы о клевете всех цивилизованных стран, включая определение клеветы в советском Гражданском кодексе.

Но суть в том, что в деле Голды Меир моя роль ответчика была пассивная: защита, и Голда сбежала до суда присяжных. А в данном деле я выступаю истцом, моя роль активна, и я стремлюсь к суду присяжных. Да, дело само по себе проще простого. Но как уже сказано, ничего нет более сложного, запутанного, иррационального, чем феодальное средневековье и его судопроизводство. Если можно найти путеводитель в этом средневековом лабиринте с условиями оплаты, описанными выше, то почему бы и нет? Кроме того, согласитесь, что иметь слугу, который правит твоим лимузином или твоим судебным делом, — приятно. Живешь себе без забот таким фон бароном, а тот трудится в поте лица. Мой шофер. Мой адвокат.

Фирма моего первого законника размещалась в роскошнейшем помещении (в Манхэттене, разумеется) с мраморным вестибюлем. Но дело в том, что из одного миллиона американских законников, возможно, свыше 99% не только грабят, но и гробят своих клиентов. Они сами теряются в лабиринте средневекового судопроизводства. Они пасуют перед наглостью, упорством, энергией своих противников. Первого законника я уволил, несмотря на мраморный вестибюль.

Мой следующий законник был прекраснейшим человеком, начитанным, интересным, и когда мы расставались, мы

обнялись, и он грустно сказал: «Значит, вы меня увольняете?» Я ответил с чувством: «Друга нельзя уволить!» «Нет не как друга», — еще более грустно заметил он. — «А как юриста!»

Что же делать? В условиях правосудия он был бы прекрасным юристом. Впрочем, в условиях правосудия никакой юрист в данном деле вообще не нужен. Необходимы лишь пять минут правосудия в виде внимания низового судьи. Но в условиях средневекового феодального судопроизводства в США в конце второго — начале третьего тысячелетия этот замечательный человек с дипломом американского юриста не мог справиться со средневековым театром абсурда под названием правосудие в изображении Кафки, и мы расстались, ибо я не хочу, чтобы защитники театра абсурда сказали: «Ну, конечно, у вас был слабый юрист, потому что вы не платили наличными, скажем, 500 долларов в час». Мне нужен либо законник, способный справиться с судебным театром абсурда, или же я буду сам своим юристом, как в деле против Голды Меир. Только так я увижу, до какого абсурда может дойти судопроизводство в США.

А тем временем, в конце 1999 года низовой судья вынес решение по моему иску. Нет, не за пять минут. Дело было уже в судах свыше двух лет.

В своем решении судья пишет о фильме Оливера Стоуна об убийстве президента Кеннеди. Судья говорит, что Стоун сам не понимает, что происходит. (Видимо, судья не знает, что фильм основан на книге Джима Маррса, который приводит все бесчисленные версии убийства, не считая ни одну из них достоверной). Таким же образом построен и фильм. А судье пришло в голову, что три статьи о том, что я — агент КГБ со студенческой скамьи, а с 1972 года — шпион иностранной державы в США, — такие же неясные, непонятные и противоречивые, как фильм об убийстве Кеннеди (с его бесчисленными версиями убийства). Посему мой иск низовой судья отклонил.

Если бы судья был государственным чиновником, его бы тут же после этого решения сняли. Но английские бароны XIII века пуще всего боялись государства, исполнительной власти, правительства. Судебная власть стала вскоре независимой. Ну, а коль скоро она независима, судья может делать все, что его левая нога захочет.

Дело пошло на апелляцию, которую написал я сам, ибо необходимо было внести крупицу разума в средневековый театр абсурда, превосходящий воображение Кафки. Теперь дело будут решать пятеро судей, перед которыми будем выступать я и мой противник.

«Что вы сокрушаетесь?» — говорят мне друзья. — «Разве нелепое решение низового судьи не находка для вашей книги? Да вы должны процитировать его целиком! Такого и Кафке не снилось. Чем больше подобных документированных нелепостей, тем убедительнее, интереснее и страшнее будет ваша книга. Ибо она не художественный вымысел. А «документуар», документальный мемуар. Как и ваша книга «Воспитание Лёвы Наврозова». А те, кто ее превозносили до небес, пусть теперь посмотрят и на себя, на свою страну, на свою жизнь».





Виктор ЛЕВЕНШТЕЙН

## МЕТРОСТРОЕВСКИЕ «ДИВЕРСАНТЫ»

### или День в приемной Федеральной Службы Безопасности

Я сидел ранним утром на флоридском пляже. Солнце стояло низко, и песок был сырым после отлива. Я смотрел на волны и на летающих над океаном пеликанов. Молодая женщина в бикини прошла мимо меня по кромке воды и, встретившись со мной глазами, по милой американской привычке, улыбнулась мне. Она остановилась, поджидая двух маленьких детишек. Мальчик постарше отобрал у девочки мячик. Девочка заплакала. Женщина присела на корточки и, тыча в мальчика пальцем, строго сказала:

— You never do this again, you hear me?\*

И я вдруг вспомнил палец моего следователя на Лубянке, старшего лейтенанта Макарова, которым он тыкал мне в затылок и в лоб, приговаривая:

— Вот здесь, Рыбец подлючий, пуля в твой череп войдет, а здесь выйдет, когда мы тебя, гада, кончать будем, как вражину, который не разоружается перед следствием!

\*Чтоб ты никогда этого больше не делал, слышишь?

«Рыбец» было мое школьное прозвище. Как-то, когда я учился в пятом классе, моя мама пришла в школу Ребята, которые бывали у нас дома и знали ее, подошли к ней. Она спросила:

— А где моя рыбонька?

С тех пор я стал «Рыбонькой», а когда подрос, — «Рыбцом». Макаров, однако, настаивал, что «Рыбец» — это подпольная конспиративная кличка участника нелегальной антисоветской террористической молодежной группы, и называл меня «Левенштейн Виктор Матвеевич, он же — Рыбец».

Господи, да что это за наваждение, — подумал я, — вот уже 21 год прошел, как мы уехали из той страны, где была Лубянка, живем в Америке, на другом континенте, на другом земном полушарии, вон Атлантический океан плещется у моих ног, та страна осталась далеко, по другую сторону Океана, почему я опять вспоминаю прошлое?

Перед тем, как идти на пляж, я читал утреннюю газету. Новости из России сообщали о судебном процессе над русским человеком, обвиненным в шпионаже. Он, оказывается, собирал сведения о вооруженных силах, пользуясь официальным источником — газетой «Красная звезда». Вернулся домой в Америку несчастный Эдмунд Поп, которого держали в Лефортовской тюрьме, осудили на 20 лет по очень сомнительному обвинению в шпионаже и помиловали президентским указом. Недавно судили двух русских ученых по обвинению в измене и шпионаже за то, что они сообщали о загрязнении среды судами военного флота.

Мне довелось побывать в трех следственных тюрьмах, трех пересыльных тюрьмах и в трех лагерях, я встретил там десятки, если не сотни, людей, осужденных за шпионаж. Все они были такими же шпионами, как я был террористом.

Та же газета сообщала о том, что русский президент подписал закон о том, что красное знамя, этот символ тирании и агрессии, будет теперь военным флагом, а музыка сталинского гимна Советского Союза — гимном России (если Советский Союз нельзя вернуть, то хоть гимн возвращается!). И уже давно идет возня вокруг человека, владеющего независимыми средствами массовой информации. Его то обвиняют в коррупции, то оправдывают, то арестовывают, то освобождают. Куда идет эта страна? Как она может не помнить своего прошлого?

Вот маленький кусочек этого прошлого. Годы Большого Сталинского Террора не обошли нашу семью. В 1937 году арестовали моих родителей: отца — за принадлежность к «контрреволюционной диверсионно-вредительской организации на Метрострое» (что было ложью), мать — за то, что она была женой своего мужа (что было правдой). Маму выпустили в 1939 году, отец погиб в лагере.

Семь лет спустя после ареста отца, пришла моя очередь: я был арестован за участие в «антисоветской молодежной террористической группе и антисоветскую агитацию» (что также, как ни жаль в этом сейчас признаться, увы, было ложью). Как мы видим, единственное справедливое обвинение было у моей мамы, и ее-то как раз и освободили из московской Бутырской тюрьмы в числе тех немногих, кто вышел на волю, когда Берия сменил Ежова.

Я попал на Лубянку в числе 14 человек, студентов, многие из которых были друзьями еще с начальных классов школы. Обвинили нас в подготовке покушения на товарища Сталина. Время на Лубянке было либеральное, нас не били, нам всего лишь не давали спать: ночью допрашивали, а днем в камере (или в «боксе», где можно было только стоять) спать было нельзя по «режимным соображениям». Допросы сводились к угрозам пыток и расстрела, крикам и издевательствам, которые сменялись уговорами подписать все «по-хорошему» и обещаниями легких приговоров и жизни после лагерного срока. Семеро «признались» в том, что замыслили террористический акт, пятеро, и я в их числе, — «только» в принадлежности к антисоветской группе, двое не признались ни в чем. Если бы дело на этом кончилось, наиболее вероятный исход был бы расстрел для основного «террористического» ядра — 6 или 7 человек и десятилетний срок в каторжных лагерях для остальных.

## ПРИЕМ У МЕРКУЛОВА

Сведения о нашем деле каким-то образом просочились на волю, и о нас стали хлопотать разные влиятельные в то время люди. В результате мама одного из «террористов», член-корреспондент Академии наук Ревекка Сауловна Левина с еще одной мамой попали на прием к нарккому госбезопасности Меркулову. Меркулов их принял и сказал, что следствием

установлено: их сыновья участвовали в подготовке покушения на жизнь Вождя. Обе мамы поняли, чем это грозит их детям, и о себе забыли. Ревекка Сауловна стала кричать:

«И вы хотите, чтобы мы в это поверили? Вам стыдно должно быть! Война идет, а вы, вместо того, чтобы делом заниматься, детей хватаете и выдумываете idiotские обвинения! Сталина они убивать готовились? Еще какую небылицу выдумаете? Я — член партии с 1918 года, Вы тогда еще под стол пешком ходили! Я своего сына знаю и никогда не поверю вашим выдумкам! Это — преступление перед партией — то, чем вы тут занимаетесь!...» И, не помня себя, замахнулась на наркома стоящей на его столе чернильницей.

Меркулов, по-видимому, обязал разобраться в нашем деле, и дело попало в следственную часть по особо-важным делам НКГБ. Выяснилось, что квартира на Арбате, из которой предполагалось стрелять в проезжающий по Арбату автомобиль Сталина или бросать в него бомбу, окнами выходила во двор, а двор — в переулок. Обвинение в подготовке террористического акта, таким образом, лопнуло. Домой нас, однако, не отпустили. «Признавшихся» ранее в терроре обвинили в террористических намерениях (мол, хорошо было бы, если бы его убили). Они получили по 10 лет лагерей, остальные — по 5. Мы были молодыми и здоровыми ребятами, поэтому потери были, относительно, невелики: двое умерли в лагере, один сошел с ума и умер вскоре после освобождения, остальные выжили.

Три с половиной года спустя после аудиенции у наркома ГБ, в 1948 году, по обвинению в сионизме арестовали Ревекку Сауловну Левину. Ее подвергли страшным пыткам. В своем заявлении на имя председателя верховного суда она писала: «...Меня — тяжелобольную, с высоким кровяным давлением заставляли часами стоять на ногах, пока я не падала... Мне совершенно не давали спать ни ночью, ни днем в течение ряда недель... Почти ежедневно меня зверски избивали руками и дубинкой с металлической обмоткой. Били по рукам и ногам, по пальцам, клали на два стула и били по ягодицам, по спине, по половым органам и куда попало. Выбили передние зубы, отбили почку». Меня сажали полураздетую в карцер, в холодный и сырой подвал... Меня довели до такого состояния, что я и сейчас не могу

все вспомнить и сказать, что же я подписала в качестве «признаний». Ревекку Сауловну освободили в 1953 году. Вскоре после ее освобождения, моя мама встретили ее на улице. Сын помогал ей идти. В свои 54 года она выглядела глубокой старухой и полным инвалидом.

Моя жена маленькой девочкой пережила два ареста отца (он был членом Бунда — еврейской социал-демократической партии) и высылку матери с тремя дочерьми из Минска, где они жили.

Кончились черные сталинские времена, и четверть века спустя, в 1979 году, уже в «либеральное» брежневское время мы с женой решили эмигрировать из Советского Союза. Нашему сыну Матвею к этому времени было 18 лет. Он знал о судьбе своих дедов и отца, мы никогда не скрывали от него своих взглядов, он их разделял, но для него все это не было такой важной частью жизни, какой это было для нас. Он начал учиться в Архитектурном институте, у него были друзья, девушки, занятия живописью, интересная, благодаря нам, беззаботная московская жизнь. У нас была большая, по московским масштабам, квартира на Страстном бульваре, вблизи его института, у Матюши была своя комната. Группа его друзей по институту, человек 7-8 часто собиралась у нас после занятий, и, приходя с работы, мы заставляли у нас на кухне эту компанию славных и талантливых ребят, будущих архитекторов, а холодильник — опустошенным. Матюше не очень было понятно, зачем ему бросать эту счастливую для него жизнь и уезжать куда-то в неизвестность.

Советская действительность помогла нашему сыну принять верное решение. Среди его друзей была красивая девушка, которая училась вместе с Матюшей и часто бывала у нас. Отец ее был преподавателем института, где они учились. И как раз в те дни, когда мы обсуждали наши планы эмиграции и убеждали Матюшу в правильности нашего решения покинуть СССР, эта девушка рассказала нашему сыну, что сослуживец ее отца, о котором в институте все знали, что он сотрудник КГБ, сказал ее отцу по-приятельски, чтобы он не разрешал ей ходить к Матвею Левенштейну, потому что у него на кухне собираются ребята и болтают о политике, и там бывают такие разговоры, что для его дочери, да и для его самого, лучше будет, если она прекратит эту дружбу и перестанет туда ходить.

Матвей рассказал об этом нам. Было ясно, что, по крайней мере, один из этих симпатичных ребят, приходивших в наш дом, — кагэбэшный информатор. Случай этот помог нашему сыну понять, что как бы благополучно на поверхности ни складывалась его жизнь, у жизни в этой стране всегда существует второе измерение: в известном ведомстве существует некая папка, куда заносится все, что он сказал, и что при нем было сказано. И даже если прошлое его двух дедов и отца и не окажется его будущим, само существование такой папки является достаточным основанием для того, чтобы оставить эту страну, как бы ни был он к ней привязан.

Прошли годы, наш сын окончил в Америке два университета, стал профессиональным художником, женился и на медовый месяц молодые поехали в Европу. СССР к тому времени развалился, и наш сын решил показать своей американской жене свою, как говорят в Америке, old country — страну, откуда он был родом. Они приехали в Москву и встретились с той самой девушкой, которая в 1979 году предупредила нашего сына, что за ними следят. Девушка к этому времени стала матерью двух детей. Она рассказала обо всех бывших друзьях. О том, кто среди них был информатором КГБ, так и не стало известно.

Моего отца увели из дома, когда мне было 15 лет. Чем старше я становился, тем сильнее ощущал эту потерю. Я никогда не мог думать о нем спокойно. Мысль о нем всегда была болью. Эта боль была важной частью моего решения эмигрировать. Мне казалось, что я, скорее, смог бы простить власти то, что произошло со мной. Когда меня посадили, я был молод, здоров, мне повезло с лагерем — я отбывал срок в теплом климате, работал профессионально. Но то, что они сделали с моим отцом, я не простил. В нашем решении уехать из СССР важной частью было сведение личных счетов с властью, погубившей дорогих нам людей. У моей жены были свои счета с этой властью, у меня — свои, и главным было — отец.

Я вспоминаю сейчас, какими счастливыми и свободными мы себя почувствовали, подав документы на эмиграцию. На следующий день после подачи документов моя жена сказала мне:

— Я сейчас шла по улице и была счастлива. Я думала: «Я уже не с вами, я уже не ваша!»

Когда наша семья эмигрировала, казалось, что мы покидаем Россию навсегда. Мы прощались со всеми, кто там оставался, не надеясь когда-нибудь увидеться. Нас часто спрашивали наши американские знакомые, друзья, не скучаем ли мы по стране, где родились, не собираемся ли мы посетить СССР. Мы отвечали:

— Нет, не скучаем, нет, не хотим посетить.

И это было правдой. В коммунистическую Россию мы бы не вернулись никогда, даже туристами.

Но вот произошли события, потрясшие мир. На экране телевизора мы увидели многотысячные толпы людей на знакомой нам Вацлавской площади в Праге. Они звонили тысячами колокольчиков, связками ключей: — «коммунистам пора уходить, последний звонок!» Мы увидели тела убитых толпой румынских диктаторов и национальные флаги с дыркой в середине, в том месте, где была ненавистная коммунистическая эмблема. Мы увидели, как рушится Берлинская стена — позорный символ разделения Европы и коммунистического рабства. Мы увидели широкую спину Бориса Ельцина, только что положившего свой партбилет на стоп президиума съезда КПСС и уходящего по проходу между рядами кресел Кремлевского Дворца съездов под свист и улюлюканье депутатов. Мы увидели оборону московского Белого дома и прекрасные лица молодых ребят на баррикадах, и как, наконец, в новогоднюю московскую ночь над Кремлем был спущен красный флаг с серпом и молотом и вместо него поднят трехцветный русский флаг. Советский Союз перестал существовать!

Россия стала другой страной. Наряду с другими чудесами, которые тогда там происходили, стало известно, что КГБ дает возможность родственникам осужденных знакомиться со следственными делами. Я загорелся идеей увидеть дело своего отца, о котором я в то время знал только, что он был арестован НКВД в конце 1937 года, осужден на 5 лет, как враг народа, был послан в Ивдельский лагерь на Заполярном Урале, где умер, как гласила официальная справка, «от сердечного заболевания» в апреле 1942 года.

## СПАСИБО ТЕБЕ, ГОСПОДИ

Мы с женой прилетели в Москву в январе 1995 года, и по телефону я договорился о том, что смогу, как они сказали, «ознакомиться» со следственным делом моего отца. Задолго до назначенного срока я вышел из метро на станции, которая в советское время называлась «Площадь Дзержинского», а теперь — «Лубянская», поднялся наверх и увидел знакомую мне площадь, посреди которой торчал огромный уродливый пень — пьедестал бывшего памятника «Железному Феликсу» — Дзержинскому. Я живо вспомнил августовский вечер 1991 года в городе Коламбусе, штат Огайо, где мы живем.

Я ехал с работы на станцию обслуживания, где в 6 часов вечера было назначено время для профилактики моего автомобиля. Радио в машине было включено и, когда я стал подъезжать к станции обслуживания, началась передача последних известий о событиях в Москве. Я услышал голос репортера: — «I am standing in front of the headquarters of the dreadful KGB — the Soviet secret police in downtown Moscow. Listen to the crowd! They are going to destroy the monument to the founder of the KGB Felix Dzerzhinsky...»\*

Передавался репортаж о событиях, произошедших в Москве за 2 или за 3 часа до передачи. Репортер живо рассказывал о том, как вся Лубянская площадь заполнена народом, как к памятнику подогнали автокран, как обвязали памятник канатами и как он, наконец, повис в воздухе, сорванный с гранитного постамент, украшенного щитом и мечом — символами госбезопасности. Были слышны крики торжества, звуки гармошки или аккордеона, пение. Я приехал на станцию обслуживания и сидел за рулем, слушал ликующую толпу на Лубянке и плакал... В Москве происходили события, быть современником которых я не мог даже мечтать! Ломают символ самого отвратительного и преступного порождения этой гнусной власти. Спасибо Тебе, Господи, что мне дано дожить до этого великого часа! Впервые за одиннадцать с половиной лет, прошедших после нашей эмиграции, я пожалел тогда, что я в Америке, а не в Москве на Лубянской площади...

И вот я — в Москве и вижу эту площадь и опустевший постамент. Я не спешил. Мне хотелось ощутить значимость

\* «— Я стою перед зданием наводящего ужас КГБ, советской тайной полиции, в центре Москвы. Слушайте голос толпы! Толпа на площади собирается разрушить памятник основателю КГБ Феликсу Дзержинскому...»

этого момента в моей жизни. Я медленно прошел по площади к Политехническому музею, перешел под землей площадь к скверу у музея и увидел огромный булыжник из розового гранита, вделанный в квадратную черную плиту. На плите было написано: «Этот камень с территории Соловецкого Лагерь Особого Назначения доставлен Обществом Мемориал и установлен в память миллионов жертв тоталитарного режима 30 октября 1990 года в день Политзаключенного в СССР.» Сбоку от камня стоял большой щит, на котором сообщалось о сборе пожертвований на памятник «самой страшной из войн в истории человечества — войны, которую советское правительство вело против собственного народа».

## В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Я постоял у Соловецкого камня, дивясь и радуясь этим приметам произошедших перемен, перешел еще одним подземным переходом к зданию КГБ, прошел вдоль площади, потом — вдоль фасада, выходящего на Лубянскую улицу, мимо ворот, через которые летом 1944 года меня в воронке, автомобиле для перевозки заключенных, завезли внутрь этих отделанных черным гранитом стен. Обычного чувства, которое у меня было раньше, если доводилось проходить мимо этого здания, что мое место там, внутри, а я вот, счастливчик, по чьему-то недогляду, хожу на воле, больше не было. В кармане у меня был американский паспорт. С Лубянской улицы я свернул налево на Кузнецкий мост и напротив зоомагазина увидел знакомый дом с доской, на которой было написано: «Приемная Федеральной Службы Безопасности».

Я бывал там раньше. Первый раз — в начале декабря 1937 года с мамой, после ареста отца, узнавать, где он находится, второй раз — в конце того же месяца, с приехавшей из Николаева маминой сестрой узнавать о маме, арестованной через 2 недели после ареста отца. Собственно, в самую приемную, которая в то время называлась Приемной НКВД, нашего брата — родственника арестованных — не пускали. Во дворе, спрятанная от глаз уличных прохожих, стояла длинная очередь женщин. Был конец тридцатых годов, и длинные очереди были в городах обычным явлением. Но эта очередь была особой: никто ни с кем не разговари-

вал, никто ни на кого не смотрел, все старались спрятать свои лица друг от друга. Горе и страх висели в морозном воздухе этого просторного московского двора.

Очередь вела к маленькому окошку, где дежурный брал паспорт просителя, долго его изучал, потом, строго и подозрительно глядя на просителя, так что тот начинал чувствовать, как от страха сердце его бьется где-то у горла, так же долго сверял фотографию на паспорте с его лицом и, сверив, захлопывал окошко. Через несколько долгих минут («Боже, что он там делает с моим паспортом?») окошко открывалось, дежурный возвращал паспорт и коротко вещал: «Центральная следственная тюрьма», или — «Московская областная следственная тюрьма», или — «Бутырская тюрьма», или — «Лефортово», или — «Матросская тишина» (это все были следственные тюрьмы НКВД). Иногда ответ был: «Осужден. Десять лет без права переписки», и через много лет мы узнали, что эта страшная формула означала, что человек был приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение и человека уже нет... Но чаще всего ответ был такой же, как получили мы с мамой и, позже, с ее сестрой:

— «В списках не значится. Следующий!»

Мы узнали тогда, что есть еще один способ наведения справок: надо собрать продуктовую передачу и носить ее поочередно во все тюрьмы. Если арестованный находился в той тюрьме, куда вы пришли, и передачи ему были разрешены, продукты принимались. И вы, таким образом, узнавали, где он сидит и спустя месяц опять могли принести ему передачу. Способ этот был более верным. Беда была лишь в том, что очереди везде были длинные, и на каждую тюрьму уходил целый день. Я тогда изучил и запомнил географию всех пяти московских следственных тюрем НКВД — ни в одной из них наши передачи не приняли. Так мы и не выяснили, где мои родители находились. Я узнал потом, что и отец и мать были в Бутырках. Наш способ наведения справок не дал результата из-за того, что передачи им не были разрешены.

Оставаться долго в Москве мне было нельзя — меня бы забрали в детприемник НКВД для осиротевших детей врагов народа. Мамина сестра увезла меня из Москвы в Николаев.

## В ПРИЕМНОЙ ФСБ

Я вошел в Приемную. Сержант в знакомой форме госбезопасности с синими погонами сидел за обшитым деревянными панелями столом. С ним оживленно болтали трое или четверо молодых людей в курточках. Пожилой человек, вошедший с улицы передо мной, спросил дежурного, как ему узнать, решился ли вопрос о его пенсии. Дежурный объяснил, куда ему нужно обращаться. Я подивился, неужели все их палачи до сих пор государственную пенсию получают. Наверное, получают, — подумал я, — их ведь не судили, они должны быть законными пенсионерами.

— Вам что? — прервал мои размышления дежурный.

Я объяснил, зачем пришел.

— Вам в читальный зал нужно. Следующий подъезд по Кузнецкому. Как выйдете, налево. В нашем же здании, второй этаж, — сказал дежурный.

Это был настоящий читальный зал, какие бывали в московских библиотеках, с маленькими письменными столами, стульями и настольной лампой с зеленым абажуром на каждом столе. Окна выходили на Кузнецкий мост. На противоположной окнам стене был большой стенд с фотографиями и книгами. Часть зала была отделена стеклянной перегородкой. Я пришел первым. Людей в зале еще не было. За стеклянной перегородкой, за столом сидел человек в штатском костюме. Я подошел к нему и назвал себя.

— Мне сказали, что я могу ознакомиться с делом моего отца, Левенштейна, Матвея Акимовича.

Человек в штатском сказал, что сейчас принесет дело и вышел. В ожидании я стал рассматривать стенд. Фотографии показывали установку надгробных плит в местах массовых захоронений людей, расстрелянных в годы, как было сказано, «массовых репрессий»: плачущие пожилые женщины в платках, скорбящие мужчины без шапок, на одной из фотографий — православный священник в облачении, гранитные надгробные плиты с указанием лет захоронений, но без имен. Фотографии были сделаны на московских кладбищах и в подмосковных лесах. Мы потом видели маленькую черную гранитную плиту на Донском кладбище, позади крематория. Надпись гласила, что здесь находится общее захоронение людей, расстрелянных в 1943-1945 годах.

Я взял со стенда книгу, которая называлась «Расстрельные списки». Каждая страница книги состояла из 4-5 абзацев, посвященных расстрелянным людям. Имя, маленькая фотография, даты рождения и казни, короткие биографические сведения. Учителя, бухгалтеры, рабочие, инженеры...

Вошел сотрудник в штатском и протянул мне папку. Это было следственное дело моего отца. Я сидел в пустом зале, смотрел на лежащую передо мной на столе папку и чувствовал себя на похоронах. Папка была, как урна с прахом. Я давно знал, что мой отец умер. Сейчас я его хоронил.

## ОТЕЦ

Мои первые воспоминания об отце связаны с Николаевом, южном городом на Бугском лимане. Там я родился в большом доме, где жили папины родители. Помню, как я стоял в своей детской кроватке с сетками по бокам, а папа играл со мной в бокс и прыгал вокруг меня, делая вид, что боксирует со мной и защищался от моих ударов, а когда мой кулачок достигал его тела, он смешно падал на пол и поднимался и снова боксировал. Когда я подрос, и мы жили в Харькове, меня отправляли на лето в Николаев к дедушке с бабушкой. Отец часто тоже проводил там свой летний отпуск.

Эти длинные жаркие летние дни в южном городе... С утра мы с папой уезжали на трамвае в яхтклуб, брали с собой абрикосы и бутерброды и всю первую половину дня проводили на песчаном пляже широченного в тех местах Южного Буга, где вода из-за близости моря была соленой, и где, как в море, бывали приливы и отливы. Мы брали лодку, и папа полегоньку греб к «тому берегу», где в те годы были бесконечные арбузные бахчи. А иногда, для разнообразия, мы шли из дома пешком через Ингульский мост на Стрелку, где река Ингул впадает в Буг и где был прекрасный песчаный пляж.

Мы с папой возвращались домой, усталые от летнего зноя и с ощущением солнца на коже, быстро ели, и отец стелил постель на полу, чтобы было прохладнее, закрывались ставни, и мы ложились на белые выглаженные простыни. Было темно и светлые полосы от щелей между закрытыми ставнями лежали на полу. Солнце опускалось ниже, и тени от людей и экипажей, проходивших и проезжавших

мимо наших окон, проходили в этих светлых полосах на полу в направлении, противоположном их движению по улице. Лет через десять, когда на уроке физики, в школе, учитель объяснял нам, как преломляются световые лучи и что такое «камера-обскура», я вспомнил эти тени на прохладном полу, где мы лежали с папой в жаркие дни николаевского лета. Поделиться с ним этим воспоминанием я уже не мог: он был в Ивдельлаге, за Северным Полярным Кругом...

А вечером на длинный обеденный стол ставился самовар. бабушка во главе стола разливала чай, и за столом, вместе с нами и дедушкой, собирались приехавшие на лето «домой» мои замужние и незамужние тетушки и веселились, и хохотали, и разыгрывали близорукую и не желавшую носить очки сестру, и нежничали с моим отцом и с родителями, и звали друг друга только Мотенька и Дусенька, и Лизочка, и Симочка, и Асенька. За столом в Николаеве бывали гости: друзья, поклонники младших незамужних «девочек», родственники, и мне с детства запомнилась атмосфера взаимной любви, доброты и легкости отношений, отличавшая эту семью от большинства еврейских семей, с которыми мне приходилось потом сталкиваться, включая семью моей матери, где любовь всегда была тяжелее: требовательная, критическая и поэтому — неудовлетворенная и никогда — такая счастливая, как в этой семье, где я выросал и которую на самой заре своего сознания любил, еще не умея себе дать отчет — за что. И ностальгия по этой атмосфере осталась со мной на всю мою жизнь вместе с тоской и болью от разлуки с моим отцом.

Папу моего в семье обожали. Это можно было объяснить просто: старший сын, старший брат. Но я вспоминаю, как любили его все, кто с ним сталкивался: кузены и кузины, многочисленные родственники мамы, друзья. В нем была аристократичность манер и скромность, он умел слушать, говорил негромко, была в нем мягкость и доброта. Он всегда был аккуратен в одежде. Не было тогда немнущихся тканей, но у папы всегда были остро отутюженные складки на брюках. У него были красивые руки, и он следил за ногтями. Он рано просыпался по утрам и, пока мы с мамой спали, чистил до блеска свою и нашу обувь.

Уже в пору моего раннего детства у папы была лысина и остался тоненький мостик волос, который он аккуратно зачесывал слева направо. Он разрешал мне делать с ним

все, что угодно, когда мы играли, но он сердился, если я трогал этот «мостик», и я слушался.

Не помню, чтобы он кричал на меня. Один раз за все мое детство он съездил мне по физиономии, не помню за что, наверное я сделал, или сказал какую-нибудь вовсе непотребную гнусность. Часто бывало так, что моя мама, не в силах справиться со мной, кричала: — «Мотя, поговори с ним!» И отец говорил мне своим мягким голосом: — «Видишь ли...», и на меня эта мягкость действовала сильнее маминой горячности.

Мой отец учился в Киевском коммерческом институте и получил диплом кандидата экономических наук. Он работал в Харькове, на Украине, занимался там экономикой сельского хозяйства. Я начал учиться в школе. Поток официальной пропаганды, который изливался на нас в школе, дома ничего не противопоставлялось. Я рос, как тогда говорили, «советским школьником».

Тем временем, жизнь вокруг стала меняться. Я замечал грозные приметы этих перемен, но не задумывался над ними. Прошел процесс Промпартии. Газеты печатали карикатуры на инженеров в форменных фуражках с молоточками на околыше (мой отец носил такую фуражку), развинчивающих рельсы перед идущим вперед к Социализму поездом с надписью «СССР», или творящих всякие другие пакости. Появилось новое слово — «вредители». Я был маленьким мальчиком и не знал тогда, что уже с 1927 года по всей стране идет важная государственная работа: ломается хребет старой русской инженерии, составлявшей славу и гордость страны. Отец, вместо инженерской фуражки, стал носить кепку (шляпы давно уже стали атрибутом презренной буржуазии). Много лет спустя, в мамином старом хламе я нашел красивую фуражку с бархатным околышем и скрещенными молоточком и разводным гаечным ключом. На старых фотографиях моего папы в этой фуражке видна еще кокарда над этими молоточками. Кокарду сняли в 20-е годы, а в 1931 и вся фуражка была отправлена в сундук «до лучших времен», которые так и не наступили.

Пришла зима 1932 года. На улицах все чаще стали появляться беженцы из окрестных деревень. В грязной деревенской домотканной одежде, с черными опухшими от голода и обмороженными лицами, они робко просили «шматочок

хлиба» (кусочек хлеба), и мама относила им недоеденные остатки наших обедов. С хлебом у нас и у самих было плохо.

В доме, где мы жили, зимой отапливалась лестница и за двойными входными дверьми в нашем подъезде, перед лестницей, был небольшой вестибюль, где было тепло. Туда по ночам с улицы заползали ослабевшие от голода и холода беженцы. Многие там умирали. Утром мне надо было идти в школу. Я боялся этих жутких, почерневших, распухших мертвецов, и мама провожала меня до улицы... Прошло много лет, и уже в Америке узнал я, что уполномоченные ГПУ забирали в деревнях хлеб до последнего зернышка, а на границах Украины стояли заградотряды, чтоб никто не ушел, и чтобы миллионы украинских мужиков — хлеборобов, до того кормивших всю страну, были погублены.

В школе мне объясняли, что в деревне идет классовая борьба, организуются колхозы, в которых у всех будет богатая и счастливая жизнь, потому что сообща работать лучше и производительнее, чем поодиночке, но не все это понимают и бегут сдуру в город, где их ждет эта ужасная судьба. Для десятилетнего мальчика эти объяснения были убедительны (я только удивлялся, до чего эти деревенские дяди и тети глупые, что не понимают того, что мне, малолетнему школьнику, было понятно). Но как верили этому мои родители и окружающие их взрослые и умные люди? Или делали вид, что верят. Боялись?

Они, ведь, не могли не знать, что исчезали бывшие офицеры и солдаты Белой армии. В Харькове знали об арестах представителей украинской интеллигенции по обвинению в "буржуазном национализме". Из театральных афиш исчезли имена известных украинских актеров. Застрелился нарком просвещения Украины Микола Скрыпник, после того, как в газетах было сказано, что националисты прятались «за его широкой спиной». Люди, наверное, задавали себе вопрос: куда девались правые и левые эс-эры, бундовцы, меньшевики? Об арестах инженеров писали все газеты, и трудящиеся на собраниях и митингах требовали смерти «вредителям». Люди знали, что через всю страну в вагонах для скота гонят миллионы мужиков — в Сибирь на гибель только за то, что они отказываются идти в колхозы. Знали и о том, что арестовывают, мучают и отнимают все нажитое у быв-

ших нэпманов только за то, что они разбогатели, когда советский закон разрешил им богатеть. При этом знании, как не быть страху? Страх уже был. И страх был прекрасным помощником официальной пропаганды.

## МЕТРОСТРОЙ. ИССЕР АЙНГОРН

В Москве началось строительство метрополитена. В те годы это была одна из главных в странестроек, и в Москву с Украины перевели нескольких опытных шахтостроителей. В их числе был, живший в Харькове, наш родственник, муж маминой кузины и подруги Фиры, Иссер Григорьевич Айнгорн. Он в 1918 году вступил в партию большевиков, воевал в Гражданскую войну, отличился, был награжден орденом Красного знамени и, после войны быстро выдвинулся на хозяйственной работе, занимал ответственный пост в управлении шахтами Донбасса, дружил с председателем совнаркома Украины Чубарем. Айнгорна послали в Берлин и Париж знакомиться со строительством метро. После возвращения из-за границы его назначили заместителем начальника Метростроя, и Айнгорны переехали в Москву.

Из Москвы от Фиры стали приходиться письма с описаниями прелестей столичной жизни. Она писала, что чувствует себя одиноко без мамы и что Изэк (так она звала своего мужа) легко может устроить моего папу на работу в Метрострой с получением жилья в Москве. Мама загорелась мыслью о переезде в столицу.

Отец отнесся к этой идее более, чем прохладно. Его и раньше не привлекали Фирины знакомства «в верхах». Я помню, что мы только однажды были в гостях у Чубаря с мамой и Айнгорнами, отец с нами не пошел. Новыми знакомствами, которые вызывали мамин энтузиазм, отец тяготился. В обществе этих людей он не чувствовал себя на месте. У него был свой круг знакомых, который он любил. Это был брат Саша, друзья по учебе в Киеве, земляки-николаевцы, жившие в Харькове, или просто партнеры по преферансу, шахматам, бильярду и пинг-понгу. Мама, однако, настаивала на переезде. В ход пошли самые разные аргументы: жизнь в столице, учеба сына (то есть меня) в столичной школе и высшем учебном заведении, лучшее питание. Последнее соображение имело силу: жизнь в Харько-



ве на фоне всеобщего голода на Украине была более, чем скудной. В Москве было значительно лучше.

— Надо думать о питании ребенка, — говорила мама.

Отец уступил. В конце лета 1933 года он получил назначение на работу в Метрострое, и мы переехали в Москву. В ожидании жилья мы поселились в четырехкомнатной квартире Айнгорнов. Обстановка и атмосфера жизни в доме Айнгорнов были и для меня и, наверное, для моего отца совершенно новыми. Айнгорн по вечерам за столом рассказывал, что произошло на очередном совещании у Кагановича и как Каганович сказал, что «по этому вопросу надо посоветоваться с «Хозяином», и что «Хозяин» сказал, и чем «Хозяин» был доволен, и чем недоволен. И я понимал, что «Хозяином» Айнгорн и окружающие его люди называли Сталина. На Метрострое произошла известная авария, когда в центре Москвы в районе Неглинной улицы «плывун», то есть мокрый песок, прорвался в строящуюся подземную выработку, и стали оседать дома, и среди ночи надо было срочно переселять людей из домов, которые были под угрозой. Айнгорн занимался этим переселением и рассказывал дома, как он докладывал о ходе работы по телефону «Хозяину».

Я увлекся книгой, которую нашел на книжной полке у Айнгорнов. Это был «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого. Меня сразу же захватили приключения, которыми была полна чуть ли не каждая глава, и я читал книгу, тревожась за судьбу храброго, благородного, красивого героя, который следует голосу чести, защищает незаслуженно обиженных, униженных и оскорбленных и постоянно подвергает себя смертельной опасности. Опасность возникла от близости ко двору подозрительного, безмерно жестокого грозного царя, окруженного низкими и подлыми всевластными опричниками. И, по мере того, как я читал, уже не книжная, а настоящая тревога родилась в моей душе. Я смутно почувствовал какое-то сходство с тем, что происходило вокруг. Времена, когда это сходство уже многим бросалось в глаза и когда сам Сталин повелел, чтобы Иван IV почитался историками и киношниками, как исторически прогрессивный Великий Государь, а не как мрачный убийца и садист, были еще далеко впереди, да и опалы и казни, если уже и происходили, то в масштабах пока что малых и мне не были известны. И тем не менее, когда я

прислушивался к разговорам взрослых, я чувствовал в душе тревогу и страх за отца и мать. Мне было страшно от того ощущения близости ко «двору», которое было в доме у Айнгорнов.

Я начал учиться в школе, завел новых друзей, которые были интереснее и ярче моих харьковских, и забыл об этом странном чувстве. И только четыре года спустя, когда новые опричники увели из дома моих родителей, я вспомнил то предчувствие беды, навеянное книгой А. К. Толстого, которое было у меня в первые недели жизни в Москве.\*

## СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ

Мы получили квартиру в доме на Сретенке. В том же доме, жил папин начальник Сергей Георгиевич Боровиков. Он был холост и на правах соседа и коллеги часто заходил к нам — попить чаю, поиграть с отцом в шахматы. Я запомнил крупного, плотного телосложения, приветливого и добродушного человека. Боровиков несколько раз заводил один и тот же разговор, который увлек мое детское воображение и остался в моей памяти.

— Слушай, Матвей Акимович, — говорил Боровиков моему отцу, — давай напишем с тобой киносценарий! Напишем о том, что мы знаем — о нашей жизни. Это будет очень нужный и полезный фильм. Вот для таких, как он (Боровиков показывал на меня), для тех, кто молод и не знает, через какие трудности мы все, вся страна, прошли. Подумай только: ты человек из еврейской семьи, я — из русской. Это будет рассказ о том, как два человека с разным происхождением и воспитанием, оба в начале жизни далекие от революционных идей, вырастают и мужают вместе со страной, участвуют в великих делах, которые творятся в стране, и постепенно идеи Революции становятся смыслом их жизни. Закончим сценарий строительством Метро, — об этом еще не было

\*Во второй раз эта книга попала мне в руки в камере Лубянской тюрьмы (в тюрьме была хорошая библиотека конфискованных книг). В этот раз книга показалась мне наивной и детской, но меня поразили строки из авторского предисловия: ...« В отношении к ужасам того времени автор сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования...»

фильма, — энтузиазм труда на самом передовом фронте пятилетки! Кому, как не нам об этом рассказать!

Отец улыбался в ответ: — Я согласен, Сергей Георгиевич, это прекрасная идея, но у нас с тобой и без этого забот хватает, да и, думаю, что поздновато мне писателем становиться, я как-то, знаешь, привык в жизни то делать, чему меня учили и что я умею. Давай, лучше еще одну партию сыграем.

— Нет, я серьезно, — не унимался Боровиков: — у меня прост руки чешутся засесть за это депо, честное слово! Эх, закрутил бы я сюжет! Писатель во мне пропадает! Я спать ложусь и представляю себе сцены из своего фильма... Разные приключения вставим, чтобы захватить зрителя. Были у тебя в жизни приключения? У меня были. И любовь... Слушай, фильм будет колоссальный!

Отец вежливо посмеивался в ответ и расставлял шахматные фигуры.

**Я пытаюсь вспомнить свое отношение к отцу в этот последний московский период нашей жизни, когда я был старше. Я любил его, как всегда. Я уважал его и слушался, как мне кажется, беспрекословно. И в то же время я жалел его. Я не понимаю, отчего возникло это чувство — я никогда не чувствовал ничего подобного по отношению к матери. Но мне было жаль отца, я помню это. Мне трудно объяснить, чем это было вызвано. Может быть тем, что более активная мама подавляла его, и он со свойственной ему мягкостью уступал ей? Может быть тем, что он иногда чувствовал себя не в своей тарелке в обстановке нашей московской жизни и тогда казался зажатым и неуверенным в себе? А может быть это мое ощущение было предчувствием его будущей ужасной судьбы?**

Отец любил проводить время со мной. Он говорил о вещах, о которых я ни от кого больше не слышал: о нравственности и честности. Он говорил, что желает мне успеха в жизни, но я должен помнить, что порядочность важнее успеха и стремления к благополучию. Ни от учителей, ни от пионервожатых я ничего подобного не слышал. Он повторял много раз слово «долг», он вкладывал в это понятие большой смысл, и я чувствовал, что для него оно было важным. Отец занимался со мной математикой. Он научил меня в это время очень важному: умению видеть и ценить красоту математических решений, и я думаю, что это умение и возникающая из него любовь к точным наукам во многом определили мой выбор профессии. Он умел сделать

**занятия интересными, рассказывал разные занимательные истории, вроде той, как он бился над решением задачи на построение, которое никак ему не давалось, и как он лег спать, и решение пришло к нему во сне. Спустя 40 лет я показал эту задачу моему сыну и помню ее до сих пор.**

## МОЖЕТЕ ПОПРОЩАТЬСЯ С СЕМЬЕЙ

Через год с небольшим после нашего приезда в Москву произошло событие, послужившее ключом к началу той страшной беды, которая постигла нас вместе со всей страной — Сталинского Большого Террора. 1-го декабря 1934 года в Ленинграде был убит руководитель ленинградской партийной организации Киров. Я тогда учился в 5 классе, и по странному свойству детской памяти, запомнил события и обстоятельства дня, когда это стало известно. Я помню, как наша классная руководительница прочла нам газетное сообщение. Убийцу звали Николаев. И тут же, на большой перемене разыгралось действие. Упитанный румяный, с ямочками на щеках подвижный Миша Червонный вытащил из портфеля «стреляющую» рулетку. Это была метровая пружинящая стальная лента, свернутая в маленькой плоской круглой коробочке. При нажатии на кнопку, лента, распрямляясь, вылетала из коробочки и пролетала метра 3-4.

— Я буду Николаев, а ты будешь Киров. Беги! — кричал Миша Юре Муралову, и к восторгу класса лента рулетки ударяла в спину убегающего Юры.

— Падай, ты убит! — кричал Миша.

Я думаю, что и Миша и Юра запомнили этот день, как запомнил его я. И Миша и Юра, так же, как и я, покинули нашу школу зимой 1937-1938 годов после того, как их родители были арестованы.

Прошли процессы Зиновьева-Каменева, потом Пятакова-Радека. Газеты сообщили о суде и расстреле Тухачевского, Якира, Уборевича и других руководителей Красной армии, о самоубийствах Томского, Гамарника. По всей стране шли аресты. ГПУ стало называться НКВД.

Наступила осень 1937 года. Однажды в октябре, придя из школы, я увидел, как моя мама рвет фотографии, на которых был Боровиков. Мама была бледная, испуганная.

— Арестовали Боровикова, — сказала она.

9 декабря 1937 года ночью раздался стук в нашу дверь. На пороге стояли трое мужчин в военной форме и наш татарин-дворник — понятной. Отцу велели сидеть за столом в первой комнате, мне с матерью — оставаться на местах, где мы были — в своих кроватях во второй комнате. Один из военных, вместе с дворником, стоял у входной двери, двое других вели обыск. Через открытую дверь я видел папу. Он сидел одетый за обеденным столом. Лицо его было бледным и как-то сразу осунулось, как у больного. Он смотрел прямо перед собой. Я задвинулся в своей кровати, он посмотрел в мою сторону, и я увидел, как задрожали мускулы его лица. Он отвернулся. Военные, проводившие обыск, время от времени показывали ему книгу или письмо, спрашивали о чем-то, он отвечал. Внешне он был спокоен.

Я не думал ни о чем. Я сидел в кровати, смотрел на своего отца и чувствовал только ужас, бессилие, отчаяние и горе... Часа через два, закончив обыск, старший из военных сказал отцу:

— Можете попрощаться с семьей.

Я ждал, что он скажет мне, что это — недоразумение, что «там» разберутся, все выяснится, и он скоро вернется. Я ждал, что он это скажет, и у меня будет надежда. Вместо этого, он подошел ко мне, обнял меня и поцеловал.

— Помни, что я всегда был честным человеком, — сказал он. Я помню.

## ПЕРВЫЕ ДОПРОСЫ

И вот я сижу в Приемной ФСБ и передо мной лежит папка следственного дела моего отца. Я открыл папку. На первой странице было «постановление об избрании меры пресечения и заведении следственного дела». В нем говорилось, что Левенштейн Матвей Акимович изобличается показаниями Боровикова С. Г., как один из активных участников контрреволюционной диверсионно-террористической вредительской организации на Метрострое и обвиняется по ст. 58-8, 58-9 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР.

Первый протокол допроса был датирован 13 декабря 1937 г., то есть на четвертый день после ареста. В нем говорилось, что отец отрицает свою вину и заявляет, что не состоял в контрреволюционной организации.

Далее в деле был подшит протокол допроса С.Г.Боровикова от 26 ноября 1937 года. Показания Боровикова — это ключ ко всему делу.

### ПРОТОКОЛ ДОПРОСА С.Г.БОРОВИКОВА

**...ВОПРОС:** — Следствие располагает данными, что Вы являетесь членом контрреволюционной организации?

**ОТВЕТ:** — Да, я действительно являюсь членом контрреволюционной диверсионной организации, существующей на Метрострое в г. Москве.

**ВОПРОС:** — Укажите всех членов организации.

**ОТВЕТ:** — Членами контрреволюционной диверсионной организации на Метрострое являются:

- 1) Айнгорн Иссер Григорьевич — зам. начальника Метростроя,
- 2) Левенштейн Матвей Акимович — зам. начальника отдела инертных материалов Метроснаба, то есть мой заместитель,
- 3) Загребаяев Евгений Иванович — бывший белый, нач. отдела капитального строительства Венёвского карьера Метростроя,
- 4) Левченко Александр Иванович — начальник Метроснаба,
- 5) Старостин Константин Матвеевич — директор Венёвского карьера,
- 6) Блюмс Евгений Николаевич — нач. капитального строительства карьерного хозяйства Метростроя,
- 7) Панов Илья Иванович — гл. инженер карьерного хозяйства,
- 8) Я — Боровиков Сергей Георгиевич.

Позднее в деле я нашел справку о том, что Боровикова арестовали 16 октября 1937 года. Таким образом, до 26 ноября у следователей было достаточно времени, чтобы «обработать» бедного Боровикова, чтобы сломать его волю и искалечить его личность. Думаю, что произошло это не сразу. Был Сергей Георгиевич молод — 41 год всего, высок, крепок, физически силен. В каких «боксах» они его держали? Сколько ночей не давали спать, мучая непрерывными допросами от отбоя до подъема (а ведь в следственной тюрьме от подъема до отбоя спать нельзя ни минуты)? Какими угрозами запугивали его замученное бессонницей сознание? Сколько часов заставляли стоять? Расправой над какими близкими ему людьми угрожали? Как, сменяя гнев на милость, уговаривали его «по-хорошему» дать нужные показания, «раскаяться», ибо «нераскаянному врагу уж точно

9 граммов свинца в череп всадят, а раскаяние — это уже шаг к исправлению, в живых останешься, в лагерь пошлем, работать будешь, еще волю увидишь, молодой ведь!» А ведь в 1937 году еще и били, это в то «либеральное» время, когда я сидел, они поняли, что бессонницей и «психологией» можно и без битья всего добиться, а в 1937-м и зубы выбивали и почки отбивали...

Я увидел имя своего отца в списке людей, которых «заложил» Боровиков, но не было во мне ни обиды на него, ни злобы, — только жалость и печаль. Ибо, как сказал Александр Исаевич Солженицын: «Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто подписал лишнее... Не кинь в них камень.»

Я стал читать дальше.

**...ВОПРОС: — Когда и при каких обстоятельствах Вы были завербованы в контрреволюционную организацию на Метрострое?**

В ответ Боровиков рассказывает, что в Одессе было известно о его «белогвардейском прошлом» и, боясь преследований, он в 1933 году решил переехать в Москву. В Москве он «явился к своему хорошему знакомому», зам. начальника Метростроя Айнгорну И.Г., и тот принял его на работу, предложив скрыть его прошлое. В том же году Айнгорн рассказал, что он возглавляет на Метрострое вредительскую организацию и предложил Боровикову принять участие в ее работе и начать вербовку «верных людей для контрреволюционной работы».

**ВОПРОС: — Завербовали Вы кого-нибудь лично в контрреволюционную организацию?**

**ОТВЕТ: — Из числа указанных лиц я завербовал Загребаева Евгения Ивановича и Левенштейна Матвея Акимовича.**

**ВОПРОС: — При каких обстоятельствах Вами завербованы Загребаев Е.И. и Левенштейн М.А.?**

Боровиков показывает, что в середине 1937 года ему удалось разыскать своего бывшего сослуживца по белой армии Е.И. Загребаева, которому он рассказал о контрреволюционной организации на Метрострое и предложил ему принять в ней участие. Загребаев согласился, переехал в Москву, достал поддельные документы, в которых не указывалось, что он служил у белых и был за границей, и был принят на работу в Метрострой. Далее шел такой текст:

**«...Левенштейн М.А. мною втянут в контрреволюционную организацию еще в 1933 году. Левенштейн работал моим замом. Зная о его близких (родственных) отношениях к Айнгорну и считая его своим человеком, я рассказал ему о существовании контрреволюционной организации в Метрострое. Левенштейн согласился проводить вредительскую работу по моим указаниям...»**

Тут у следователей с Боровиковым неувязочка, подумал я. Если у Левенштейна с Айнгорном близкие родственные отношения, зачем же Айнгорну понадобилось вербовать Левенштейна, используя Боровикова? Не проще ли поговорить с ним самим? Следователей такие «мелочи», по-видимому, не смущают. У них есть Боровиков. Они его и «доют». Айнгорна надо еще посадить.

**...ВОПРОС: — Какие задачи ставила перед собой контрреволюционная диверсионная организация?**

**ОТВЕТ: — Контрреволюционная организация ставила перед собой задачи:**

1) Производить вредительство в строительстве Метро, рассчитанное на разрушение сооружений.  
2) Совершение диверсионных актов на Метро в случае войны.

3) Вербовку людей для диверсионной работы.

**ВОПРОС: — Кто именно и при каких обстоятельствах ставил вопрос о вредительстве, диверсии и вербовке людей в контрреволюционную организацию?**

**ОТВЕТ: — Айнгорн, беседуя со мной по производственным вопросам моей прямой работы, одновременно обсуждал со мной вопросы проводимого вредительства на строительстве Метро... Мы пришли к выводу о необходимости совершения диверсионных актов в случае войны. Айнгорн предложил мне подобрать надежных людей, которые могли бы выполнять задания по диверсионной работе.»**

Дочитав до этого места, я задумался. Основная идея следствия мне была ясна: им нужен был Айнгорн. Айнгорн был старым членом партии, вступившим в партию до «ленинского призыва», то есть до 1924 года. На таких «охотничий сезон» уже был открыт и отстрел шел полным ходом. Он был достаточно заметной фигурой сам по себе: заместитель начальника строительства метро в Москве — самой крупной и важной в стране по тем временам стройки. Кроме того, Айнгорн был дружен с В.Я. Чубарем, а Чубарь был для НКВД лакомым кусочком: член Политбюро, председатель Совнаркома Украины.

С моим отцом тоже все было ясно: он был заместителем и приятелем Боровикова, главного «разоблачителя» и, к тому же, — родственником Айнгорна, его обойти было нельзя, он был обречен. Ну а остальные члены «организации»? Загребаеву Боровиковым была определена роль особая, мы об этом прочтем ниже. О других мне ничего не было известно. Я продолжил чтение показаний Боровикова.

**...ВОПРОС: — Как практически вы должны были осуществлять диверсионные акты?**

**ОТВЕТ: — Имея установку о диверсии, я лично наметил план диверсии и практического ее осуществления в случае войны, или каких-либо других обострений между капиталистическими государствами и СССР. По моему докладу Айнгорну мы пришли к выводу, что в первую очередь необходимо будет совершить диверсионные акты путем взрыва туннелей станций в центре Москвы.**

**...ВОПРОС: — Кто именно должен был осуществлять диверсионные акты в метро?**

**ОТВЕТ: — Загребаев.**

**...ВОПРОС: — Изложите все, что вам известно о контрреволюционной деятельности Загребаева.**

**ОТВЕТ: — Загребаев в период Гражданской войны добровольно служил в белой армии. При эвакуации белой армии за границу он также с ними эмигрировал и вернулся из-за границы в Советский Союз в 1924 году. По приезде в СССР в г. Одессу он зашел ко мне на квартиру.**

**На мои вопросы Загребаеву о состоянии эмиграции, последний рассказал, что он, будучи в Болгарии, состоял в белоэмигрантской организации «Союз галлиполийцев», по заданию которой прибыл в СССР проводить контрреволюционную деятельность, а именно:**

**— Выявлять на территории СССР и сколачивать кадры из числа контрреволюционно настроенных лиц и бывших белых.**

**— Проводить диверсионные акты на важнейших стратегических объектах, как в мирное, так и в военное время.**

**— Совершать террористические акты против представителей партии и Советской власти.**

**Мы с тобой, обращаясь ко мне, заявил Загребаев, не должны сидеть сложа руки, а обязаны вести борьбу с тем, чтобы оказать белым содействие в деле свержения Советской власти.**

**В дальнейшем связь с белоэмигрантской организацией за границей Загребаев осуществлял путем приезда специальных лиц из-за границы для руководства контрреволюционной работой приехавших из-за границы белых.\***

Я перечитал показания Боровикова, его фантастическую историю вредительства и диверсии на Метрострое с обсуждением планов взрыва метро в кабинете заместителя начальника строительства в рабочее время, историю с участием бывших белогвардейцев и «специальных лиц», приезжающих из-за границы для организации подполья, когда в 1924 году бывший белоэмигрант Загребаев вербует Боровикова, а в 1937 году уже Боровиков вербует Загребаева; готовят взрывчатку и намечают станции метро для взрыва, и сразу вспомнил заветную мечту Боровикова о киносценарии («Эх, закрутил бы я сюжет! Писатель во мне пропадает!» — вспомнил я).

Боже мой, — подумал я: — вот он звездный час Боровикова! Замордованный, истерзанный, забитый, он пишет, наконец, свой сценарий — себе и другим на погибель...

По мере того, как я читал дело и делал выписки, зал заполнялся людьми. Пришли несколько пожилых женщин. День был холодный, и они были одеты по-московски: в шерстяных кофтах с теплыми платками на плечах. Все тот же сотрудник в штатском приносил папки с делами. За соседним со мной столом сидела женщина помоложе, с ней был мужчина в костюме и сорочке с галстуком (адвокат, подумал я). Они листали страницы лежащей перед ними папки, шепотом совещались, делали выписки.

Я продолжал читать папино дело. Вслед за показаниями Боровикова был подшит допрос моего отца, датированный 19 декабря 1937 г., — шел десятый день после его ареста.

Вначале все идет так же, как и в первом протоколе, составленном на четвертый день после ареста: следователь задает вопросы, он предлагает начать давать показания, подследственный отрицает свою вину. Но стоит следователю сказать: «категорически требую», как тут же следует признание и показания льются рекой. Объяснение этому странному феномену мы найдем ниже, в протоколе допроса, который состоялся год спустя, 15 января 1939 г. А пока продолжим чтение допроса от 19 декабря 1937 года.

**...ВОПРОС: — Следствие располагает точными данными, что вы являетесь участником контрреволюционной — диверсионной организации на Метро, о чем вы все время от**

\* Так в протоколе. Остается только гадать, что это значит!

следствия скрываете. Следствие категорически требует от вас правдивых показаний?

**ОТВЕТ:** — До сих пор я, действительно, пытался скрыть свое участие в контрреволюционной диверсионной организации, существующей на Метрострое в г. Москве. Теперь решил правдиво об этом рассказать.... Неоднократно в беседах со мной Боровиков рассказывал, что достижения, которые имеются в стране и о которых освещают в газетах, «это... обман, очковтирательство, фактически никаких достижений нет. По существу в стране нищета и периодами бывает голод. В силу этого в стране имеется много недозволенных существующим строем». Наличие с моей стороны таких же антисоветских взглядов дало основание Боровикову вовлечь меня в контрреволюционную группу.

**ВОПРОС:** — Когда и при каких обстоятельствах вы вовлечены в эту контрреволюционную группу?

**ОТВЕТ:** — Однажды в феврале 1934 года Боровиков поручил мне распределить инертные материалы и выслать на шахты. Материал этот был непригоден. Я пытался возразить Боровикову, но Боровиков и говорит: «Это делается не случайно, а по заданию вредительской организации, существующей в Метрострое и поскольку ты уже начал выполнять ее задания и твои антисоветские взгляды мне известны, ты должен продолжать и дальше...

Далее отец перечисляет участников организации, согласно списку Боровикова, за тем лишь исключением, что в нем отсутствует Загребаев, перечисляет задачи организации (вредительство, диверсионные акты, вовлечение новых членов). Он пересказывает те же акты «вредительства» и «диверсии», что содержатся в показаниях Боровикова. Я обратил внимание на то, что в показаниях отца нигде не упоминается Загребаев, согласно Боровикову, — главный «боевик» организации, связанный с заграничными белогвардейскими организациями и намеченный для осуществления диверсионных актов. По-видимому отец понятия не имел о Загребаеве, никогда с ним не встречался, и следователь «деликатно» обходит это обстоятельство. Закончив читать дело, я вообще усомнился в существовании Загребаева, у меня были основания заподозрить, что Загребаев — персонаж вымышленный, плод больной фантазии Боровикова.

В деле был подшит протокол очной ставки между Боровиковым С.Г. и Левенштейном М.А., проведенной 21 декабря 1937 г. Протокол короткий: оба подтверждают данные ранее показания о принадлежности к контрреволюционной органи-

зации на Метрострое. Когда дело доходит до состава участников, список здесь пополняется новым именем: Островский Вячеслав Михайлович, заведующий группой транспортных перевозок. В первоначальном списке, который следователи с Боровиковым составили в ноябре, Островского не было. По каким-то неведомым причинам, спустя месяц, им понадобился несчастный Островский.

После этого в следствии происходит перерыв — ровно один год. Двенадцать месяцев пустоты: ни допросов, ни очных ставок, ничего. Следующий протокол, который подшит в деле, датирован 15 января 1939 г., и он проливает свет на то, каким образом были добыты признания в контрреволюционной деятельности. Вот этот протокол:

**...ВОПРОС:** — Я следователь следственной части НКВД СССР мл. лейтенант Госбезопасности Сериков В.Г. 15 января 1939 г. объявил арестованному Левенштейну М.А. об окончании следствия по его делу. Что еще может арестованный Левенштейн М.А. добавить к имеющемуся по его делу следственному материалу?

**ОТВЕТ:** - К ранее данным показаниям добавляю: от ранее данных показаний решительно и категорически отказываюсь. Указанные показания являются ложными, клеветой на себя и на других лиц.\* Все материалы не соответствуют действительности. Об этом я писал в ряде заявлений, начиная с февраля 1938 года на имя Наркома Внутренних дел, Начальника отдела, следователя прокуратуры СССР. Причины отказа от показаний излагаю в заявлении, прилагаемом к протоколу.

Далее шло приложение, адресованное начальнику следственной части и написанное рукой отца:

## КОНВЕЙЕР

...«1) Я арестован 9 декабря 1937 г. Активный допрос продолжался с 13 декабря по 26 декабря 1937 г. и последний вызов меня к следователю был 13 января 1938 г. После этого... допрос был прерван... Перерыв в допросах продолжался около одного года (допросы возобновились 21 декабря 1938 года).

2) Во время активного допроса в декабре 1937 г. мои следователи не предъявили мне никакого конкретного обвинения,

\* Подчеркнуто в протоколе.

но предложили сознаться в контрреволюционной деятельности на Метрострое. На мое категорическое отрицание участия в какой-либо контрреволюционной деятельности... следователи гр. Пчелкин и Зайцев стали применять ряд физических и моральных воздействий на меня, которые выражались в следующем:

а) непрерывное стояние на конвейере\* на протяжении 7-8 суток, в результате чего у меня распухли ноги и руки; во время непрерывной стоянки... я терял сознание, и меня окатывали водой, чтобы привести в чувство; кроме этого меня били тяжелой папкой по голове, били в грудь и по ногам;

в) на протяжении всего активного допроса надо мной без конца глумились и издевались;

с) требуя моего признания, следователи угрожали мне арестом жены и сына;

д) в тех же целях мне было заявлено, что имеется распоряжение руководства следственной части о переводе меня в Лефортовскую тюрьму, где, как выразился следователь гр. Зайцев, меня «превратят в котлету», если я не признаю себя виновным.\*\*

3) Под влиянием указанных выше тяжелых моральных и физических воздействий, я стал на путь дачи ложных и неверных показаний. Ничего не зная о существовании на Метрострое контрреволюционной организации,... я все же вынужден был стать на путь подтверждения сфабрикованных обвинений.

4) Все подписанные мной протоколы показаний... были подсказаны, а в отдельных случаях прямо продиктованы мне следователями... Подписал я эти ложные показания, будучи доведен до состояния полного изнеможения и потери всякой воли и здравого рассудка.

\*Следственный «конвейер» — это метод допроса, когда подследственный стоит на ногах и, естественно, не спит в течение нескольких суток, а следователи допрашивают его непрерывно, то есть издеваются над ним, орут на него и угрожают пытками и расстрелом, сменяя друг друга, или выставляя на время перерыва (если их только двое и рабочий день у них меньше 12 часов) надзирателя, который следит, чтобы подследственный не прислонился к стене, не уснул стоя.

\*\*Читая это, я вспомнил одно из заявлений отца на имя Прокурора СССР о пересмотре дела, которые он посылал нам в письмах из лагеря. Он писал, что когда следователь Пчелкин издевался над ним и избивал его, отец сказал, что тот не имеет права так обращаться с ним, что в недавно принятой Сталинской Конституции имеется пункт о правах граждан. На это следователь Пчелкин заявил: «Своей Конституцией ты можешь подтереться. Здесь я — Конституция!»

5) О ложности и неверности моих показаний и допущенной мной глубочайшей ошибке я писал трижды в НКВД СССР, начиная с февраля 1938 г., то есть с момента, когда пришел в себя и осознал всю ошибочность и последствия этих показаний как для себя, так и для лиц, коих я оклеветал. В своих заявлениях я просил не верить этим показаниям и возобновить следствие по моему делу. После перерыва почти в целый год, следствие возобновлено было 21 декабря 1938 года и после двух безрезультатных допросов (следователь не записал ни одного протокола), мне предъявлен сегодня к подписи протокол об окончании следствия...»

Я отложил дело и стал размышлять о прочитанном. Господи! Какой должно быть ад творился в его душе весь этот год! Он ведь себя винил в том, что эти палачи довели его до неменяемого состояния, когда он подписал напраслину на себя и на других. Я представил себе, какой мукой было для него, с его представлениями о порядочности и чести, так для него важными, сознание того, что он подписал показания, в которых замешаны были другие лица. Он писал, что это его «глубочайшая ошибка», объяснял это «слабостью здоровья». Он не знал, что по всей огромной стране миллионы здоровых и больных, слабых и сильных людей, попав в страшную мясорубку подавления воли и личности арестованного, вот так же возводили на себя и на других фантастические обвинения в контрреволюции, во вредительстве, шпионаже, диверсии и терроре.

Поймут ли это люди, счастливо избежавшие его страшной судьбы? — подумал я. Со своим тюремным опытом я удивлялся не тому, что он подписал эту дикую ложь. Я удивлялся тому, что как только сняли с него жуткий пресс ежедневных допросов, он тут же одумался и стал писать: «Неправда это, клевета! Не верьте моим показаниям. Они вынуждены, ложны, возобновите следствие!»

Когда семь лет спустя арестовали моих товарищей и меня, то для нас, молодых и здоровых, как и для бесчисленного множества других, «активное следствие» было таким сокрушительным ударом по нашей воле и способности к сопротивлению, что мы, как ягнята, шли на поводу у следствия до самого его окончания...

## ДВЕ ФОТОГРАФИИ

К столу, за которым я сидел, подошел дежурный по читальному залу.

— Я принес вам фотографии и личные документы вашего отца, хранящиеся в деле. Распишитесь в получении.

Он протянул мне бумагу. Я расписался. Он положил на стол передо мной конверт и ушел. В конверте были членский билет профсоюза, удостоверения Метростроя и Украинского Совнархоза.

И там были две фотографии (*здесь приводится только одно фото - прим. ред.*).

Это были знакомые мне по моему делу тюремные фотографии: слева профиль, справа фас. Первая была сделана, по-видимому, вскоре после ареста. На ней у отца были знакомые мне коротко подстриженные усы, на щеках — отросшая за несколько дней щетина волос. Во внутренних тюрьмах НКВД арестованные не брились. Раз в неделю приходил парикмахер и машинкой для стрижки подстригал волосы на лице. Об усах он не заботился. По этим приметам я понял, что первая фотография была сделана, скорее всего, в течение первой недели после ареста, когда заводи́ли тюремное следственное дело. На папе была белая рубашка без воротника, расстегнутая на шее, шерстяной жилет и пиджак. Дорогое мне лицо его выглядело осунувшимся, серые глаза смотрели на меня с грустью. Сердце мое сжалось, я живо вспомнил отца в ночь его ареста. Мне показалось, что вот так он смотрел на меня, когда его уводили, когда я видел его в последний раз...

Я вынул из конверта вторую фотографию и почувствовал ужас. Это был того же формата профиль-фас тюремный снимок, но разница была разительная. Отец не был похож на себя. То, на что я смотрел, не было нормальным человеческим лицом. На фотографии была маска страдания и боли. На папе был тот же пиджак, но под пиджаком на груди было что-то белое — не то шарф, не то полотенце. На щеках была та же небритая щетина. Черты лица как-то опали, потеряли присущую им четкость, нос стал длиннее, вытянулся, сдвинутые к переносице брови образовали вертикальные складки на лбу и придавали лицу страдальческое выражение. Но хуже всего был замученный, затравленный взгляд из-под этих бровей.



автор на Лубянке в 1944 г. (из личного дела)



отец автора, тюремный снимок



Рыдание поднялось во мне и остановилось где-то ниже горла. Вся моя печаль об отце, все мое горе, с которым я жил, вдруг навалились на меня и стали душить. Я не мог дышать. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. Что-то стояло у меня в груди и не проходило... Наконец, я сделал один глубокий вдох, второй, третий... Наверное, я был похож на рыбу, вытасченную из воды. Ко мне подбежала женщина сидевшая за одним из соседних столов.

— Дать Вам валидол? Вам плохо? У меня есть валидол. Дать Вам?

— Нет, спасибо, не надо. Я — в порядке. Право, не надо. Спасибо!

Я еще подышал немножко и спрятал фотографию в конверт.

## РАССТРЕЛ БОРОВИКОВА

19 марта 1938 года, то есть, в то время, когда мой отец писал во все известные ему инстанции о том, что его признания ложны, что добыты они пытками, что Боровиков его никогда никуда не вербовал, и он сам никого не вербовал, состоялся суд над Боровиковым. В деле, которое я читал, была подшита справка, в которой говорилось, что Боровиков С. Г. был арестован 16 октября 1937 года, что в деле нет никаких документов, на основании которых был произведен его арест (?), но что на следствии он признал себя виновным. Далее в справке шел следующий текст:

**...В судебном заседании Военной Коллегии Верховного Суда СССР 19 марта 1938 года Боровиков виновным себя не признал, свои показания на следствии не подтвердил, считая их ложными, и заявил, что Айнгорн И.Г. его не вербовал.**

**Приговором той же Коллегии Боровиков Сергей Георгиевич был осужден по ст.ст. 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР к Высшей Мере Наказания. Приговор приведен в исполнение 19 марта 1938 г.**

У меня холод по спине прошел. Приговорили к смерти и расстреляли в тот же день. В тот же день! И за что? Дурацкий вопрос, конечно. Уж кому, как не мне знать, за что они сажали людей и расстреливали! Но тут человек, которого я знал. И потом этот фантастический самоговор, который я воспринял, скорее, как-то даже юмористически — так нере-

ально было все, что он наплел. И ведь отказался от своих показаний на суде!

Я вспомнил Боровикова, вспомнил, как он, приходя к нам, дарил мне книги из новой тогда серии «Жизнь замечательных людей». Он был человеком веселым, рассказывал смешные истории из своей гимназической жизни. Он не был женат, ему, видимо, было тепло в нашей семье. Моя мама говорила ему: «Смотрите, Сергей Георгиевич, мой Витя женится раньше вас!» Он пришел к нам однажды вечером, когда мы с папой занимались математикой, и долго разговаривал с мамой. Когда он, попив чаю, ушел, мама сказала: «Открою вам секрет: у Сергея Георгиевича — невеста; я так рада за него, он очень счастлив!»

Я подумал об этих людях: следователях, прокурорах, судьях. Они-то ведь знали, что все это липа! Ну, ладно, — в лагерь самый гибельный, им рабская рабочая сила была нужна, их социализм поганый строить. Но вот так, ни за что, взять и убить человека в расцвете его жизни? То, что Бога нет, и возмездия за грехи можно не бояться, им еще в детском саду объяснили. Но все-таки — убивать невинных людей! Шевелилось ли в их душах что-нибудь человеческое? Как они, приходя домой, смотрели в глаза своим детям? Как спали с женами? Непостижимо!

В деле были справки о судьбе двух других участников «организации».

**Островский Вячеслав Михайлович арестован 11 января 1938 г. Сначала не признавал себя виновным, но на допросе 28 февраля 1938 г. — признал. На закрытом судебном заседании Военной Коллегии Верховного Суда СССР 3 апреля 1938 г. Островский виновным себя признал. По ст.ст. 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР осужден к Высшей Мере Наказания. Приговор приведен в исполнение 3 апреля 1938 г.**

**Старостин Константин Матвеевич арестован 11 января 1938 г. На первых допросах вины не признавал, на допросе 10 марта 1938 г. вину признал. На закрытом судебном заседании Военной Коллегии Верховного Суда СССР 8 апреля 1938 г. вину признал и прежние показания подтвердил. По ст.ст. 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР осужден к Высшей Мере Наказания. Приговор приведен в исполнение 8 апреля 1938 г.**

Один вину признал 28 февраля, судим и расстрелян 3 апреля, второй признал 10 марта, судим и расстрелян 8 апреля. Оба, в отличие от Боровикова, признали свою

«вину» на суде, видно, не успели еще ко времени суда восстановиться их подавленные следствием сознание и воля. Но меня, почему-то больше всего ужасало, что расстреляли их всех троих, несчастных, в тот же день, когда суд был, или, наверное, — в ту же ночь.

## СУДЬБА ИССЕРА АЙНГОРНА

Я вспомнил рассказ человека, которого я встретил в 1945 году в пересыльной камере Бутырской тюрьмы. Он смерти ждал каждую ночь в течение 60 суток в камере смертников. Их там несколько человек было в камере, все осужденные к смерти, и все это время они не могли спать по ночам, так как ночью уводили на расстрел из их камеры и из второй камеры для смертников, что была рядом. И они сидели всю ночь и слушали: идут, или не идут, и если идут, то к ним, или в камеру рядом. Утром им баланду приносили, они ели и ложились спать (им днем спать разрешалось, это ведь не следственная тюрьма уже). Но это был уже не 1938 год. Они все апелляции подали на помилование, у них надежда была. Моему знакомому и заменили расстрел на 15 лет лагерей. А тут — никаких апелляций, и без всякой вины убили в ту же ночь!

О судьбе других метростроевских «диверсантов», включая главного «боевика» Загребаева, ничего не говорилось. Мне известно, что начальник метроснаба Левченко вообще не был арестован. Может быть и остальные трое (если Загребаев действительно существовал и не был лишь плодом фантазии Боровикова) остались на воле? А это значит, что к «списку Боровикова» в НКВД вообще всерьез не относились, и арестовывали и расстреливали по каким-то особым соображениям. А, может быть, просто выборочно?

Вспомним, что главой контрреволюционной, диверсионной, вредительской и террористической организации, согласно показаниям Боровикова, был Айнгорн. О нем в деле также имелась справка:

**Айнгорн И.Г. арестован 9 июля 1938 г. На первых допросах вины не признавал, но потом 26 сентября 1938 г. признал. А 25 июня 1939 г. виновным себя не признал. Дело два раза откладывали и только 15 марта 1941 г. был осужден ОСО на 8 лет ИТЛ\*, в 1954 г. реабилитирован.**

\* Исправительно-трудовые лагеря.

Таким образом, Айнгорна арестовали уже после того, как были расстреляны 3 участника «организации», которой он, якобы, руководил, а четвертый — мой отец отказался от своих показаний о существовании этой организации. Айнгорн был членом «номенклатуры». По-видимому, так просто они его взять не могли. Возможно, для того, чтобы его арестовать, им понадобились еще чьи-то показания, еще чьи-то аресты.

Жена Иссера Григорьевича, Фира, уже понимая летом 1938 года, что происходит вокруг, сразу же после ареста мужа, никому ничего не говоря, взяла с собой дочь и, бросив московскую квартиру с вещами на произвол судьбы, уехала в Одессу к своим дальним родственникам и тем самым избежала неминуемого ареста. Ее никто не разыскивал: проще было арестовать кого-нибудь в Москве, чем возиться с розыском.

Мы встречались с Иссером Григорьевичем в Москве, после его и моей реабилитации. Они с Фирой бывали у нас. Он рассказывал, как однажды на совещании «в верхах» о ходе строительства метро, проводивший совещание Каганович, устроил очередной «разнос» Айнгорну по поводу отставания сроков сдачи в эксплуатацию объектов строительства и закончил свою речь фразой: «И вообще, надо будет разобраться в троцкистском прошлом Айнгорна.» Айнгорн никогда не принимал участия во внутривнутрипартийной политике и с троцкизмом ничего общего не имел. Шел 1938 год, и такая фраза в устах Кагановича могла означать только одно: Кагановичу уже было известно, что Айнгорна должны арестовать и, скорее всего, он даже санкционировал его арест и теперь демонстрирует свою «бдительность» и от него отмежевывается. После совещания Айнгорн остался в своем кабинете, привел в порядок все бумаги и поздно вечером поехал домой. Как он и ожидал, его арестовали в подъезде его дома, в квартире шел обыск.

Иссер Григорьевич не говорил о своем следствии, а я не спрашивал. Фира рассказывала, что летом 1939 года, через год после его ареста, следствие было закончено, и его привезли на суд в Военную коллегия Верховного суда на Арбате. Председателем был Ульрих, тот самый, что председательствовал на открытых политических процессах 1936-1937 годов. Ульрих спросил:

— У Вас есть претензии к следствию?

— У меня нет, а вот у моей спины есть, — ответил Айнгорн, и показал суду исполосованную побоями спину.

Фира говорила, что при виде этой спины у Ульриха пошла изо рта пена, и он стал выкрикивать ругательства в адрес следователей, так неумело продемонстрировавших свою «работу». Айнгорн не признал себя виновным, и разгневанный Ульрих признал материалы следствия недостаточными для обвинения. Айнгорн, тем не менее, из зала суда домой не ушел. В том же самом «воронке», в котором его привезли в суд, его увезли обратно в следственную тюрьму. С этими сведениями совпадает фраза в справке: «25 июня виновным себя не признал».

Иссер Григорьевич рассказывал, что Особое Совещание (ОСО) его, все-таки заочно осудило незадолго до начала войны (как говорили у нас в лагере: «на нет и суда нет, а есть особое совещание»). Айнгорна, как опытного работника шахтного строительства, послали в лагерь на Печору. Он работал в комбинате Печоруголь, в конце срока был расконвоирован, то есть, мог передвигаться по определенной территории без конвоя и после освобождения был оставлен там же в ссылке. Жена его Фира поехала к нему и работала в Печорлаге вольнонаемным администратором театра, где актерами были заключенные.

Ссылный Айнгорн ездил в служебные командировки в Москву, в управление ГУЛАГа. Там его предупреждали, что днем по служебным делам он может свободно передвигаться по Москве, но ночью он должен быть осторожен: если его задержит милиция, он может получить лагерный срок — 5 лет за нарушение паспортного режима, и ГУЛАГ за него заступаться не будет. После смерти Сталина, во время одного из таких «нелегальных» приездов в Москву, Иссеру Григорьевичу повезло. Он зазевался на улице и едва не был сбит автомобилем. Ехавший в автомобиле чиновник узнал Айнгорна. Он оказался его старым знакомым, который в то время работал в только что созданной комиссии ЦК, занимавшейся делами реабилитации невинно осужденных в сталинские годы людей.

В результате, Иссера Григорьевича реабилитировали в 1954 году, когда «поздний реабилитанс» едва начинался и оставшимся в живых реабилитированным москвичам возвращали их прежние квартиры. Я бывал у них, и после

двадцатилетнего перерыва странно было вновь увидеть квартиру, где начиналась наша московская жизнь.

Мне довелось встречать старых большевиков, которым удалось пережить и пыточное следствие и многие годы убийственных лагерей и, несмотря на все это, сохранить веру в свои фальшивые марксистские догмы. В отличие от них, у Айнгорна хватило ума разобраться в произошедшем. Их дочь Майя, родившаяся в 1927 году и получившая свое имя в честь Первого Мая — Международного Дня Трудящихся, была переименована в Марину еще задолго до того, как Сталинград был переименован в Волгоград.

Иссер Григорьевич проработал какое-то время в коллегии Министерства Угольной промышленности. Он вышел на пенсию и умер от рака году в 1970. Мы хоронили его на Донском кладбище.

Член Политбюро ЦК ВКП(б) Влас Яковлевич Чубарь, как сообщают нам историки, был расстрелян после продолжительных пыток в феврале 1939 года. Всего за год до гибели Чубаря следователь дал моему отцу подписать протокол допроса, где говорилось, что контрреволюционная организация, в которую мой отец входил, обсуждала подготовку террористического акта против Молотова, Кагановича и Чубаря. Несколько месяцев спустя, по словам Фиры Айнгорн, от Иссера Григорьевича на следствии уже требовали компрометирующих показаний о Чубаре, с которым они дружили.

Вспоминается анекдот того времени: в тюремной камере трое арестованных выясняют, кто за что сидит.

— Я — за то, что критиковал Радека, — говорит первый.

— А я — за то, что хвалил Радека, — говорит второй.

— А я — Радек, — говорит третий.

Я перечитал справки о расстреле трех папиных однодельцев и понял, что отец мой чудом избежал смерти в марте-апреле 1938 года. Была там справка о том, что отец уже назначен был на Военную Коллегию, которая казнила трех его сослуживцев, но дело тогда задержали, а потом, по каким-то причинам, оставили. По-видимому, его спасло то, что он отказался от показаний до того, как дело пошло в суд (Боровиков отказался на суде, и это его уже не спасло).

Мне стало жутко от сознания того, как близко отец нахотился к той роковой черте. Но потом я стал думать о том, что слова «избежал смерти», «спасло» не очень то подходят здесь. Собственно, что он выиграл? Четыре года жизни, но какой: год в следственной тюрьме НКВД и три года в одном из самых гиблых лагерей — в Ивдельлаге, на Запоялярном Урале? И все-таки, подумал я, он был жив, он переписывался с нами и с сестрой и, кто знает, если бы не война, может быть, и уцелел бы. И уж конечно, если бы он был расстрелян тогда, пошла бы в лагеря моя мать.

Время, когда моему отцу объявили об окончании следствия, было примечательное. Сталину нужен был козел отпущения за тот кровавый кошмар, в который им была ввергнута страна. В декабре 1938 года Берия сменил Ежова на посту наркома НКВД, и в начале 1939 года выпустили из тюрем около одного-двух процентов ранее взятых, еще не осужденных, не расстрелянных и не умерших во время следствия.

Моя мама, арестованная вскоре после отца, попала в этот поток. И, читая материалы отцовского дела, я понял, что и отец был близок к освобождению в эти дни так же, как был он близок к смертному приговору в марте-апреле 1938 года.

8 апреля 1939 года его снова вызывают из камеры на допрос. На этот раз допрос ведет прокурор отдела по спецделам Осипов, присутствует следователь Сериков. Судя по всему, на этом допросе решается папина судьба — быть ему на воле, или не быть. И вот, что оказывается важным: прошлое.

#### **ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОТ 8 АПРЕЛЯ 1939 г.**

**...ВОПРОС:** — Уточните Ваше социальное происхождение.

**ОТВЕТ:** — К моменту моего рождения в 1889 г. мой отец занимался сельским хозяйством. В хозяйстве отца было 30 десятин наделенной земли, 8 лошадей, 6-7 коров, сельскохозяйственный инвентарь. Семья наша состояла из 10 человек. Наемную рабочую силу применяли только при косовице хлеба. Такое хозяйство у нас сохранялось до 1915 года. С 1915 года в хозяйстве была паровая мельница. В 1918 году хозяйство моего отца было разорено бандой Махно, и отец переехал в г. Николаев. В разоренном хозяйстве из членов нашей семьи оставался только я — до 1922 года. Я заведывал мельницей, ранее принадлежавшей моему отцу, а с 1918 года — национализированной. В 1922 году я переехал на жительство в г. Харьков...

**ВОПРОС:** — Сколько времени Вы служили в царской армии?

**ОТВЕТ:** — В царской армии я служил с 1910 по 1911 год в чине вольноопределяющегося.

**ВОПРОС:** — Сколько времени Вы служили в белой армии?

**ОТВЕТ:** — В белой армии я служил в 1919 году меньше двух месяцев. Это была армия Врангеля, куда я попал по мобилизации. Я служил в чине вольноопределяющегося, послан на фронт против Махно. В боях против Красной армии не участвовал. Заболел сыпным тифом и демобилизован был по болезни...

**ВОПРОС:** — Признаете ли Вы себя виновным во вредительской деятельности на Метрострое?

**ОТВЕТ:** — Нет, вредительство в Метрострое я не проводил.

Следствие окончено. 13 мая 1939 года пишется заключение по делу, и 20 мая прокурор Воронов утверждает это заключение. Вот его текст:

#### **ДЕЛО №14328 ГУГБ НКВД СССР ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по делу: Левенштейн Матвей Акимович, из кулаков, отец имел паровую мельницу, рабочих. 1889 года рождения, еврей, служил в белой армии, инженер-экономист.

Когда арестован: 9 декабря 1937 г.

Когда и по каким статьям предъявлено обвинение: 19 декабря 1937 г. по ст.ст. 58-8, 58-9. 58-11 УК РСФСР.

Следствие начато: 9 декабря 1937 г. окончено: 8 апреля 1939 г.

**В чем обвиняется: в том, что:**

— является участником контрреволюционной террористической организации,

— участвовал в подготовке терактов над руководителями партии и правительства,

— проводил вредительство в работе строительства метро.

Виновным себя Левенштейн в начале признал, впоследствии от своих показаний отказался. Как участник организации изобличается показаниями осужденного Боровикова...

Считаю необходимым предать Левенштейна суду, но учитывая, что единственное лицо — Боровиков, изобличивший его в контрреволюционной деятельности, осужден, передачу дела в суд считаю нецелесообразным. Поэтому полагал бы:

дело направить на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР.

Заключение прокурора по делу:  
Левенштейну определить 5 лет.

Военный прокурор ГВП

Воронов.

За этим следует приговор.

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних дел СССР

от 29 мая 1939 г.

Слушали: ...89. Дело №14328/ц по обвинению Левенштейна Матвея Акимовича, 1889 г. рожд., уроженца села Ново-Полтавка Николаевской обл., еврей, гр-н СССР, по мобилизации служил около двух месяцев у белых, из крестьян — колонистов-земледельцев, беспартийный, с высшим образованием, по специальности инженер-экономист.

Постановили: Левенштейна Матвея Акимовича за участие в антисоветской диверсионной организации — заключить в Исправительный Трудовой Лагерь сроком на пять лет, считая срок с 9 декабря 1937 г.

Дело сдать в архив.

Нач. секретариата Особого Совещания при НКВД СССР  
Марков

Выписка из протокола ОСО была напечатана на машинке. Поперек текста от руки карандашом было написано:

«Ивдельлаг».

Далее в деле были подшиты документы, связанные с реабилитацией. Они начинаются приказом провести проверку материалов дела на основании жалобы моей мамы на имя Генерального прокурора СССР. Пункт 3 приказа гласит:

**«3. Проверить Заявление Левенштейна о применении к нему незаконных методов следствия. Установить лиц, причастных к расследованию этого дела и допросить их по существу допущенных нарушений законности».**

## А ЧТО ЖЕ ПАЛАЧИ?

В 1956 году мой отец был реабилитирован — посмертно. В деле я нашел стандартную справку о реабилитации. Ну а как же «лица, причастные к расследованию этого дела», как было сказано в приказе о проверке дела? Были ли они «допрошены по существу допущенных нарушений законности», как там было сказано? Какие выводы по отношению к ним были сделаны? Были ли они наказаны?

Вот единственный документ, имеющийся в деле и отвечающий на эти вопросы:

### СПРАВКА

Проверкой установлено, что проводившие расследование по делу Левенштейна М.А. бывшие сотрудники НКВД СССР Сериков В.Г. — умер в 1956 г., а Зайцев Михаил Андреевич 1903 года рождения... в 1955 г. уволен из органов КГБ при Совете Министров Латвийской ССР по ст. 54 пункт «а» (по возрасту) с правом ношения формы. Пенсию получает в ФИНО КГБ при СМ Латвийской ССР.

Когда и как попал следователь Зайцев в Латвию неизвестно. Очень легко предположить, что — в 1940 году, когда вошли туда советские войска, и славные органы начали хватать латышских офицеров и политических деятелей, цвет и надежду молодого государства, и ссылать в лагеря и расстреливать в тюремных дворах и подвалах. А может быть, в 1949-м, когда прошла массовая ссылка прибалтов, и сажали уже всех заметных и влиятельных и зажиточных людей и всех, умеющих мыслить независимо, и семьи посаженных высылали в Сибирь на гибель?

Одно только можем сказать с точностью: послан был Зайцев в Латвию, когда срочно надо было наверстать там то, что было сделано дома за 20 предыдущих лет: обезглавить нацию и сделать покорной. И, разумеется, нужны были для этой высшей цели опытные и верные кадры, поднатревшие на боровиковых и левенштейнах.

Когда кончалась гнусная жизнь Михаила Андреевича Зайцева, также осталось неизвестным. Не знаем мы также, как справлялся он со своею совестью, получая свою пенсию в ФИНО КГБ в Риге. Думается мне, что хорошо справлялся. А если дожил он до краха империи и до того дня, когда Латвия вновь стала независимой страной, наверняка был Зайцев в рядах тех, кто гневно протестовал против «несправедливых притеснений» русского меньшинства в Латвии, удивляясь злой памяти латышей об акциях 1940 и 1949 годов.

О судьбе второго палача, следователя Пчелкина в деле не сказано было ни слова. Осталось также неизвестным, кто и как расследовал эти «нарушения законности». Думается, что такие же палачи. Дожили ведь до глубокой старости на жирных государственных пенсиях и мемуары писали главные вурдалаки Молотов и Каганович и иже с ними, росчерком пера посылавшие на смерть тысячи невинных людей. И уволен был из органов по возрасту в почете — «с правом

ношения формы» наш знакомый Зайцев. А сколько таких Зайцевых и пчепкиных — истязателей и палачей нашего народа, оставивших страшный кровавый след в истории и в памяти своей страны, доживают свой век в благополучии и почете?

В 1955 году заведующий районной юридической консультации в Москве Чайковский помогал мне составить прошение о реабилитации. Чайковский рассказал, что к нему пришел наниматься на работу уволенный из органов мой бывший лубянский следователь майор Галкин. Галкин имел юридическое образование — он как-никак был старшим следователем следственной части по особо-важным делам МГБ СССР. Чайковский заглянул в мое прошение и понял, что это — тот самый Галкин, который применял по отношению ко мне то, что тогда стыдливо называлось «нарушением норм социалистической законности» (как будто когда-либо существовала социалистическая законность и тем более ее нормы!). Благодаря этому совпадению, Чайковский Галкина на работу не взял. В Москве, однако, существовало еще добрых полтора десятка юридических консультаций, и можно не сомневаться в том, что Галкин без работы не остался.

После войны немцы захотели очиститься от своего прошлого, понимая, что без этого нельзя построить здоровое и процветающее общество. Всех немецких следователей, прокуроров и судей, служивших нацизму, судили гласные немецкие суды (не союзники, а сами немцы). Почему Россия не судила своих массовых убийц и палачей?

## **ВО СЛАВУ ВЕЛИКОГО УЧЕНИЯ**

Я не думаю о мести, Бог им судья. Я думаю об обществе, в котором палачи доживают свой век в почете и уважении. Чему это общество может научить людей, входящих в жизнь? Тому, что самое страшное зло может остаться безнаказанным, а справедливость вовсе не обязательно торжествует. Как может такое общество уважать закон? А без уважения к закону, как может оно быть здоровым и процветающим?

В 1956 году моя мама получила из КГБ справку о том, что ее муж, Левенштейн Матвей Акимович, умер в лагере в апреле 1942 года от сердечного заболевания. Отбывал он свой срок в Ивдельском лагере, на Заполярном Урале.

В канун нового 1948 года в Ангреном лагере, в Узбекистане, где я отбывал свой срок, мне довелось поработать в качестве писаря в комиссии по активированию. Активирование заключенных было одним из хитрых изобретений ГУЛАГа: для улучшения статистики активировать, то есть, освобождать по болезни безнадежно больных, а чаще всего — смертельно истощенных заключенных с тем, чтобы они умирали на воле, а не в лагере. Система губила людей тысячами, но по лицемерной ее особенности смертность в лагере в мое время все же считалась отрицательным показателем.

Основными болезнями, по которым проводилось активирование, были алиментарная дистрофия и пеллагра. Диагностировались они по внешнему осмотру. Голые, обтянутые сухой шелушащейся кожей, скелеты представляли перед комиссией, и я записывал, помимо других симптомов, поразившие меня тогда слова: «анус зияет». У этих людей не было ягодич! Я вспомнил эту комиссию, когда, выйдя на волю, увидел документальный фильм об освобождении в конце войны союзниками оставшихся в живых заключенных из нацистских лагерей смерти. Почти так же выглядели люди, проходящие перед комиссией по активированию в Ангреном лагерьном лазарете, где я под диктовку врача записывал диагноз.

Осужденные по 58-й статье (политические) в то время в Ангрене активировке не подлежали. У активированных был, хоть и слабый, но все же шанс остаться в живых, выйдя на волю, а осужденным по этой статье врагам народа нельзя было дать этот шанс. Они умирали в лагере. Кроме того, лагерь был большой, далеко не все доходяги попадали в лазарет, а на лагпунктах комиссия по активированию не работала. Так что люди умирали и в лазарете и на лагпунктах.

За колючей проволокой зоны нашего лазарета, в открытой взгляду степи, было кладбище. Специальная бригада, жившая в лазарете, копала общие могилы размером по числу людей, которых надо было хоронить в этот день. Бригада хоронила трупы и засыпала могилы желтой глинистой ангреномской землей. Мертвецы были завернуты в простыни вместо гробов, к лодыжке каждого мертвеца была привязана фанерная бирка с номером дела. Никаких табличек над могилой, никаких указаний имен не было. Из закопанной

ямы торчал лишь деревянный колышек, указывающий, что новую могилу надо копать в другом месте... А над въездными воротами в зону лазарета, над колючей проволокой, как и на всех лагпунктах ГУЛАГа по всей огромной стране, красовался лозунг-цитата:

**«Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. И.Сталин».\***

Чем старше я становлюсь, тем чаще я думаю о последних днях моего отца: как это было, о чем он думал, что он чувствовал в свой смертный час. Если бы Бог дал ему, действительно, умереть от сердечного заболевания, как гласила справка, то такая смерть бывает быстрой. А если нет... То, к чему я прикоснулся в Ангреном лазарете, происходило в мирное время, на Юге, в «Солнечном Узбекистане», где не было одного из главных губительных компонентов советских фабрик смерти — холода. А что творилось в голодные военные годы на Заполярном Урале? Когда меня в конце 1945 года гнали по этапу из подмосковного Бескудниковского лагеря в Ангреномский, на Куйбышевской пересылке встретил я человека из Ивдельлага. Он не встречал моего отца — лагерь был огромный, несколько лагпунктов. Он рассказал, что в годы войны в Ивдельлаге была ужасная доходиловка, люди гибли от голода, холода и непосильной работы. При рабочем дне, который длился двенадцать часов на морозе, и скудном питании, люди быстро слабели и не могли выполнять норму. За это им срезали и без того недостаточный паек питания. Они переходили в разряд доходяг и гибли от истощения. Теперь мы знаем, что из арестованных в 1936-1938 годах многих миллионов людей выжило в лагерях около 10%.

Проблем с рабочей силой для многочисленных строек, шахт, рудников, приисков и лесоразработок у Главного Управления Лагерьей НКВД — ГУЛАГа, тем не менее, не было. Следственные органы регулярно слали пополнение, так что заботиться о поддержании сил заключенных необходимости не было. Система работала четко, и с заданиями Партии и Правительства ГУЛАГ справлялся отлично.

\*Нацисты над воротами своих лагерей смерти писали: «Arbeit macht frei» — труд приносит свободу.

\*\*\*

Каждую весну мы с женой ходим на собрания, которые устраивает еврейская община нашего города для поминовения 6 миллионов жертв Катастрофы европейского еврейства. И не только евреи, но и христиане участвуют в осуждении нацизма. Чтобы не забыли люди, чтобы не могло никогда и нигде повториться то, что произошло в Германии при нацизме. И мы поминаем наших расстрелянных немцами мучеников.

И я думаю, почему нет Международного дня памяти миллионов жертв, без вины расстрелянных, замученных, забитых, заморенных голодом, холодом и непосильной работой во славу «Великого Учения» в России и на Украине, в Китае, во Вьетнаме и Камбодже, на Кубе и в странах Восточной Европы, — всюду, где устанавливалась власть этого «самого справедливого в мире общественного порядка»? Если напоминать людям о нашем страшном опыте, может быть меньше будет мечтателей о «Государстве Всеобщего Благоденствия» и «Справедливом перераспределении доходов» (чужих, разумеется) и, наконец, меньше шансов на то, что появится новый «вождь» и поведет за собой доверчивую, не знающую прошлого, толпу для повторения "Великого Эксперимента».

Георгий БЛОК

## ГЕРОИ «ВОЗМЕЗДИЯ»

В этом номере мы публикуем отрывки из журнала «Русский современник», выходившем в Москве и Ленинграде в 1924 году.

Несмотря на кровное родство (наши отцы — родные братья), ни родственной, ни другой какой-нибудь близости между нами не было. Не было, собственно, даже и того, что называется «знакомством». Был только один очень длинный разговор незадолго до смерти поэта. Мне хочется, тем не менее, рассказать то малое, что я помню о нем, и кое-что из того многого, что знаю о семейных его корнях.

\*\*\*

Нашего общего с ним деда Льва Александровича Блока я не застал в живых. Он умер за пять лет до моего рождения. В нашем доме было много его изображений: миниатюрный портрет белокурого юноши с оживленным лицом, вырастающим из непомерно высокого золотого воротника; потом бледный дагерротип 50-х годов, потом целый ряд фотографий зрелых и старческих. Я с детства любил это длинное, бюрократически-строгое, значительное лицо с холодными глазами. Позднее, когда я читал Тургенева и Достоевского, я по-ему-то наделял наружностью деда двух особенно привлекавших меня героев: отца из «Первой любви» и Версилова из «Подростка». Эту наружность унаследовал внук — Александр Александрович.

В действительности Лев Александрович, судя по рассказам, не был ни строг, ни холоден.

Правовед одного из первых выпусков, однокашник Победоносцева, Ивана Аксакова и Дмитрия Стасова, он начал и кончил жизнь петербургским чиновником, человеком устой-

чивого, традиционного быта, очень далеким от движения тех освободительных страстей, которыми болели многие люди его поколения. Он был статен, всегда изящно одет, изысканно по-старинному учтив, общителен, подвижен (ходил мелкими, быстрыми шажками), превосходно владел французским языком. Был легкомыслен, сентиментален и скуповат.

— Когда мы с Ариадной Александровной были женихом и невестой, — рассказывал он как-то, — и нам приходилось расставаться, мы выбирали на небе звезду и в разлуке, в условный час оба на нее смотрели.

При этих его словах жена Ариадна Александровна отворачивалась, вздыхала и печально махала рукой.

Незадолго до смерти Лев Александрович вышел в отставку и заболел странной, по-видимому, душевной болезнью. Он переехал с женой в Германию, жил очень замкнуто. Мелочная аккуратность, которая свойственна была ему и ранее (и которую вместе с наружностью он передал все тому же внуку), теперь стала маниакальной. На все предметы заказывал колпачки и футляры. Ему казалось, что он кем-то разорен и, сводя на бумажке нескончаемые счета, он все бормотал про себя по-немецки какие-то цифры.

У моего отца хранился посмертный гипсовый слепок с его маленьких, стройных рук, сложенных накрест — на вечный покой.\*

\*\*\*

Нашу бабушку, Ариадну Александровну Блок, помню очень хорошо. В молодости — по семейным преданиям — она была такая красавица, что на балах танцующие останавливались, когда она появлялась в дверях. Глядя на ранние ее портреты, этому можно поверить. Приходилось слышать от нее рассказы о трудной девичьей жизни в доме у крутого, много-семейного отца. Мне думается, что, когда в начале 50-х годов во Псков приехал молодой петербургский камер-юнкер, то под кленами губернаторского сада ему легко далась победа над грустной провинциальной барышней. Но и в замужестве счастья ей досталось немного.

Она рано замкнулась, никуда не выезжала, стала одеваться по-старушечьи, почти каждодневно ходила в церковь.

\*Его смерть в нашей семье окружена была какой-то тайной. Кажется, он умер в психиатрической лечебнице.



Мне пришлось слышать, что в Новгороде, где довольно долго служил ее муж, был у нее какой-то поклонник, в величайшей степени благоговейный. Исход своей любви он нашел в том, что писал акафисты разным святым и приносил их ей. Эти акафисты за всю долгую жизнь Ариадны Александровны были, насколько я знаю, единственным ее прегрешением.

Еще менее, чем муж, обладала она теми свойствами, которые придают людям так называемое «общественное значение». Но чтит ее все, кому доводилось вступать в ее тихий круг. Мне она представляется совершеннейшим образцом женской простоты, в русском понимании этого слова. Сохранились письма ее к детям — они полны захватывающей кротости.

Она памятна мне уже старушкой. В черной кружевной наколочке на темных волосах, гладко расчесанных на прямой пробор, молчаливая, очень робкая, всегда печальная, с усталыми глазами. Она вся жила внуками, детьми единственной любимой дочери.

Сыновья бывали с ней иногда суровы. Помню, она рассказывает:

— От Саши получила письмо. Опять такое сердитое.

А мой отец ей отвечает:

— Ты наверное ему все пишешь про то, как у Кирюши живот болит. Еще бы ему не сердиться.\*

Вспоминается еще, как встретил ее раз осенью на углу Невского и литейного.

— Вот иду в казначейство за пенсией и не решаюсь через улицу перейти.

Умерла она зимой. На похороны приехал из Варшавы сын Александр Львович и шел за гробом в косматой шубе, сшитой ему еще отцом двадцать пять лет назад, к выпуску из университета\*\*. С кладбища мы возвращались вместе в карете. Когда въезжали на Николаевский мост, Александр Львович, глядя на тот берег, сказал:

**Светла**

**Адмиралтейская игла.**

И улыбнулся смущенно.

\* Мой отец ошибался. В мае 1885 г. Александр Львович писал матери из Варшавы так: «Когда будешь писать мне, то, пожалуйста, не стесняйся моими отвлеченными «настроениями» — я ведь и «житейское» многое люблю, особенно на далеком расстоянии, и самые даже обыкновенные известия из далека, из привычного, милого далека, всегда наводят на меня своего рода «мечтательность».

\*\* Эта шуба воспета в «Возмездии».

\*\*\*

...Какие тени  
Легли вдоль этого лица.

«Возмездие»

Вокруг Александра Львовича — «дяди Саши», как у нас его называли, — выросло в нашей семье множество сказаний. Встретаться с ним нам, детям было довольно страшно. Еще до первой из этих встреч я успел подслушать, что он живет где-то очень далеко, в Варшаве, живет совершенно один, в грязной, странно обставленной квартире. От него убежали две жены. Он их бил, а одной даже нож приставлял к горлу. Пробовал будто бы истязать и детей. И детей от него увезли.

В альбоме была его фотография. Он на ней очень красив, повернут в профиль — еще молодой. «Жестокий» взгляд, угрюмо опущенное лицо как нельзя более соответствовали страшным рассказам о Варшаве, одинокой квартире и ноже.

Когда он — впервые на моей памяти — появился у нас, то оказалось, что наружность у него совсем не такая величаво-инфернальная, как я себе представлял. Он был не очень высок, узок в плечах, сгорблен, с жидкими волосами и жидкой бородой, заикался, а главное — чего я никак не ожидал — он был робок, совсем, как бабушка. Садился в темный уголок, не любил встречаться с посторонними, за столом все больше молчал, а если вставлял словечко, то сразу потом начинал смеяться застенчивым, неестественным, неселым смехом.

И только когда он остался вдвоем с моей матерью и стал, не глядя на нее, тяжело заикаясь, говорить деревянным, монотонным голосом и когда несколько раз подряд сказал: «мои жены», — только тут вспомнились опять Варшава и нож.

В «Возмездии» его портрет написан жестко, но верен — в отдельных чертах (с общим толкованием этих черт я коренным образом не согласен). В деталях этого портрета смущает меня одно — «льстивый взор». Это просто (как ни странно) ошибка. Не льстивый, а робкий, стыдливый, точнее всего — затравленный.

Помню хорошо одну тяжелую минуту. Я выходил из комнаты и резко отворенной дверью ударил шедшего мне навстречу Александра Львовича. Он не вскрикнул, не рассердился, только улыбнулся по обыкновению смущенно, как

будто говорил: — я знаю, ты это сделал нечаянно, но если бы даже нарочно, я все равно так же бы промолчал и так же бы улыбнулся, потому что ничего другого мне не остается. — Это «ничего другого не остается» я почувствовал в эту минуту с полной отчетливостью.

Припоминаю еще другой (внешним образом тоже незначительный) случай. Как-то раз моему отцу пришлось попросить у Александра Львовича денег в долг. Они об этом переписывались, а затем самая передача произошла у нас, когда Александр Львович приехал в Петербург. Кроме меня дома никого не было. И вот я помню, как эти два старика, стыдливо прячась от меня, как-то по-мальчишески неловко ушли в угол темной прихожей, под вешалку, и там старший брат сунул младшему деньги. Вышли оттуда оба очень жалкие.\*

Мы стали знать об Александре Львовиче больше с того времени, как моя сестра поселилась в Варшаве и он сделался частым ее гостем. Он очень любил родственников, и любовь эта была, по-видимому, какая-то принципиальная. Ради моей сестры он отказывался даже временами от затворничества и водил ее в театр. Однажды, несмотря на действительно гарпагоновскую скупость, он захотел сделать ей подарок — книгу и спросил, какую она хочет. Сестра попросила стихов. Он подарил ей Фета.

Я был у него в его варшавской квартире. Он сидел на клеенчатом диване за столом. Посоветовал мне не снимать пальто, потому что холодно. Он никогда не топил печей. Не держал постоянной прислуги, а временами нанимал поденщицу, которую называл «служанкой». Столовался в плохих «цукернях». Дома только чай пил. Считал почему-то нужным экономить движения и объяснял мне:

— Вот здесь в шкапу стоит сахарница; когда после занятий я перед сном пью чай, я ставлю сюда чернильницу и тем же движением беру сахар, а утром опять одним движением ставлю сахар и беру чернильницу.

\* Не всегда, впрочем, денежные дела разрешались братьями мирно. Сохранилось любопытнейшее письмо Александра Львовича из Рима, где он в утонченно-язвительных выражениях упрекает моего отца за намерение продать находившийся в общем их владении клочок земли «Через несколько лет, — пишет Александр Львович, — я рассчитываю возобновить свою семейную жизнь, м. б. даже выйду в отставку (лет через десять), — тогда, если не раньше, мне непременно понадобится именно такой пустырь». Это было спустя пять лет после разрыва с первой женой. (Разрядка моя. Г. Б.)

Он был неопрятен (я ни у кого не видал таких грязных и рваных манжет), но за умываньем, несмотря на «экономии движений», проводил так много времени, что поставил даже в ванной комнате кресло:

— Я вымою руки, потом посижу и подумаю.

Однажды, вернувшись откуда-то, он нашел свою квартиру запертой. Эту ночь он проспал на одной из скамеек Иерусалимской аллеи.

Деньги прятал в нотах.

В его квартире все вещи оставались до самой его смерти в том точно виде и на тех самых местах, как они были в день ухода его второй жены. Он сам рассказывал, что по вечерам он часами сидел, не сводя глаз с пустой кровати дочери.

За все это, как и сказано в «Возмездии», его привыкли считать чудаком.

Только раз мне пришлось слышать его игру на рояле. Он играл с необыкновенной, порхающей легкостью, но удар — как и голос его — был деревянный, чужой, нечеловеческий. Он играл что-то из «Руслана и Людмилы». Помню арию Фарлафа «Близок уж час торжества моего». Потом с большой, нежной страстностью заиграл радостную арию Руслана «О, моя Людмила». На середине вдруг резко оборвал: — мне показалось — от смущения. Засмеялся, как всегда, дребезжащим смехом.

В Петербург он приезжал раз или два в зиму — навещать детей. Остановливался в каких-то темных номерах — на Измайловском проспекте, поближе к дочери.

Мне особенно памятен один его приезд, в 1908 или 1909 году. Я готовился к экзамену, чуть ли не по государственному праву. Мы остались наедине, и он стал говорить со мной по своему предмету. Помню, как меня, затертого профессорскими шаблонами, поразил необычайно широкий охват его учености и вызывающая едкость суждений. Он особенно взволнованно говорил о Византии. На моих глазах разгорался затаенный, темный огонь. Потом перешли к вопросам более общим, частью и к политическим.

«Сей Фауст когда-то радикальный» стал к концу дней в самом деле убежденнейшим, безоговорочным консервативом. Передо мной в языках того же темного огня вырастала целая новая система политического мышления с бурным антисемитизмом во главе угла.

Я не знаю темы его основного сочинения, того, на которое ушла вся его жизнь и которое так и осталось неоконченным и нерасшифрованным. Знаю только, что работа была изысканно-мучительна. По-видимому книга была давно написана и дело сводилось к затяжной, кропотливой переработке, главным образом к сжиманию содержания в рамки какого-то условного, сугубо-насыщенного языка.

Мне приходилось слышать, что среди студентов Варшавского университета, где он более тридцати лет читал государственное право, у него не было равнодушных слушателей: — были враги (огромное большинство) или страстные приверженцы. Такие насчитывались единицами. Рассказывая в одном из писем к матери о своих университетских занятиях, он говорит: Утешает мысль, что «ныне силы небесные с нами невидимо служат», что «аз, недостойный иерей, властью мне данной» могу даже «из камней сих сотворить чад Авраамови»... Мне очень трудно теперь думать и писать о чем-нибудь «житейском».

Он часто говорил о детях, говорил то раздраженно, то нежно (нежность неуловимо переливалась в раздражение), — о дочери чаще и нежнее, чем о сыне. Стихи сына все знал. Особенно любил стихи о России. Ему казалось, что они знаменовали перелом.

Когда он перед смертью заболел, к нему приехала его вторая жена. Кажется, она его застала в живых. «Демон» умер со словами:

— Прославим Господа.

Бывший богоненавистник обрел в старческие годы то, на чем крепко стояла вся его семья, — строго-церковную, богомольную веру.

Время от времени, очень редко Александр Львович писал моим родителям. Не все в этих письмах поддавалось пониманию. Бесчисленные приписки, вставки, кавычки, скобки, подчеркивания еще сгущали их запутанный смысл. Мне хочется привести одно письмо, адресованное моей матери. И самое письмо и присоединенные к нему желчные вирши очень характерны для Александра Львовича.

Милая и дорогая Сашенька!

Благодарю Вас от души за все известия и поздравляю с Новым Годом — и наших всех, а Петю и Марианочку — со днями их рождения и именин.

Под «петербуржцами (напрасно думающими» — и проч.) я разумел, конечно, только тех, которые казались слишком долго «арестованными» (по весенним Вашим сведениям), а не тех, что все же «занимались» ими. Поэтическому сыну сочинил я нижеследующие стихи (уже не первые — по форме и по содержанию); но так как он их не вполне достоин, на мой одинокий личный взгляд, то (извините за навязчивость, соединенную с доверием к расширенному родственному смыслу) посылаю пока Вам — для передачи, если Вы его таким найдете.

\*\*\*

Разрыв Александра Львовича с первой женой произошел задолго до моего рождения. Отношения ее со всей нашей семьей прекратились. Я увидел ее в первый раз в 1920 году.

В раннем детстве мне приходилось слышать, что существует где-то в Петербурге двоюродный брат Саша, умный мальчик, издающий в гимназии журнал. Имя Саша не нравилось, не нравилось и про журнал. Мне не хотелось с ним знакомиться.

В конце 90-х годов наша встреча все-таки состоялась. Александр Александрович, оторванный до тех пор от родственников, вдруг почему-то завязал с ними сношения. Он появился в доме у тетки Ольги Львовны Качаловой, единственной сестры Александра Львовича и моего отца. Затем стал изредка бывать и у нас.

Семья Качаловых была большая, здоровая, веселая, очень русская. В ту пору она по-весеннему шумела и цвела. Этим цветением и шумом Александр Александрович (очень ненадолго) был, по-видимому, захвачен.

Мне было 10 — 12 лет — я был «лицом без речей». Насколько помню, с Александром Александровичем мы не обменялись в эти годы ни одним словом. Поэтому все относящиеся к этому времени воспоминания мои о нем основаны исключительно на впечатлениях «молчаливого зрителя снизу».

Он только что поступил в университет и увлекался сценой. Всем было известно, что будущность его твердо решена — он будет актером. И держать себя он старался по-актерски. Его кумиром был Далматов, игравший в то время в Суворинском театре Лира и Ивана Грозного. Александр Александрович

причесывался, как Далматов (гласко на темени и пышно на висках), говорил Далматовским голосом (сквозь зубы цедил глуховатым баском).

Раз вечером у нас были гости. И.И.Лапшин, тогда молодой еще доцент, читал какую-то пьесу Зудермана. Чтение было прервано поздним приездом Александра Александровича. Он приехал с репетиции спектакля, в котором участвовал. Когда его спросили, какая у него роль, он своим заправским актерским тоном ответил, что небольшая: — «тридцать страниц с репликами». Узнав, какую пьесу читают, он тем же тоном небрежно заметил, что Зудерман ему «не дается». Затем прочитал только что написанную им юмористическую балладу про рыцаря Ральфа. Там, сколько помню, все чередовались рифмы: простужен, ужин, сконфужен, и он, читая, на эти рифмы налегал.

Помню его другой раз в театре. Он был в ложе с Качаловыми. Играла модная в то время Яворская, только что вышедшая замуж за князя Барятинского. Ее много вызывали. После одного из вызовов, когда она, кланяясь, отступала от рампы, занавес, слишком рано спущенный, ударил ее нижней своей штангой по голове. Последовал новый взрыв оваций. Александр Александрович неистовствовал. Помню — стоит; откинувшись, в глубине ложи, вытянутыми руками хлопает и кричит не «Яворскую», как все, а почему-то:

— Барятинскую! Барятинскую!

Чаще всего в это время приходилось видеть его декламирующим. Помню в его исполнении «Сумасшедшего» Апухтина и Гамлетовский монолог «Быть или не быть». Это было не чтение, а именно декламация — традиционно-актерская, с жестами и взрывами голоса. «Сумасшедшего» он произносил сидя, Гамлета — стоя, непременно в дверях. Заключительные слова «Офелия, о, нимфа» говорил, поднося руку к полузакрытым глазам.

Он был очень хорош собой в эти годы. Дедовское лицо, согретое и смягченное молодостью, очень ранней, было в высокой степени изящно под пепельными курчавыми волосами. Безупречно стройный, в нарядном, ловко сшитом студенческом сюртуке, он был красив и во всех своих движениях. Мне вспоминается — он стоит, прислонясь к роялю, с папиросой в руке, а мой двоюродный брат показывает мне на него и говорит:

— Посмотри, как Саша картинно курит.

Близость его с семьей Качаловых продолжалась очень недолго — кажется, около года. Он исчез так же внезапно, как появился. Он написал им письмо о причинах своего «ухода». Я этого письма не читал. Мне передавали, что в нем он говорил о вступлении на новое поприще, требующее разрушения старой житейской рамы. Помнится, это совпало со временем его женитьбы.

\*\*\*

На протяжении следующих двадцати лет были только две мимолетные встречи. «Уход» его был в самом деле решительный, «отеческие увещания» не действовали и к родственникам он так до самой смерти больше и не заглядывал.

Раз весной (это было вскоре после его исчезновения) мы ехали с отцом на острова на пароходе. Недалеко от штурвала, под трубой стоял Александр Александрович. Он возвращался домой — в гренадерские казармы. Когда пароход подходил к Сампсониевскому мосту, он сказал (как мне показалось — тревожно):

— Сейчас он засвистит.

Эти незначащие слова почему-то запечатлелись, и я не раз вспоминал их потом, когда встречал в его писаниях знаки того же, никогда, по-видимому, не оставлявшего его тревожного внимания к техническим мелочам.

Вторая встреча была в начале 1909 года, в большом (гробоподобном) зале консерватории, на гастроли Дузэ. Шла «Дама с камелиями». Был «весь Петербург». Александр Александрович, в штатском, очень элегантный, зашел к нам в ложу. К величайшему несчастью почти вслед за ним вошел еще некто — розовый, в золотом *pinse-pez*, один из тех неизбежных петербургских «моветонов», которые «считают долгом бывать на всех первых представлениях». Узнав, что здесь перед ним «известный поэт», — «моветон» к нему присосался и стал вонзаться снисходительными вопросами, в которых фигурировала и «ваша муза» и тому подобные ужасы (это было время Буренинских фельетонов о «декадентах»). Александр Александрович был сдержанно учтив.

Затем почти двенадцать лет мы не видались вовсе.

\*\*\*

Осенью 1911 года я переезжал на новую квартиру, на Галерную, в дом Дервиза. Дворник удивился, когда услышал мою фамилию. Оказалось, что из этого дома только что выехал Александр Александрович.

\*\*\*

В Варшаве на похоронах Александра Львовича мой отец встретился с обоими его детьми. Александр Александрович сказал:

— Вот знакомлюсь с сестрой.

\*\*\*

Осенью и зимой 1920 года я был в разгаре работы над Фетом и вместе с тем в периоде «первой любви» к стихам Блока, которых до того не знал. Только что вышла его книжка «За гранью прошлых дней». Там в предисловии было признание о Фете. Почти одновременно я прочел статью «Судьба Аполлона Григорьева», где призрак Фета встает во весь рост и таким именно, как он мерещился тогда и мне. Мне настойчиво захотелось увидеться с Александром Александровичем. С. Ф. Ольденбург, давно желавший нас познакомиться, предложил передать мое письмо. 23 ноября я получил такой ответ:

22 XI 1920.

Многоуважаемый

Георгий Петрович.

Не звоню Вам, потому что мой телефон до сих пор не могут починить, хотя и чинят. Рад буду увидеться с Вами и поговорить о Фете. Да, он очень дорог мне, хотя не часто приходится вспоминать о нем в этой пыли. Если не боитесь расстояний, хотите провести вечер у меня? Только для этого созвонимся, я надеюсь, что телефон будет починен, и тогда я сейчас же к Вам позвоню, — начиная со следующей недели, потому что эта у меня — вся театральная.

Искренно уважающий Вас

Ал. Блок.

Я живу: Офицерская 57 (угол Пряжки), кв. 23, тел. 612-00.

Как всегда, учтивый и точный, он сдержал обещание — на следующей неделе позвонил. Заговорил голос — чужой и очень знакомый, глуховатый, с деревянными, нечеловеческими (о ком-то напоминавшими) нотами.

— Георгий Петрович, это вы? Говорит ваш брат.

Мы выбрали день и условились, что я приеду «с последним трамваем». Они в то время ходили до шести, но в этот день почему-то остановились раньше. Пришлось идти пешком, «звериными тропами».

Он сам открыл мне дверь и улыбнулся своей младенческой, неповторимо прекрасной улыбкой.

Огромная перемена произошла в его наружности за двенадцать лет. От бывлой «картинности» не осталось и следа. Волосы были довольно коротко подстрижены — длинное лицо и вся голова от этого казались больше, крупные уши выдались резче. Все черты стали суше — тверже обозначались углы. Первое мое впечатление определялось одним словом: — опаленный, и это впечатление подтверждалось несоответствием молодого, доброго склада губ и остреньких, старческих морщин под глазами. Он был в защитной куртке военного покроя и в валенках.

Мы сели в кабинете у письменного стопа и стали говорить. Разговор вышел долгий. Часов в девять я собрался уходить, но Александр Александрович настойчиво стал меня удерживать («оставайтесь до комендатуры» — т. е. до первого часа ночи) и я остался. Мы оба беспрерывно курили, комната была синяя от дыма.

Мне очень трудно передать этот разговор. По свежим следам я ничего не записал. Память многое стерла, а кое-что, вероятно, исказила. Последнего боюсь больше всего. Буду воспроизводить только те немногие «острова», очертания которых запечатлелись твердо.

Он прежде всего подверг меня тщательному личному допросу. Это не было «любезностью». Он упорно и внимательно выпытывал и большое и малое, проникал (по терминологии его отца) и в «житейское» и в «мечтательность». Вопросы были, например, такие:

— Проходили вы через марксизм?

— Вы какой — живой или вялый? и т. д.

Мне было трудно отвечать, потому что многие вопросы были мне новы. Но передо мной в серых, почти безбровых

глазах, в частой улыбке было так много кроткой, приветливой простоты, что робость моя ушла.

Мы вспомнили наше последнее свидание на гастроли Дуэ. Он сказал: «Помню ваши красные обшлага».

Заговорили о Фете. Я сказал, что теперь по-моему его пора. Он не согласился:

— Нет, пора Фета была раньше — двадцать лет тому назад.

Он начал подходить к Фету рано — еще в доме матери, сперва только к «Вечерним огням». Они так и остались ближе, чем молодые стихи. Расцвет любви к Фету был в пору пребывания в кружке Соловьевых (семья Михаила Сергеевича, — брата философа).

Я спросил, почему Тургенев боялся Фета (стачивая в его стихах острые углы, т. е. лучшие, и хвалил так, как ревнивый мужчина хвалит соперников). Александр Александрович ответил:

— Это ясно — Тургенев боялся у Фета революции. Помните, например,

**Сладостен зов мне глашатая медного?\***

Я сказал, что общепринятое противоположение Фета Шеншину — по-моему вздор: очевидно, и в жизни и в стихах корень один и нужно его угадать. Он ответил:

— Да, корень один. Он — в стихах. А жизнь — это просто «кое-как». Так бывает почти всегда.

Он подробно расспрашивал меня о жизни Фета. По поводу чего-то заметил:

— По-моему Фет был развратный. Только не такой развратный, как Лермонтов. Когда я недавно редактировал Лермонтова, я был поражен, до чего он развратен.

Затем добавил не то успокоительно, не то вопросительно:

— Развратный — это не худо.

Заговорили о Майкове и Полонском. О Майкове он отзывался сурово («декламационный»), а про Полонского сказал так:

— Разница между Фетом и Полонским такая, что Фет дьявольски умен, а Полонский глуп, как пробка. Но оба настоящие поэты.

Спросил, люблю ли я Апухтина, и сказал:

— Я люблю его цыганщину.

Кажется, тут же прибавил:

— Я ведь не люблю стихов читать. Взять книжку и подряд читать — не могу.

Разговор «литературный» закончился упоминанием об одном давно и весьма известном (и ныне здравствующем) писателе — прозаике, который в то время — в Петербурге 1920 года — был виден отовсюду. Александр Александрович сказал:

— Я продолжаю его любить несмотря на то, что знаком с ним вот уже несколько лет. Плохо только, что у него всегда — надо, надо, надо.

И он, в такт этому «надо», потыкал пальцем куда-то под стол. Потом засмеялся — отцовским, смущенным смехом.

Еще в начале беседы я предупредил его, что плохо умею говорить. Он ответил:

— Это ничего. Я тоже косноязычный.

После «литературы» опять начался допрос, уже более сосредоточенный. Он стал спрашивать меня, живу ли я современностью. Я отвечал отрицательно. Тогда он показал на лежащие на столе бумаги и сказал:

— Вот я редактирую перевод Гейне. Как раз сегодня читал место, где Гейне глумится над Августом Шлегелем за то, что тот изучал прошлое. Гейне прав. Если не жить современностью — нельзя писать.

Это составило содержание всего дальнейшего разговора. Он стал говорить много, с жаром и мрачностью, все о том же, «нельзя писать».

— Вот вы собираетесь писать о Фете. Должны же вы сказать, почему Фет нужен сейчас. А вы этого сказать не можете.

— За последние три года, после «Двенадцати» я не написал ни строчки. Не могу. «Двенадцать» — какие бы они ни были — это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью. Это продолжалось до весны 1918 года. А когда началась Красная армия и социалистическое строительство (он как будто поставил в кавычки эти последние слова), я больше не мог. И с тех пор не пишу.

К этому он был прикован. Временами мы отходили в сторону, как бы отдыхали, потом опять возвращались к прежнему.

Пришли его мать и жена. Он познакомил меня с ними. Стали пить чай — как полагалось в то время: с сахарином, черным хлебом и селедкой. Он ел неохотно, с капризным лицом.

\*Из стихотворения Фета «Ель рукавом мою тропинку завесила».

За столом над скатертью я мог лучше его рассмотреть. Руки крепкие, мужественные, несколько узловатые в пальцах, с крупными выпуклыми ногтями. Кожа на лице нежная, темной расцветки. Когда он улыбался, открывались ровные юношеские зубы, на щеках весело трепетали беспомощные ямочки, а глаза западали глубже и делались светлее.

Временами разговор опять налетал на Фета. Заговорили о том, была ли у него религия. Перебирали его стихи. Я вспомнил:

**Вдруг — колокол, и все уяснено,  
И просияв душой, я понимаю,  
Что счастье — в этих звуках: вот оно.**

Александра Андреевна (мать) стала резко возражать:  
— Это вовсе не религия. Колокол это совсем другое.

Александр Александрович посмотрел на нее внимательно и сказал:

— Ты думаешь — это как у Соловьева? Пожалуй, это так.

По-видимому, сына и мать связывали тесные узы понимания. Мне стало казаться даже (потому, как он — ученически — посмотрел на нее), что для сына это может быть — зависимость.

— С 1916 года, — говорил Александр Александрович (он отчетливо помнил все даты), — мне все время приходится делать то чего не умею. Теперь я все председательствую в разных театральных заседаниях. А я не умею председательствовать. На войне я был в дружине, должен был заведывать питанием. А я не знал как их питать.

Уходя, уже в передней, я сказал ему:

— Разные мы с вами.

Он ответил, улыбаясь той же ласковой, как при встрече, улыбкой:

— Ну что же, и разные хорошо.

Помню — всю дорогу, и всю ночь, и много дней потом я не мог выйти из смятения, внесенного в меня этим вечером. Смущало и то, что он говорил, и то, как он говорил.

Немыслимо передать характер его речи, изысканной, стенографически сжатой, сплошь условной, все время ищущей как будто созвучия с тем, что он называл «единым музыкальным напором» явлений. Мне, знавшему его отца, было ясно, что мучительство, которому подвергал себя тот в сво-

ем беспримерном, одиночестве, когда, сгорая, душил язык своей диссертации; что это мучительство с ним не умерло. Оно продолжало жечь и сына и обжигало тех, кто хоть ненадолго — как я — к нему прикасался.

Но страшен, конечно, был и смысл слов. И с этим страшным смыслом мне хотелось спорить.

Несколько дней спустя я написал ему письмо. В нем были «возражения», которых я не сумел высказать в тот вечер. Помнится, я писал, что его мысль — это только мысль, а его жизнь и моя жизнь — это факты, которые сильнее мыслей. И факт жизни дает право на жизнь. «В утешение» я напомнил ему стихи все того же Фета:

**И лениво скупо мерцающий день  
Ничего не укажет в тумане:  
У холодной золы изогнувшийся пень  
Прочернеет один на поляне.  
Но нахмурится ночь, — разгорится костер  
И, виясь, затрещит можжевельник,  
И, как пьяных гигантов столпившийся хор,  
Покраснев, зашатается ельник.**

Он (очень скоро) ответил мне так:

10 XII 1920 года.

Спасибо Вам за письмо, дорогой Георгий Петрович. Оно мне очень близко и понятно. Да, конечно, все что мне нужно, это, чтобы у меня «нахмурилась ночь». Что касается «нельзя писать», то эта мысль много раз перевертывалась и взвешивалась, но, конечно, она — мысль и только покамест. А я, чем старше, тем радостнее готов всякие отвлеченности закидывать на чердак, как только оне отслужили свою необходимую, увы, службу. И Вы великолепно говорите о том, что все-таки живете, — сторонитесь, или нет, выкидывают Вас, или нет.

Не принимайте во мне за «страшное» (слово, которое Вы несколько раз употребили в письме) то, что другие называют еще «пессимизмом», «разлагающим» и т.д. Я действительно хочу многое «разложить» и во многом «усумниться», но это — не «искусство» для искусства, а происходит от большой требовательности к жизни; от того, что, я думаю, то, чего нельзя разложить, и не разложится, а только очистится. Совсем не считаю себя пессимистом.

Не знаю, когда удастся зайти к Вам, не могу обещать, что скоро, но, очевидно, наша встреча была не последней.

Всего Вам лучшего.  
Ваш Ал. Блок.

\*\*\*

Прошло несколько месяцев. Был, кажется, март. Я стоял в очереди в «Доме Ученых», в достопамятном «селечном» коридоре с окнами на унылый фонтан. В темных дверях показался Александр Александрович. Он кого-то торопливо искал. Был в длинном пальто и в маленьком, натянутом до ушей картузике. Он увидел меня, приветливо улыбнулся, подошел и заговорил:

— Ищу жену. Сейчас иду наверх. Там заседание о золотом займе за границей. Хочу послушать. Это очень интересно.

Я спросил:

— Ну, что же, теперь — лучше?

Он подумал и, снова улыбаясь, пристально глядя мне в глаза, ответил очень решительно:

— Лучше.

Мы расстались. Я смотрел ему вслед. Он опять торопливо пошел по коридору, на ходу (холодно — как мне показалось) поздоровался с Виктором Шкловским и исчез. Больше я его не видел.

Август 1923.

Лахта.

Евгений ЗАМЯТИН

## ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ\*

1918 год. Маленькая редакционная комната — какая-то пустая, торопливая, временная — два-три стула, в углу связки — только что из типографии — книг. Еще непривычно, что в комнате — в шляпах и пальто. И непривычный, дружески-вражеский разговор с одним из редакторов лево-эсэровского журнала.

Стук в дверь — и в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо — и смешная, плоская американская кепка. И от кепки — мысль: два Блока — один настоящий, а другой — напаянный на этого настоящего, как плоская американская кепка. Лицо — усталое, потемневшее от какого-то сурового ветра, запертое на замок.

В углу около книг — какое-то мимоходное, шепотом, редакционное совещание — я на минуту вдвоем с Блоком.

— Сейчас? (его ответ). Ну какое же писание. Выколачиваю деньги. Очень трудно...

И вдруг — сквозь металл, из-под забрала — улыбка, совсем детская, голубая:

— А я думал, что вы — непременно с бородой до сих пор, вроде земского доктора. А вы — англичанин... московский...

Это было мое знакомство с Блоком. Только этот короткий разговор, улыбка, кепка.

\*\*\*

Три года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде. Смешные в снаряде затеи: Всемирная Литература, Союз Деятелей Художественного Слова, Союз Писателей, Театр...

\* «Русский современник», 1924 год.



И все писатели, кто уцелел, в тесноте сталкивались здесь — рядом Горький и Мережковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чуковский и Вольтинский.

Сначала — жужжащая, густая приемная «Всемирной Литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь, и как-то особенно, отдельно, твердо — берет руку — и слышен каждый слог: «Николай Степанович!» — «Федор Дмитриевич!» — «Алексей Максимович!»

Горький тогда был влюблен в Блока — он непременно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь влюблен: «Вот — это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блока слушал Горький на заседаниях «Всемирной Литературы» так, как никого.

Еще неясно было, что мы заседаем, завинченные в летящий стальной снаряд, или, быть может, еще не устал Блок пересаживаться из заседания в заседание, но он был пока не тот, безнадежный и усталый, как позже, он срывал с якоря толстых томов не одного только Горького.

В один весенний вечер — заседание на частной квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов, Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Вольтинский, Иванов-Разумник, Левинсон, Тихонов и еще кто-то — много... и один Блок. Доклад Блока о кризисе гуманизма.

— Я помню отчетливо: Блок на каком-то возвышении, на кафедре — хотя знаю, никакой кафедры там не могло быть — но Блок все же был на возвышении, отдельно от всех. И помню: сразу же — стена между ним и между всеми остальными, и за стеною — слышная ему одному и никому больше — варварская музыка пожаров, дымов, стихий.

А потом — в комнате рядом: потухающий огонь в камине; Блок — у огня со сложенными крыльями бровей, упорно что-то ищущий в потухающем огне, и взволнованные за полночь споры, и усталый, равнодушный, неуверенный ответ Блока — издали, из-за стены...

Кажется, весь этот вопрос — о кризисе гуманизма — ответил как-то от Гейне: Блок редактировал во «Всемирной Литературе» — Гейне. Работал он над Гейне необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то будничным, денежный разговор — и слова Блока:

— Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вчера за два часа я перевел двенадцать строк. И еще в комнате у меня в тот вечер было тепло, горела печь. Очень трудно, чтобы перевести по-настоящему.

Он делал все — «по-настоящему». Но все же чувствовал — ни на минуту не переставал чувствовать, что это — не то, не настоящее.

Вижу его в зале, у окна — вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяное, холодное небо. Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо, в окно:

— Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?

А за окном — опустошенное ветром, румяное, холодное небо...

В тесноте, в темноте, внутри несущегося со свистом стального снаряда — торопились заседать, одно заседание перекрывало другое. «Союз Деятелей Художественной Литературы» решил заняться в снаряде — изданием произведений изящной словесности. Составилась редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Слезкин, Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. Посыпались рукописи. Блоку приходилось давать рецензии о стихах — и я помню одну его — отточенную, острую; как и всегда на заседаниях, он не говорил, а читал по-написанному (и рукопись этой его рецензии сохранилась). Один из поэтов, наннанный на острие этой рецензии, просил меня достать у Блока его отзыв. Но на следующем заседании Блок сказал мне:

— Я не принес... Не нужно. Может, ему это очень важно — писать стихи... Пусть пишет.

Решили устроить журнал. Он должен был называться «Завтра» и, помню, мне поручено было написать что-то вроде манифеста. Там было — о круге: вчера, сегодня и завтра, и о том, что вся литература всегда о завтра и во имя завтра, и этим определяется отношение ее к вчера, к сегодня: и от этого она всегда — ересь, бунт.

А потом, при пересадке с заседания на заседание — мимолетный разговор с Блоком и об этом.

Помню: на минуту, за этим — медленным, металлическим, на замке — лицом мне мелькнул человек, который трудно и больно отрывает от себя что-то. Это был первый мой разговор с Блоком — без стен. Знаю конец. Я сказал:

— Вы очень отошли от того, кем были год назад — Вы меняетесь.

Ответ:

— Да, я сам чувствую, что меняюсь.

Петербург — выметенный, опустелый; забитые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязаные свитеры; и в свитере — Блок. Лихорадочная попытка перегнуть нужду и какие-то новые, минутные, непрочные за-теи, какие-то новые заседания — из заседания в заседание...

И вот — поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний — в одной из маленьких задних комнат «Всемирной Литературы». Столовая, под зеленым колпаком лампа; лица в тени. Налево от дверей — теплая изразцовая лежанка и на лежанке, возле лежанки — Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я — и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом — но очень легко — Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы российской — от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!

Мы, быть может, чуть-чуть улыбаясь — верили или хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, как и ко всему — он и к этому подошел «по-настоящему».

В пестрой, переливающейся грудой — надо было увидеть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как ни у кого. Башню решили строить по его плану; в издательстве Гржебина где-то хранится составленный им список ста томов. И недавно в найденной среди его посмертных бумаг автобиографии он отмечает: «Ноябрь 1919 г. Составление списка ста томов». Если Вавилонская эта башня когда-нибудь будет построена — она будет одним из памятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он сделал выбор.

\*\*\*

В озябшем, голодном, тифозном Петербурге была культурно-просветительная эпидемия. Литература — это не просвещение, и потому поэты и писатели — все стали лекторами. И была странная денежная единица: паек, — приобретаемая путем обмена стихов и романов — на лекции.

Блоку в это время жилось трудно — он неспособен был на этот обмен. Помню, он говорил:

— Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному.

Но эпидемия все же захватила и его. Образовалась Секция Исторических Картин. Это была опять одна из Вавилонских башен: в цикле исторических пьес — показать всю мировую историю — не больше и не меньше. Придумал это Горький, и прикованные к столу заседаний все те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я: из других — Щуко и Лаврентьев.

Помню, с самого начала Блок в это не очень верил и говорил:

— Нельзя, чтоб искусство везло науку.

Но все-таки работал — как всегда: «по-настоящему». Все-таки это были не лекции, суррогат творчества, а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из картофельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настойчиво пытался претворить воду в вино.

Одно из первых заседаний — в величественном кожаном кабинете Театрального Отдела (ПТО).

Блок читал свой сценарий исторической пьесы — не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась не-написанной. Там было любимое средневековое Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.

Было уже написано для Секции несколько пьес. Все спрашивали Блока: «Когда же вы дадите, Александр Александрович?»

— Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. Все бегаю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера ездил в Смольный с письмом Горького. Завтра идти в районный отдел.

Или:

— Ну — пьеса! Вот я нынче все утро окно замазывал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно, не умею...

И вот — квартиру удалось отстоять, окна замазаны. Он стал думать о пьесе.

— Вот еще не знаю: взять ли куликовскую битву — мне это очень близко — или другое: Тристан и Изольду.

Говорил, что уж сделал какие-то наброски для «Тристана» и вдруг неожиданно — из египетской жизни: «Рамзес» — едва ли не последняя, написанная им вещь.

Прочитали. Делали какие-то замечания о «Рамзесе», Блок отшучивался.

— Да ведь это я только переложил Масперо. Я тут ни при чем. Секции был обещан свой театр. Но нечем топить — нет дров: наши пьесы передали в Народный Дом, из Народного Дома — в Василеостровский театр. «Рамзес» — в Василеостровском театре...

Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся, не очень весело.

— Пусть лучше не ставят.

И секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская башня разваливалась.

Уже весной 21-го года — одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему — вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня — нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется, ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе — читается пьеса — и он заражает своим смехом.

Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока — молодым. И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.

Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.

— Очень хочется писать, — говорил Блок. — Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле, отдохну и сяду...

На Садовой ждали трамвая, — все не было. Туча поползла, закрыла солнце, и сверху — как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.

Над головою — туча, плита. Опять — знакомая, еле заметная, тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце.

\*\*\*

Какие-то торопливые, краткие, вагонные были эти мои почти ежедневные встречи с Блоком все три последних

года. И, может быть, ближе всего вдвоем с ним и неспешней всего — я был петом 1920 года. Мне пришлось тогда вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лиры» в Большом Драматическом театре.

Помню: на репетициях — темный, гулкий, как губка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столиком перед рампой или в первом ряду кресел — справа от меня медальный профиль Блока. На сцене — один и тот же выход в пятый, в шестой раз подряд, в пятый и в шестой раз падают, убивают. И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой — будто мешает ему воротник — от каждого неверного слова и жеста на сцене.

Кончится чей-нибудь выход — по лесенке слева, через рампу, перелезает темная фигура и к Блоку:

— Ну, как, Александр Александрович, — ничего?

Было впечатление: темный, пустой зал — полон для них одним зрителем — Александром Александровичем. Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые.

— Александр Александрович — наша совесть, — сказал мне однажды, кажется, режиссер Лаврентьев. И ту же фразу — как утвержденную формулу — я слышал потом не раз от кого-то в театре.

Последние — обстановочные и костюмные — репетиции кончались часа в 2, в 3 ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже — тем кажется больше оживал он, больше говорил: ночная птица.

— Не утомляет вас это? — спросил я.

Ответ:

— Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал — я люблю, я ведь очень театральный человек.

На одной из таких последних ночных репетиций — вдруг стало невмочь и решил выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

— Наше время — тот же самый XVI век... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи...

После утренних репетиций из театра часто шли вместе на Моховую. Из позабытых, стершихся разговоров уцелели — выброшены волною на берег — только разрозненные обломки. Но если приглядеться к ним — видишь, что все они — одно.

Ясно вижу: мы, ухватившись за ремни, стоим в вагоне трамвая. Толкают, наступают на ноги — и в этой толчее конец какого-то странного разговора.

— ...А вот бывает с вами так: смотришь на себя со стороны — ты совершенно определенно в стороне, в другом углу комнаты — и видишь, себя — не себя, а чужое?

Ответ — после паузы — глаза очень далеко:

— Да, бывало. Раза три в жизни. Теперь больше не бывает... Теперь со мной ничего не бывает... — и еле приметная горечь в углах губ.

Вот идем по Бассейной, — куда, не помню. Блок в своей кепке. И голый, ни с чем несвязанный обломок — его слова:

— Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.

И может быть, в тот же — может быть, в другой день — долгий разговор, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.

А потом, нахмурившийся, упрямо — может быть, самому себе, а не мне:

— И все-таки золотник правды — очень настоящей — во всем этом есть. Ненавидящая любовь — это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.

На каком-то заседании — у меня в руках английский журнал, и там я увидел статью о переводе «Двенадцати» Блока — под заглавием: «А Bolshevik Poem». Я показал Блоку статью. Он усмехнулся.

И потом — разговор о большевизме.

— Большевизма и революции — нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм — настоящий, русский, набожный — где-то в глубинах России, может быть, в деревне. Да, наверное, там...

Он всегда говорил медлительно, металлически, холодно-вато. И только два-три раза я слышал в металле острие, жало — и видел: он натягивает вожжи, чтобы удержать себя.

Один раз он так говорил о марксизме. Другой раз — он только что прочитал заграничную «Русскую Мысль» Струве — и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова: — Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи. И написал об этом очень резкую статью для невышедшей «Литературной Газеты» Союза Писателей.

Это было в апреле 1921 года — перед последней его поездкой в Москву.

1921 год

\*\*\*

Блок весь из Невы, из тумана белых ночей, Медного всадника. Пестрая, по-купечески телесная Москва — ему

чужая, и он Москве — чужой. Его чтения в Москве — в мае 1921 года — это показали.

Последний его печальный триумф — был в Петербурге, в белую апрельскую ночь.

Помню, он с усмешкой рассказывал — вечер его не разрешают: спекуляция, цены — выше каких-то тарифов. Наконец — разрешили. И вот доверху полон огромный Драматический театр (Большой) — и в полумраке шелест, женские лица — множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского — речь о Блоке — и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок — с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, где стать — и становится где-то сбоку столика. И в тишине — стихи о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека — на одной ноте. И только под конец, после оваций — на одну минуту выше и тверже — последний взлет.

Какая-то траурная, печальная, нежная торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню, сзади голос из публики: — Это поминки какие-то!

Это и были поминки Петербурга о Блоке. Для Петербурга — прямо с эстрады Драматического театра Блок ушел за ту стену, по синим зубцам которой часовым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петербург видел Блока последний раз.

\*\*\*

На заседаниях — у каждого было уже какое-то свое, привычное место. И вот стул Блока — с краю, у самого окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зимой — с месяца стоял пустым этот стул. Но отлежав месяц, Блок вернулся как будто все таким же. Да и что особенного: острый ревматизм, от промерзлых домов — у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не думал, что этим неособенным, обыкновенным — уже исчислены удары его сердца. И неожиданно было, когда узнали: это серьезно, и спасти его можно только одним — тотчас же увезти в санаторию за границу.

Никто из нас не видал его за эти три месяца его болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные вещи, он ни с кем не хотел говорить — хотел быть один. И никак не мог оторваться от ненавистной — и любимой России; не хотел согласиться на отъезд в финляндскую санаторию, пока не понял: остаться здесь для него — умереть. Но и тут не хотел

ни за что подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в Москву о разрешении Блоку выезда за границу были написаны (в июне) Правлением Союза Писателей.

В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, выпустят, скоро. Блок метался: не хватало воздуха, нечем дышать. И приходили люди, говорили: больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается.

Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за подножки трамваев; Блок метался; Горький в Москве ходил по инстанциям. И, наконец, 3-го или 4-го августа пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать.

Ветренное, дождливое утро 7-го августа, — одиннадцать часов, воскресенье. Телефонный звонок — «Алконост» (Алянский): скончался Александр Александрович.

Помню: ужас, боль, гнев — на все, на всех, на себя. Это мы виноваты — все. Мы писали, говорили — надо было орать, надо было бить кулаками — чтобы спасти Блока.

Помню, не выдержал и позвонил Горькому:

— Блок умер. Этого нельзя нам всем — простить.

\*\*\*

Синий, жаркий день 10-го августа. Синий ладанный дым в тесной комнатке. Чужое, длинное, с колючими усами, с острой бородкой лицо — похожее на лицо Дон-Кихота. И легче оттого, что это не Блок, и сегодня зарюют — не Блока.

По узенькой, с круглыми поворотами, грязноватой лестнице — выносят гроб — через двор. На улице у ворот — толпа. Все тех же, кто в апрельскую белую ночь у подъезда Драматического театра ждал выхода Блока, — и все, что осталось от литературы в Петербурге. И только тут видно: как мало осталось.

Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч сверху в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу — к гробу — целует желтую руку — уходит. Все ниже луч.

И наконец — под солнцем, по узким аллеям — несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока. И молча — так же, как молчал Блок эти годы, — молча Блока глотает земля.

В.Ж.

## ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ В ДОМЕ РАСПУТИНА\*

Из воспоминаний участницы распутинских оргий

Из бесчисленных воспоминаний о Григории Распутине предлагаемое в этом номера занимает в некотором смысле особое место. Впервые опубликованное в 1924 году в журнале «Русский современник», оно принадлежит автору, решившему скрыть от читательской публики свое настоящее имя и коснуться темы, мало известной в литературе — повседневного быта и интимной жизни Распутина, получивших огласку распутинских чаепитий и оргий, в которых, как мы знаем, участвовали многие из его высокопоставленных поклонниц, принадлежащих к Петербургскому высшему свету.

По словам «В.Ж.», в те годы она себя причисляла к юным богоискательницам и одним из самых ее страстных желаний было проникнуть в Дом Распутина, в его окружение, больше узнать и о нем и о его интимной жизни.

Можно спорить о том, обладают ли ее свидетельства новизной, можно спорить о степени их достоверности, но все же читатель не может не почувствовать, что это информация из первых рук. Автор, по сути, представляет нам несколько страниц из ее личного дневника, изобилующего массой навдуманых деталей, иногда мало что значащих, физиологических подробностей, вряд ли способных вызвать симпатии у взыскательного читателя. Но вместе с тем, несмотря на явный недостаток у автора литературного мастерства, ее свидетельства содержат определенный колорит, помогающий нам лучше понять и почувствовать Распутина и распутинщину.

\* «Русский современник», 1924 год.

## МОЕ ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ С РАСПУТИНЫМ\*

Это было в 1914 году. Мои интересы в это время все больше сосредоточивались вокруг разных видов богоискательства; уже и тогда я знала некоторых братьев из общин божьих людей, но не остановилась еще на них исключительно. В то время в газетах иногда проскальзывали неясные, темные слухи о некоем страннике-старце, незыблемо хранившем свою власть и влияние, несмотря на то, что ему приписывали самые чудовищные, с точки зрения общественной морали, поступки. Я вообще не склонна верить слухам и люблю видеть сама то, что меня заинтересовало с той или другой стороны. Поэтому, решив, что между этим загадочным петербургским старцем и моими божьими людьми может быть какая-нибудь связь, я захотела непременно это узнать.

Приехав в Петербург в начале февраля, пошла я к Н. А. К-му, моему первому и строжайшему критику и дорогому другу, и рассказала ему о своих намерениях. Серьезно взглянув на меня, он с сомнением покачал головою, но, не сказав ничего, дал мне письмо к А. С. П-ну, заметив при этом, что там я встречу кое-кого из тех, кто меня интересуется.

В первый же свой визит к А. С. П-ну я сообщила ему о моем желании увидеть Распутина; заметив не только колебания, но и явный страх на выразительном лице П-на, я подтвердила настойчиво, что, если он мне не поможет в этом, я найду другой путь, и все равно не дальше, как через два дня, буду у Распутина. «Я не знаю его точного адреса, — все еще колеблясь, сказал П-н, — кажется, он живет на Английском проспекте».

Здесь можно упомянуть о забавном случае из числа тех, которые иногда со мною бывают; когда П-н заговорил об Английском проспекте, мне вдруг почему-то представилось, что Распутин живет в 3-м доме, и я сказала это. П-н взглянул на меня удивленно. «Мне думается, Вы ошибаетесь».

Но я не ошиблась: Распутин действительно жил в 3-м доме на Английском, а телефон его был 6-46-46.

Все это передал мне вечером по телефону П-н, и голос его был серьезен и озабочен, когда он мне сказал: «Прошу Вас, обдумайте еще раз этот шаг, Вы так молоды, и так гибелен может быть для Вас этот путь...»

Это беспокойство и боязнь за меня, как Н. А., так и П-на и моих родственников, у кого я жила, еще сильнее возбудили мое желание попасть к Распутину, и уже на другое утро, еще не одетая, только встав, я подбежала к телефону.

Слегка волнуясь, беру трубку: «Группа Б, пожалуйста, 6-46-46 благодарю». Слушаю внимательно, и, надо сознаться, сердце бьется чаще обычного. Наконец, тихий, сипловатый говорок: «Ну, што там ну, слушаю». — «Отец Григорий дома?» — «Я самый и есть, ну, кто говорит, незнакома?» — «Говорит молодая дама, только, что приехала сюда, очень много о вас слышала и хочет вас увидеть, можно?»

— А звонишь-то откуда? — с готовностью спросил Распутин. Эту готовность и почти угодливый тон, которым он всегда говорил по телефону, я отметила потом при ближайшем знакомстве.

— «Я на Каменноостровском живу». — «Знаешь што, приезжай сейчас хошь», — голос выражает нетерпение. — А ты кака, красива?» — прибавляет он неожиданно.

— «Не знаю» — смеюсь я. — «Ну, скорее, приезжай, душка, ну, ждять буду, через полчаса можешь, ну, через час, живей, душка».

— «Ну, хорошо», — сказала я, кладя трубку.

Через  $\frac{3}{4}$  часа я входила в подъезд огромного серого дома на Английском. Признаюсь, что мне стало как-то немного странно и жутко, когда я вошла в широкий, светлый вестибюль.

На первой площадке стояли рядом чучела медведя и волка; изъеденные молью шкуры казались такими жалкими на фоне декадентского окна, на котором засыхал куст розоватого вереска, сиротливо торчавшего своими наполовину оголенными ветками из-за безобразных зеленых бантов...

Лифт остановился на самом верху. Отворив дверцу, швейцар хмуро указал на одну из высоких желтых дверей: — «Вам к Распутину?» — И лифт сейчас же начал спускаться вниз.

На звонок мне отворила невысокая полная женщина в черном платье и белом платочке. Ее широкие серые глаза глянули неприветливо: «Вам назначено?» — «Да.» — «Ну, входите... Нет, здесь не раздевайтесь, — и, указывая на дверь прямо, прибавила: — снимайте там, если хотите». После я узнала, что привилегия раздеваться непосредственно зависела от того, был ли посетитель принимаем только в

\*Печатаемые здесь отдельные главы являются выдержками из книги В.Ж. «Мои воспоминания о Гр. Еф. Распутине 1914-1916 г.».

ожидальной, или же допускаем в другие комнаты. Один раз перешагнувший порог столовой или спальни делался своим, и при последующих посещениях его верхней одежде отводилось место на вешалке в передней.

— Григорий Ефимович еще не вернулся от обедни, — затворяя за мной дверь в ожидальную, проворчала женщина.

Большая комната была почти пуста. Несколько стульев, далеко отставленных друг от друга, обиты грубым кретоном с пестрыми, неопределенными цветами в новом стиле. У одной стены неуклюжий, старый буфет, высокая, нелепо раскрашенная печь с какими-то зелеными хвостами у карниза.

В ожидальной трое посетителей: какой-то д. с. с. в вицмундире, плешивый и в золотом пенсне. Недалеко от него неопределенный субъект в очень плохом костюме, с всклокоченной бородой и разными глазами. У самой двери на кончике стула бледная девушка, наверно курсистка, в старрой, обшитой барашком кофточке и кругленькой шапке.

Дверь из передней отворилась, и недовольный женский голос позвал: — «Мара!»

Из внутренних комнат прошла, сутулясь и раскачивая бедра, высокая девочка в гимназическом платье. Уже подойдя к двери, она обернулась, всматриваясь в меня, и я смотрела на это белое квадратное лицо с тупым, животным подбородком и нависшим низким лбом над серыми угрюмыми глазами, тяжело выглядывавшими из-под низко спущенной на лоб челки. Волосы ее, тусклые и бесцветные, были завиты крупными локонами, и она нетерпеливо встряхивала головой, отгоняя их от лица. Каким-то звериным движением она провела острым кончиком языка по широким, ярко красным губам полураскрытого, точно вывернутого рта, судорожно зевнула и скрылась в передней. Опять все затихло; яркое зимнее солнце настойчиво освещало бездарную мебель и назойливую раскраску синего карниза.

Дверь из передней раскрылась, и, поспешно шмыгая туфлями, вскочил Распутин. Я никогда раньше не видала даже его портрета, но сразу узнала, что это он.

Коренастый, с необыкновенно широкими плечами, он был одет в лиловую шелковую рубашку с малиновым поясом, английские полосатые брюки и клетчатые туфли с отворотами. Его лицо показалось мне знакомым и обычным: темная, морщинистая кожа, обветренная, солнцем спаленная,

складывалась теми длинными, узкими полосками, какие видны на всех крестьянских лицах; волосы, небрежно разделяющиеся на пробор посередине, довольно длинные и расчесанная борода — были почти темно-русого цвета. Я не разглядела его глаз, хотя, войдя, он тотчас же взглянул на меня и улыбнулся, но подошел к субъекту в плохо сшитом костюме:

— Ну, что надо-то, ну, говори... — негромким своим говорком спросил он, склонив голову немного на бок, как делает священник во время исповеди. Глухим голосом проситель стал излагать какое-то запутанное дело. Из слов его я заключила, что это или сельский или городской учитель, так как он несколько раз упомянул, что ему все сделала бы записочка к товарищу министра народного просвещения.

Нахмурясь, Распутин нехотя сказал:

— Ох, не люблю я просвещений этих, ну, стой, чего там, ничего, напишу, жди... — Затем подошел к д. с. с., но тот попросил разговора наедине.

Распутин посмотрел было в сторону вставшей курсистки (когда Распутин вошел — все встали), — она робко стояла теперь у притолоки, — но потом решительно направился ко мне.

Подойдя близко, он взял мою руку и наклонился; совсем над собою увидела я его лицо, широкий испорченный оспою нос и под мягкими усами скрывающиеся узкие, бледные губы, и прямо мне в глаза заглянули его глаза — небольшие, светлые, глубоко скрытые в морщинах. На одном из них, на правом, был желтый узелок.

Сначала они мне показались совсем обычными, но уже в следующую минуту мне стало как-то смутно и почувствовалось, что там, за той светлой оболочкой, глядит кто-то еще, лукавый, хитрый, скользкий, и это ощущение потом оставалось всегда, а иногда становилось особенно сильно.

— Это ты, душка, утрием звонила? — быстрым своим придыхающим говорком сибирским спросил Распутин.

— Я, — ответила я, прямо глядя в его глаза. Он сжал мою руку.

— О чем хотела поговорить?

— Разное, о жизни, — неопределенно ответила, сама хорошо не зная, о чем я буду с ним говорить. Продолжая сжимать руку, он другой погладил ее; мне было очень неловко, но отнять руку было бы совсем глупо. Повернувшись

к двери, Распутин позвал: — «Дуня!» — Вошла, хмурая женщина, встретившая меня. Указав ей на меня, Распутин сказал вполголоса:

— Проводи в мою особую.

Выйдя в переднюю, мы вошли в первую дверь направо, дальше была еще одна, за которой слышались сдержанные голоса, — там помещалась столовая. Введя меня в узкую, длинную комнату с одним окном, женщина вышла, плотно притворив дверь.

Я огляделась: у стены, у самой двери стояла кровать, застланная поверх высоколежащих подушек пестрым лоскутчатым шелковым одеялом; дальше по той же стене умывальник с вделанным в досчатый белый крашенный стол тазом, по краю стол был обит белым коленкором, около таза лежал обмыленный кусок розового мыла, на стене висело полотенце с расшитыми концами. Около умывальника стоял письменный дамский стол, на нем плохонькая, залитая чернилами чернильница, несколько ручек с грязными перьями, карандаши, две бумажные коробки, полные отдельно на рванных листках бумаги, исписанных разными почерками и чистых; тут же стоял, будильник и на самой середине лежали золотые часы с государственным гербом на крышке. Около стола два кресла. У самого окна, около противоположной стены — женский ореховый туалет с зеркалом; на нем не было ничего, кроме двух открытых телеграмм и пары записок. В углу иконы нет, но на окне большая фотография алтаря Исаакиевского собора, на ней разноцветные ленты. И у людей божьих также стоят иконы на окнах и на них висят ленты.

В столовой зазвонил телефон. Дуня нехотя спросила, затем голос ее внезапно изменился, и она ответила поспешно, что сейчас позовет Распутина. Ноги ее в стоптанных башмаках быстро простучали мимо двери, и я слышала, как, возвращаясь в столовую с Распутиным, она шепнула ему довольно громко: — «Анна Александровна». Значит Вырубова.

Я с интересом вслушивалась в отрывистые ответы Распутина: «Ну, што, ну, люди у меня, ну, здоров, ну, ничего, приедешь в 6? Ну, а когда же? Ах, занят буду. Ну, ждать буду!..» Он повесил трубку и, поспешно пройдя через столовую, вошел ко мне. Притворив дверь, он подошел совсем

близко, придвинул кресло и, сев напротив, поставил ноги мои между своими коленами и, наклоняясь, спросил:

— Что скажешь хорошего?

— В жизни хорошего вообще мало, — ответила я. Он засмеялся, и я увидела его белые хлебные зубы, точно у зверя.

— Это ты говоришь-то? Тебе ли мало хорошего-то?

Погладив меня по лицу, он прибавил:

— Послушь, што я тебе скажу, знашь ты стих церковный? От юности моя мнози борят мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой, знашь? — И говоря «знашь», он быстро сощурил глаза и, куда-то упрятав их, глянул беглым, скользким взглядом, вспыхнувшим и мгновенно погасшим:

— Очень хорошо знаю, — с недоумением ответила я.

— Нет, ты постой, постой, — перебил он меня, теснее сжимая мои колена, — я тебе все докажу, как есть все. Я говорю, до тридцати годов грешить можно, а тогда к Богу пора припадать, понимаешь? И как Богу научишься мысли-то отдавать, опять можешь низом грешить, — он сделал непристойный жест, — только тогда грех-то будет особый, но сам мя заступи и спаси, спасе мой, понимаешь?.. А грех-то? Всякий грех искупить можно, понимаешь? Покайся — и радость опять твоя. Знашь што, поговей на первой неделе, што придет. Хошь?

— Нет, не хочется, — сказала я.

Он всполошился и, близко наклоняя лицо, спросил, глядя мои плечи и руки:

— Постой, постой, кака тороплива, я тебе все докажу, а только словами, душка, не уверишь, делом надо, дело доказать, ходи почащи ко мне, полюби меня, тогда и поверишь, пчелка моя медова, потому, понимаешь? Перво любовь! От любимого свово все примешь, а чужой-то стану я тебе што хошь говорить, ты сюда примешь, сюда выпустишь, — касаясь губами обоих моих ушей, шепотом прибавил он. — Мало тебе кто чего толковал, небось так и ерзают круг тебя ерники-то...

Я невольно уклонилась от него, наседавшего уже слишком близко и липко. Он вдруг быстро поцеловал меня в уголок рта, но сделал это как-то так просто, что возмутиться было невозможно.

— Пошто их за собою водишь столько? — совсем сощурившись, шепнул он. — Ты ко мне ходи, брось их всех к..... м.....



а я тебе все докажу, жизнь всю разьясню. Ты сиди тут, а я письмо напишу, — пратецю просят.

Взяв перо, он стал писать, шепча вслух каждое слово и вода пером так, точно оно было привязано к чужой руке. Писал он криво, крупно, точно прилеплял буквы к бумаге. Писал долго, все время отвлекаясь, то гладил мои колена, то целовал меня. Наконец, я сказала:

— Не скоро же дождутся вашего письма.

Он заторопился:

— Не люблю писать, ох, не люблю. То ли дело слово живо, с ним дух от тебя идет, а то — што сажа! Чисто сажа. Вот гляди, только и написал: «Милой дорогой, ни аткажи исполни просьбу могут иму дать Григорий».

— А что же вы не пишете — кому письмо? — спросила я.

Он как-то растерянно улыбнулся:

— А зачем писать-то, сам знат, какому министру, а мне все одно, милой, дорогой и все, я все так пишу. Погоди меня еще, отдать надо письмо, а охота еще с тобою поговорить, а он, бедняга, ждет, — не соскучишься? — Он убежал.

Вернулся Распутин через несколько, минут и снова уселся, так же сжимая колени.

— Ну, что еще скажешь, радость? — Глаза его потемнели, и из них заструился яркий блеск; наклонившись ко мне, он шептал поспешно: — Теперь тебя не пуцу, раз пришла, не уйдешь, только приходи, понимаешь, а то я с тобою ничего не поделаю, приходи, ух ты моя ядрененькая, — он скрипнул зубами.

— Отчего не придти, — сказала я весело.

— А какой твой телефон? — и, достав через меня карандаш и лоскут бумаги, протянул мне: — Запиши-ка... — Пока я писала, он наклонился надо мной, сжал плечи и, жарко дыша в ухо, спросил:

— Ну, а еще што скажешь? — Я нетерпеливо стряхнула его руки.

— Я к вам за советом пришла, а что же мне вам говорить?

Он внимательно поглядел на меня.

— Ты, должно, нервна очень, — сказал он мне с расстановкой. — Что тебе не сидится спокойно?

— Я не люблю, когда меня трогают зря, — сказала я. Он засмеялся.

— Ой, кака недотрога.

Но, отклонившись, я спросила:

— Скажите лучше, вы знаете, где правда и где грех?

Он с любопытством посмотрел на меня.

— А ты знаешь?

— Нет, совсем не знаю.

Распутин усмехнулся какой-то непонятной усмешкой, и, наклонившись, быстро заговорил:

— Все оттого, што книг больно много читаешь, в них, в книгах-то, толк не всегда есть, говорю, душу твою они только мутят. Вот тоже знаешь, есть тут у меня читальница така одна, может знаешь Милицу Николавну, княгиню великую. Так она вот всю книжну мудрость прошла, а того, што искала, не нашла. Много мы с ней говорили, понимаешь? Большая она умница, а только покоя ей не хватат. Перво дело любовь, а потом покой. А коли будешь делать так-ту, то покоя ничего не получишь. Она тоже о грехе спрашиват, а не понимает его...

— А вы поняли? — спросила я. Он, прищурясь, взглянул мне в глаза.

— Хошь знать, так грех-то только тому, кто его ищет, а если скроз него идти, нет тебе греха. А коли хошь, я тебе грех покажу. Поговей на первой неделе, што будет, и приходи ко мне после причастия, когда рай-то у тебя в душе будет, тут вот грех я тебе и покажу, на ногах не устоишь.

— Не думаю, — с сомнением сказала я, но все-таки стало как-то жутко: раскрасневшееся лицо Распутина с узкими, ушедшими и выглядывающими глазами надвинулось на меня, и, странно подмигивая, как колдун, он шептал сладострастно расширившимся ртом:

— Хошь покажу?

Но вдруг глаза раскрылись, разошлись — морщины, расправились, и, взглянув на меня добрым, ласковым взглядом монахов, странничков, он спросил как-то неожиданно мягко:

— Ты что так глядишь на меня, душка? — и, прислонясь к голове, поцеловал меня бесстрастным монашеским лобзанием, тихонько прибавив: — Ах, ты, моя радость.

В полном недоумении глядела я на него: ведь не во сне же я видела это темное, горящее лицо с подстерегающим и крадущимся взглядом, слышала шепот: — «Хошь покажу?» — а теперь предо мною сидел простой немудрый мужичек, заросший темной бородой; его светлые выгоревшие глаза

уклончиво и пылливо смотрели на меня, и только в далекой глубине этих небольших глаз едва-едва мелькал и прятался другой — хитрый, беспутный.

Я встала: — Мне пора!

— Смотри, приходи, душка. — вставая и крепко обнимая меня, заговорил он. — Придешь? — шептал он, провожая меня до двери. — А скушно как станет, звони ко мне, я сейчас подойду. Когда придешь-то, дусинька?

— До субботы я занята, — сказала я. Он заторопился: — Ну, хорошо, хорошо, приходи в субботу, вечером, в 10. Хорошо, понимаешь?

— Отчего так поздно? — Он сощурился: — Ну, ране, приходи в половине, обязательно приходи, ждать буду, ты мне полюбила, приходи, придешь?

Это его манера — два раза повторять последнее слово.

— Приду. — Я ушла.

## ЖИВОЙ САМОВАР

На другой день в 12 часов я звонила у дверей Распутина. Мне открыла Дуня и крайне неприветливо сказала, что Григория Ефимовича дома нет. — «Этого быть не может, — возразила я. — Он мне вчера сказал придти к 12-ти». Подозрительно покосившись, она пустила в переднюю, где вся вешалка уже была завешена нарядными шубками, но, как и в первый раз, не дав мне раздеться, провела в пустую приемную. Я села к окну очень недовольная. Дуня несколько раз пробежала на звонки, потом пронесла кипящий медный самовар, сгибаясь под его тяжестью.

«Ну, и самовар, — подумала я, — точно у нас в деревне для черной избы, такой же огромный».

Дверь из передней отворилась, и поспешно вскочил Распутин. Он был в шелковой голубой рубашке, плисовых шароварах и светло начищенных сапогах.

— Пришла, душка? — заговорил он, подходя ко мне, и, обхватив за плечи, потянулся целовать. Я отвернула голову.

— Григорий Ефимович, вы свою прислугу, пожалуйста, предупреждайте, когда просите приходиться, — сердито сказала я. Распутин засуетился:

— Ну, не сердись, душка. Чево на ее тупорылу сердиться. Я ей, подлюке, говорил не раз, нельзя рыло воротить от

гостей, а седни точно не сказал, что придешь, ну, прости, дусенька, — добавил он, целуя и увлекая в переднюю.

— Идем к ним, — торопил он, помогая раздеваться. Но вдруг внимательно на меня поглядев, он сказал с расстановкой. — А може не надо, може лучше одна ходить будешь, а то вдруг сбежишь, на них наглядясь?

— Если убегу, так и безо всего этого убегу, — сказала я. — А только может быть неловко, я ведь им совсем не знакомая, вашим дамам.

Он нетерпеливо мотнул головой.

— Коли мне знакома, а им-то што? Ну, идем, душка. — И, крепко обняв меня, повел в столовую.

После этого раза я потом часто бывала на воскресных чаях Распутина и могу теперь сказать, что раут прощенного воскресения 1914 года был из блестящих.

Подойдя к столу, Распутин сказал:

— Ну, вот я ее вам привел, она мне полюбила...

Поздоровавшись общим поклоном, я села в пустое кресло на краю стола. Распутин сел рядом на председательском месте.

Мое смущение прошло, и я внимательно посмотрела на это необычайное общество.

Тут было человек десять, все дамы, среди них на противоположном конце от меня — одинокий молодой человек в жакете, нахмуренный и видимо чем-то озабоченный. Рядом с ним сидела, низко опустясь в кресле, молоденькая беременная дама в распускной кофточке, странно бледная; ее большие светлоголубые глаза с преданностью и обожанием смотрели на Распутина. Это были муж и жена П-с, и, как я поняла потом из нескольких случайных фраз, муж приехал только потому, что не желал пускать ее одну. Рядом с П-с сидела старая Г-на. Ее бледное, увядшее лицо очень мне понравилось своим спокойным благородством. Она вела себя как хозяйка, угощала всех и поддерживала общий разговор.

Около нее, по правую руку Распутина, сидела немолодая, но красивая дама в очень изящном туалете, генеральша Л-н. Рядом с молодым человеком сидела Ш-ва, полная, унылая дама в неуклюжем сером платье, — казалось, что она только что перестала плакать, но красные пятна еще не пропали над глазами и по щекам. Это была владетельница одной из известных частных гимназий, большой, давнишний друг Григория

Ефимовича. Ее чувства к нему, как я увидела потом, такие же, как у семьи Г-ных. Она видит в нем помощника, советника и друга и не делает ничего без его благословения. Но в то же время она, также как и старая Г-на, склонна была признавать его недостатки, из которых вольное обращение с женщинами занимало бесспорно первое место. Думаю, что о любовных отношениях между нею и Распутиным не может быть и речи.

Рядом с нею сидела высокая, полная дама неопределенных лет в глубоком элегантном трауре (больше у Распутина я ее не встречала никогда). Она также все время молчала.

Соседка ее меня очень заинтересовала: высокая, полная блондинка, одетая как-то слишком безвкусно и просто, некрасивая, но отделяющаяся от всех своим ярко малиновым, очень чувственным ртом и блестящими голубыми глазами, возбужденно горевшими.

Ее лицо было какое-то двойственное, обманное, заманивающее: такие бывают и у самоотверженных подвижниц и у жадно распутных женщин, отдающихся этому распутству так же спокойно и естественно, как другие берут ванну и ложатся спать в очень мягкую постель... Это была А.А.Вырубова. Сидевшая рядом с нею Муня Г-на больше, и дольше других поглядывала на меня своими кроткими, мигающими бледно-голубыми глазами. Я почему-то сразу решила, что это она, и когда Распутин позвал ее: «Мунька», рада была, что не ошиблась. Мне она очень понравилась: в светлосером легком шелке, в белой шапочке с фиалками, она казалась такой маленькой и тонкой; нерешительные движения и совсем тихий голос.

В каждом взгляде, в каждом слове было столько покорности, трогательной преданности и готовности полного подчинения духовной силе Распутина, что я невольно опять спросила себя мысленно: «Чем он это заслужил».

Поглядев на соседку Муни, я несколько секунд не отводила глаз от ее лица. Смуглое, почти желтоватое, с большими продолговатыми черными глазами, оно казалось неживым и в то же время тянуло к себе молчаливой тоской. Кожа лица была неестественно бледна, но тем ярче выделялись на ней тонкие губы красного рта. Она сидела спокойная и безучастная, глубоко запрятав руки в большую горностаевую муфту.

Остальные дамы были как-то слишком обычны и все под одно лицо, и на них я взглянула мельком.

Усадив меня, Распутин стал угощать, пододвигая то одно, то другое. На столе было наставлено множество всяких яств, но все это в крайнем беспорядке: рядом с роскошными тортами и вазами, полными фруктов, лежала горка мятных пряников и больших грубых баранок прямо на скатерти, варенье стояло в замаранных банках. Тут же лежали ломти черного хлеба, огурцы на серой глиняной тарелке. Перед Распутиным красовалась глубокая тарелка, с вареными яйцами и стояла бутылка кагоры. Около нее 3 чайных стакана.

— Ну, пейте чай, пейте, — сказал Распутин, придвигая тарелку с яйцами; немедленно руки всех потянулись к нему. Блеснули глаза.

— Отец, яичко...

Особенно ярко было выражение болезненно-нетерпеливого желания в глазах беременной дамы. Я взглянула на нее с недоумением, даже со страхом. Очень уж это все было дико.

Наклонившись над столом, Распутин набрал полную горсть яиц и стал оделять каждую, кладя по яйцу в протянутую ладонь. Раздав всем, он повернулся ко мне:

— Хошь яичко?

Я отказалась, сказав, что не хочу есть. Глаза всех с удивлением поглядели на меня и потупились.

— Ну, ладно, ладно, — проговорил поспешно Распутин, садясь рядом.

К нему подошла Вырубова и подала ему на ломте черного хлеба два соленых огурца. Перекрестясь, Распутин принялся за еду, откусывая попеременно то огурца, то хлеба. Ел он всегда руками, даже рыбу; тогда я еще не привыкла к его обыкновению — слегка отерев руки о скатерть, гладить ими свою соседку, и мне стало очень противно, когда он это проделал со мною. Отодвинувшись, я спрятала руки в муфту.

— Вот, — сказал Распутин, прожевывая огурец. — Вчера она у меня была, и мы с ей о вере много говорили, да вот убедить-то не могу ее...

— В чем? — спросила я.

— Как так в чем? — заторопился он. — Вона ты в церкву-то не ходишь — нешто так можно? Говорю тебе — сходи, причастись, а почему не идешь-то?

— А вы любите священников?

Распутин засмеялся.

— Ну, так, чтоб очень их любить, того не могу сказать, а все же есть там у них люди верящие. Без церкви не проживешь, она до всего доспевает, церква-то. Понимаешь?

— Ну, уж во всяком случае не такая, как сейчас, — сказала я.

В разговор вступилась старая Г-на.

— Вот хорошо, что вас потянуло к Григорию Ефимовичу, — заметила она, благожелательно на меня глядя. — Он может сказать вам многое, вот походите к нему недельку, и вам сразу все яснее станет.

— Ну, ну, заторопилась больно, — отозвался Распутин, — не мене трех лет повозишься, пока с ею доспеешь. Кремень она. А и я рад, што ко мне она пришла, потому от нее на сердце сладость и по ей знаю я, што человек-то, говорю, она хороша, настояща, потому когда кто ко мне придет и мне от того сладко, знаю всегда, што хороший, а коли на сердце скука, то значит подлюка... А с тобой поговорить-то охота у меня, — закончил Распутин, глядя меня по спине и плечу. — Все, говорю, хорошо, хорошо будет.

— В жизни хорошего мало, — сказала я.

— Вишь кака ты супротивна, — сокрушенно покачал головой Распутин, — говорю — плохого нету, только в церкву ходить надо да любить всех, ну, и хорошо, да вот еще прощать надо...

— В церкви-то этому не научишься, — быстро возразила я. — Услышим анафему опять скоро. Хорошо прощение, нечего сказать.

— Меня тоже анафема всегда смущает, Григорий Ефимович, — сказала одна из дам. — К чему она?

Распутин медленно проглотил чай и нехотя отозвался:

— Ну, анахтему мы эту пока оставим до другого раза, ну се...

В комнату вошла Мара. На этот раз она была в темно-красном платье с пышным, шелковым поясом того же цвета, ниже талии. Локоны были завиты тщательнее прежнего. Руки всех протянулись ей навстречу — «Мара, Марочка, здравствуй». Очень, было любопытно смотреть, как они Целовали Матрену Распутину. Потом посадили на почетное место.

— Какая погода сегодня хорошая, — сказала я, жмурясь от солнца, пришедшего на стол.

Распутин нагнулся, ко мне.

— Это солнышко для тебя нынче вышло, потому ты на добро шла, потому на душе хорошо — знаешь, так всегда бывает, кому вера есть, вот солнце тоже, когда глянет на дома-то, все люди особыми будто стали. Ходи, говорю, в церкву-то, — неожиданно закончил он туманное рассуждение свое, которому все внимали с благоговением.

— Разве все дело в церкви? — спросила я.

Отодвинув с горячностью стакан, Распутин заговорил поспешно:

— Да куда же ты без церкви пойдешь-то? Ты послушь, што я тебе скажу-то, понимаешь? Хочу я про Ольгу дуру сказать. Вот про ту, што сейчас тут явится: любила она Бога-то, понимаешь, и по совести жила и в церкву ходила, а только узка та путинка, вот и свихнулась, понимаешь? Очень мне тяжело теперь от Ольги-то, увидишь, кака она ряжена ходит, сука бешена, думат, подлюка, мне угождение сделать, понимаешь, как ее сатана-то оплел?

И точно в ответ на его слова в передней раздался сильный шум. Я повернулась к полуоткрытой двери, а на пороге ее уж колыhalось что-то невероятно яркое, широкое, розовато-белое, развевающееся, косматое, нелепое и высоким, звенящим голосом выпевало по-кликушечьи:

— Хри-и-и-сто-с Во-о-о-с-кре-се!

— Ну, вот тебе Ольга, радуйся, — хмуро сказал мне Распутин.

Затем вошедшая рухнула на пол около кресла Распутина и, колотясь о край его, продолжала свои выпевания. Мне помнится только жуткий миг, когда передо мной внизу замелькал какой-то звериный затылок, покрытый густой желтой шерстью.

Между тем, приподнявшись слегка, Лохтина протянула Распутину шоколадный торт, выкрикнув немного более по-человечески:

— Вот принесла я тебе, сверху беленькое, внутри черненькое...

Распутин, сидевший с момента ее появления отвернувшись и насупившись, повернулся к ней, взял торт и, сунув его на край стола, сказал скороговоркой:

— Ну, ладно, ну, будя, ну, хорошо, отстань, сатана!

Стремительно вскочив, Лохтина обняла сзади его голову и стала дико целовать, выкликая что-то захлебывающимся,

срывающимся голосом, уловить можно было иногда только отдельные слова:

— Дорогусенька... сосудик благодатный... бородусенька... волосеночки бесценные... мученице... алмазичек... боже-ствоце мое... бог мой... любосточек аленький!!!

Отчаянно отбиваясь, Распутин кричал полузадушенный.

— Отста-ань! Сатана — отстань, бес, сволочь, са-та-на! — далее следовал поток крепчайших непристойностей. Наконец, оторвав ее руки от своей шеи, он отбросил ее со всего размаху. Она полетела к стене, но сейчас же, вскочив и выпрямясь, исступленно закричала:

— Ну, бей! Бей... бей!!! — все выше и выше поднимала она голос, и такое неистовое блаженство было в этом крике, в этих протянутых худых руках, что становилось страшно.

Наклоняя голову, Ольга старалась поцеловать то место на груди, куда ее ударил Распутин, и, видя, что это невысказано, подскакивала и рычала, с отчаянием целуя воздух громкими, жадными поцелуями; прикладывая руки к груди, она целовала свои ладони...

Наконец, ее возбуждение немного улеглось. Отойдя к кушетке, она легла на нее и закрылась вуалями. Теперь я различала отдельные подробности ее невероятного наряда, делавшего ее похожей на шамана или на индийское божество. Вся она была завешена плиссированными юбками всевозможных цветов, — юбок, думаю, было не меньше десяти. От ее порывистых движений они раздувались и кружились вокруг нее, точно гигантские крылья, и развевались длинные вуали по обеим сторонам головы, перепутанные с яркими лентами; на голове ее был не парик, а, как я узнала потом от Муни Г-ой, сибирская волчья шапка Распутина. Поверх надетой на ней красной русской рубашки Распутина висели на ремнях мешочки, где лежали разные принадлежавшие ранее Распутину мелкие вещи и засохшие остатки его трапез, а также несколько пар его рукавиц. Кроме того, на шее Лохтиной, точно цепи, свисали разноцветные ряды четок, гремевшие при каждом ее движении. На руках ее были неуклюжие мужские перчатки, которые она потом сняла, а ноги были обуты в старые огромные сапоги, тоже принадлежавшие Распутину.

Лицо трудно было разглядеть под двойным венчиком вроде тех, которые кладут на покойников, и сквозь вуали виден

был только рот, тонкий, и изящный, но обезображенный несколькими выбитыми зубами.

— Бо-ог, бо-ог, си-и-ла тво-о-я!!! — нарушая общее молчание, выкрикнула Лохтина.

— Замолчишь ли ты, сатана ленточный? — сердито сказал Распутин. — Не искушай ты меня, бес, дура.

— Перестаньте бранить ее, — нетерпеливо сказала я.

Дамы, сидевшие за столом, по-прежнему молчали, только лица их как-то странно краснели, застилались глаза и дышали они учащенно и неровно.

— Ты чего за нее вступаешься? — с любопытством спросил меня Распутин.

— Мне ее жаль, — ответила я коротко.

— Я не понимаю, зачем вы раздражаете Григория Ефимовича, — неожиданно обратилась старая Г-на к Лохтиной. — Неужели вы не видите, как ему это неприятно?

В это же время Вырубова неожиданно встала из-за стола и, подойдя к Лохтиной, опустилась перед нею на колени, взяла ее руку и поцеловала:

— Догадалась наконец, — очень спокойно сказала Лохтина, но сейчас же за этим закричала с выкриканиями:

— Разве забы-ыла? Что ру-уку трогать не-ельзя? Це-елуй, це-е-пуй, а брать не сме-е-ей!

Замолчав так же внезапно, как она принималась кричать. Лохтина наклонила голову и, немного раздвинув вуали, стала вглядываться в сидевших за столом.

— Что-то я не вижу моей послушницы, где она, почему не подходит? На колени, на колени и ру-учку!

Муня встала и, в то время как Вырубова возвращалась на свое место, подошла к Лохтиной. Опустившись на колени, она с благоговением поцеловала ее руку.

— Ну, погоди, поганка, — сказал Распутин, — неужели же от тебя спасенья не будет мне, стерва? А вы у меня смотрите, — обратился он к Муне и Вырубовой. Попробуйте еще Ольге кланяться, вот как перед истинным говорю, на порог не пуцу, обех в одну дверь с ею вышвырну, окаянных.

Муня вернулась со слезами на глазах и сильно покраснев.

— Смотри ты у меня, дура немыта, — погрозил опять Распутин.

— Старая Г-на, вся покрываясь пятнами, спросила сдержанно:

— Григорий Ефимович, за что вы Мару сю так браните?

— Отчего она меня не слушат, на грех наводит? Руки Ольге целует, да еще служит ей, подлюке, а я ей разве не говорил: не смей Ольге давать ничего, ну, знашь, ведь ни ... она у меня не получит, бешена.

— Что же мне, голодной теперь сидеть? — закричала Лохтина и, внезапно перейдя на спокойный тон, продолжала просто: — Сегодня опять не обедала и вчера не ела: у меня денег нет, последние сегодня шоферу отдала, он меня хорошо, ух, хорошо вез! А теперь у меня ничего нет, ничего, ничего. Сегодня прощенное воскресенье, прощение просить придут, на чай надо давать, а у — меня нет, нет ничего, и я голодна, я два дня не ела, очень хочется поесть..., — как-то необыкновенно жалостно у нее вышло это — «очень хочется поесть».

— Так тебе и надо, стерва, — спокойно сказал Распутин.

Муня встала, налила тарелку ухи, только что поставленной перед Распутиным в какой-то странной миске, напоминавшей полоскательницу, и понесла ее Лохтиной.

Распутин обернулся:

— Ну, чего мне еще ждять, — воскликнул он, — коли эта сука проклята Муньку у меня отбирает. Господи, хоть бы кто ее, гадюку, убрал из города, в ноги бы ему поклонился.

Старая Г-на повернула к Муне взволнованное лицо:

— Маруся, что ты делаешь, зачем же сердись Григория Ефимовича?

— Ну, мама, мамочка, не надо, не говори так, — чуть слышно шепнула Муня.

— Разве ты не можешь сделать все, что захочешь! — воскликнула немедленно Лохтина и, приходя в неистовство она выкрикала все громче и отчаяннее: — Возьми, возьми сейчас перо, бу-ма-гу-у и пи-и-ши, пиши — и раз, два, три — я, полечу, полечу, фью, фью! Схва-атят, схва-тят, увезут, увезут, за тебя мученье! За те-е-бя побои, за те-е-бя канда-алы! А потом я вернусь, я к тебе, под крылышко, потому что ты мой, ты меня люб-и-шь, дорогусик мой, бородусенька моя, сила всевышняя... Ну, пиши, ну, пиши!!!

— А потом скажут, што я из города тебя выгнал и ты от меня с ума сошла. Не хочу этого, — сумрачно сказал Распутин. — И без того мне довольно зенки протерли тобою, сука, а што мне с такой бешеной, опостыла ты мне, гада.

Зазвонил телефон. Распутин подошел, начался обычный разговор:

— Ну, гости у меня, ну, чай пью, придешь вечером?.. и т.д.

Окончив разговор скорее обыкновенного, Распутин сел на свое место и стал есть деревянной ложкой уху, черпая ее из стоящей перед ним миски; некоторые дамы ели с ним, перед другими стояли тарелки. Дуня внесла огромную кастрюлю ухи и поставила ее на маленький стол у стены.

— Поешь ущицы-то, — сказал Распутин мне, но я поблагодарила и отказалась.

— Ну, вот, скажи ты мне, — продолжал он, обтирая усы рукою, — ты вот говоришь проклинать нельзя.

— Конечно нельзя, — согласилась я.

— Ну, ладно, хорошо, а как же мне Ольгу-то не клясть, когда она со мною тако делат? Что же мне остается сделать-то, коли по ее меня все выкрикать станут Христом.

— Не Христом, а богом, — закричала Лохтина, — ты бог живой саваоф, бог жи-и-вой!!!

— Ну вот, поговори с нею бешеной, — вздохнул Распутин.

— А вы бы ее спросили, почему она вас считает богом, — сказала я.

Распутин махнул рукою.

— Дусенька, да нешто я не спрашивал, сама коли хошь спроси, она тебе сейчас и скажет: за добры дела.

— Мало ли кто добрые дела делает, — заметила я, — разве за это можно считать богом?

— А вот испробуй сама, Христа ради, убедика-ка ее, дуру, — поспешно сказал Распутин. — Разве можно с ею говорить? Мало я ей доказать все хотел, што ни к чему все это?

— А она что отвечала?

Распутин махнул рукою.

— Я спрашивал: нешто бог с бабой спал, дети у бога бывают? А она мне на это одно ладит: не хитри, все одно не скроешься, я знаю, что ты бог саваоф.

— Бо-ог жи-вой, да будет во веки слава твоя, — запела Лохтина.

— Зачем нам еще бог, когда у нас есть один? — не очень смело спросила я ее, ожидая брани, но она только выкрикнула пронзительно:

— Все вы в Содоме сидите и не видите ничего, а я одна кричу и потом отлеживаюсь, но сердце у вас деревянное, и вы не слышите...

— Ох, што ни то я над ей сделаю, паскудой... — Распутин приподнялся на кресле, но сейчас же потянулись женские руки:

— Отец, успокойся!

Зазвонил телефон. Распутин пошел говорить, вошла Дуня, собрала тарелки и обратилась к Муне:

— Мунька, снеси на кухню.

Муניה быстро встала и покорно приняла грязную посуду.

— Что у вас за манера неприятная, Дуня, называть так, — порывисто сказала старая Г-на. — Могли бы кажется называть по имени-отчеству!

— Мамочка, оставь, мамочка, ну, не надо — тихо шепнула вернувшаяся Муניה.

— Бог любит труд, — пропела Лохтина.

Несколькими шагами, точно звериными прыжками, Распутин перебежал комнату и скрылся за дверь, закрыв ее вплотную. И сейчас же за нею раздался неистовый шум, что-то падало, разбивалось, доносились удары по чему-то мягкому, и все это покрывал неистовый рев и визг. Крик становился все отчаяннее, наконец, хлопнула дверь, в переднюю примчались тяжелые шаги, и в столовую вбежала Лохтина, растерзанная; с разорванными вуалями. Крича что-то нечленораздельное, она судорожно махала руками, в ту же минуту из спальни появился Распутин, красный, потный, тяжело дышащий, мимо него выюном шмыгнула Мара, державшая что-то в руке. Нырнув за спины дам, она, отдуваясь, уселась между Г-ой и Ш.

Увидав ее, Лохтина мгновенно подбежала к столу, но, не доходя до него, остановилась, грозя обеими руками. Ожесточаясь с каждым словом, она кричала неистово:

— Дрянь! дрянь! дрянь! гадюка!! Если бы ты любила отца, ты зна-ала бы, что ему нужна не такая гадость казенная! а бесценные, необыкновенные, единственные часы с ру-у--убинами! с алмаза-а-ми, изумрудами, яхонта-ми! Такие, как я на Невском видела, и они у него будут, будут: а эти дай! дай! дай! Их в ступке истолочь надо, в порошок, в порошок — и вон выбросить, в пе-пел, в пра-ах. А ты не любишь отца, гадина, тебе ли со мною тягаться...

Мара быстро переложила из одной руки в другую большие золотые часы Распутина с гербом — царский подарок — и спрятала их под юбку. Несколько минут в комнате слышались только крики, вопли, проклятия и непристойная ругань. А дамы продолжали сидеть, корректные и спокойные, и только лица их то бледнели слегка, то заливались румянцем...

Лохтина уступила первая: пяясь от наступавшего на нее Распутина, она дошла до кушетки, повалилась на нее и затихла в полном изнеможении. Отдуваясь, Распутин сел на свое место, отирая рукавом нежно-голубой своей рубашки ручьями стекавший по лицу пот.

— Ах, Маруся, зачем ты это, Маруся? — растерянно пролепетала старая Г-на. — Ну, зачем же ты сердишь Григория Ефимовича?

Немного побледнев, Муניה покачала своей маленькой головой и кротко сказала обычное:

— Ну, мамочка, не надо, не говори так, оставь.

Распутин не сказал ничего, и Муניה принялась раздавать всем рыбу со стоящего перед ней блюда.

— Поешь, хоть, рыбки-то, — ласково поглаживая меня, угощал Распутин. Но я опять отказалась. Сидевшая со мною рядом молодая дама наклонилась и шепнула, внимательно в меня вглядываясь:

— Ничего, потом привыкнете, я раньше совсем больна была от этого, только первый раз плохо, потом проходит.

К Распутину подошла Дуня и что-то шепнула ему, указывая глазами на спальню; он торопливо вышел и через переднюю прошел в спальню.

Лохтина быстро, насколько позволяли ей ее огромные сапоги, шмыгнула к столу, взяла стакан, из которого пил Распутин, долила в него кагору, затем взошла на кушетку и встала на ней, подняв руки к переднему углу, — несколько секунд простояла она так, закинув голову перед пустым углом, как жрица, выполняющая обряд. В комнате была какая-то напряженная, тяжело дышавшая, неприятная тишина. Наконец, Лохтина шевельнулась; приблизив к губам руку, медленно выпила вино и, упав навзничь на кушетку, осталась лежать так, раскинув руки и закрыв лицо. В комнате по-прежнему была тишина. Громко вздохнула старая Г-на и сказала, обращаясь к Муне:

— И зачем только ты меня привела сюда сегодня, Маруся, я опять буду совсем больна. Если бы вы только видели, — обратилась она ко мне, — что здесь было вчера утром, меня потом еле лавровишневыми каплями отпоили, а сегодня я опять вся дрожу, я решительно не могу оставаться равнодушной при виде всего этого.

— Мама, ну, перестань, мамочка, — с тоской прошептала Муניה.

— Зачем Ольга Владимировна так делает? — спросила я Муню.

Ее мигающие глаза посмотрели куда-то далеко, и с неизъяснимым чувством благоговейного удивления она ответила тихо и радостно:

— Ее надо понимать.

— Ну, нет, — быстро возразила старая Г-на. — Это уж я совершенно отказываюсь, да вряд ли это и возможно, — и, указывая на ярко-красные пятна на своих щеках, она добавила с некоторой горечью:

— Вот посмотрите, на что я похожа, я не крашусь, не приукрашиваюсь, это все меня невероятно, волнует, — и, снова обращаясь ко мне, она добавила:

— Уже четыре года знаю я Григория Ефимовича и люблю его безгранично, я и Ольгу Владимировну люблю, но только мне совершенно непонятно ее поведение, и я решительно не могу одобрить того, что она делает.

За столом произошло движение, повернувшись, я увидела беременную даму, медленно идущую по направлению к кушетке. Протянув вперед руки, она шла, как сомнамбула, ее широко раскрытые глаза неподвижно смотрели на Лохтину, а пересохшие губы шевелились. Но она не дошла... Быстро встав, муж несколькими шагами нагнал ее на середине комнаты и, взяв под руку, почти силой увел ее, упирающуюся и сопротивляющуюся, в переднюю. Разговор за столом, начавший было налаживаться вокруг темы проповеди, слышанной сегодня утром, внезапно оборвался, и снова что-то молчаливое поплыло в комнате. Дальше объективное наблюдение продолжаться не могло: беременная дама только выразила действием то, что понимали давно все, — надо было или уходить, или кричать, биться, ломая все, что подвернется под руку.

Я нетерпеливо ждала Распутина, чтобы проститься и уйти. В глазах был какой-то туман, и единственно чего хотелось — это уйти, как можно скорее... Из передней выскочил Распутин. Я встала, поклонилась остающимся и обратилась к нему:

— Я ухожу, Григорий Ефимович, до свидания!

Поспешно подойдя ко мне, он обхватил за плечи и, пристально заглянув в глаза, спросил озабоченно:

— Уходишь, душка, ну, а когда же придешь, очень полюбила ты мне.

— Когда захотите видеть, позвоните, мой телефон у вас записан, — начала я, но меня перебил дикий смех. Корчась на кушетке, Лохтина неистово кричала:

— До-чее-го я до-жи-ла-а-а: он, бог сава-оф, звонит девчонке по телефону!!...

— Ну, хватит, — решила я, почти выбежав в переднюю. Распутин поспешил за мною и, обхватив, тесно прижал к себе, спрашивая тревожно:

— Ну, што, одно дурное насмотрела тут или что хорошее нашла?

— Не знаю, — ответила; я, освобождаясь от него. Но, не отпуская, он шептал в ухо:

—А еще-то придешь али нет?

Из спальни в переднюю вышли совсем уже одетые к выходу Вырубова и в. к. Подойдя к Распутину, они протянули ему лица.

— Отец, до свидания.

— Ну, прощайте, прощайте, — говорил Р., крестя их обеих и наспех целуя.

Вырубова взяла его руку и с тихим стоном приникла к ней разгоряченным лицом, целуя с бесконечной преданностью. Глаза ее неестественно блестели, она вздрагивала.

Я поспешно открыла входную дверь, чуть не бегом пустилась с лестницы и, только очутившись на улице, вздохнула всей грудью.



## КАКИМ ВИДЕЛ МИР АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО?

С чего это вдруг мы решили обратиться к Александру Родченко? И не только мы. В чем-то журнал следует веянию времени, вкусам критики и поклонников искусства, ибо и сегодня, в начале третьего тысячелетия, не угасает интерес к Родченко, художнику, о котором, казалось, уже все сказано и который давно занял свое место среди классиков мирового искусства. Пусть посвященные ему выставки и вернисажи много раз обошли музеи мира, включая даже Нью-Йоркский модернарт — искусство Родченко продолжает жить (хотя спустя тридцать пять лет со дня его смерти оно вполне могло порости травой забвения).

Возможно все дело в том, что в живописи все более просыпается интерес к форме — ведь Родченко уже при жизни считался крупнейшим представителем футуризма, кубизма и конструктивизма. Вспомним и о том, сколь поразителен не знающий равных спектр его творчества — от изящной и великолепно исполненной живописи до причудливых футуристических набросков и фоторепортажей, создаваемых по горячим следам жизни.

Наследие Родченко составляет сотни работ, сам перечень которых мог бы занять тома. И все же — читатель, встречая его работы рядом с гениальными холстами Малевича, Кандинского или Татлина, — вполне может задуматься над проблемой, которую условно можно обозначить как «тема художника». Одно дело — «Черный квадрат» Малевича, другое «Столовая фабрики «Богатырь». Конечно, мне могут возразить, что в искусстве главное не то, что делает художник, а то, как он творит. На первый взгляд, это расхожий трюизм, известный любому пригостишке: глав-

ное это уровень, главное, как работает живописец... И все же... все же — слишком полярны Родченко и, скажем, упомянутый выше Малевич, Кандинский, Пикассо или тот же Ларионов, если сравнивать последних с Александром Родченко.

Пишу это под впечатлением состоявшейся не так давно, в музее Фернанда Леже очередной выставки работ Родченко. Что мы находим в ее экспозиции? Каковы темы, разрабатываемые художником? Прежде всего Родченко интересуется все, жизнь во всем ее многообразии. И Беломорско-балтийский канал? Да, и Беломорско-балтийский канал, давно ассоциируемый со сталинским Гулагом. И тут же «Женщина на металлургическом заводе» — труженица сталинских пятилеток, и «Юный пионер» (уж не прототип ли знаменитого Павлика Морозова?). И давно набивший оскомину левовский цикл, посвященный «лучшему, талантливейшему поэту нашей советской эпохи», и рядом мудро сощурившийся Ильич — одно из незабываемых творений «Нового лефа». Но странное дело: перечисляя темы Александра Родченко, мы странное дело не более чем джентльменский набор из бесценной шкатулки соцреализма... Что же тогда сделало Родченко тем, кем он стал? — Не стал же, например, каким-нибудь там Сергеем Герасимовым? В размышлениях на эту тему я могу лишь повторить уже высказанный и не говорящий ничего ни уму, ни сердцу штамп — о том, что всего важнее избранная художником форма. Форма-то формой, но откуда она все же берется? Если продолжить эту цепь трюизмов, то берется форма из видения им мира, а откуда это самое видение? Поставим, однако, точку. Не время ли признать старую как мир истину, что видение художника — оно от Бога! Так вот, Александр Родченко — достаточно взглянуть на любую его работу («Беломорско-балтийский канал» или «Осип Максимович Брик», в таинственном очке которого мы читаем три буквы «ЛЕФ», или «Маяковский со щенком в руках», или «Портрет жены», да и множество других), чтобы понять, что перед нами не просто мастеровитый и многогранный художник, а художник... милостью Божьей, который способен видеть мир так, как его не видят простые смертные. Вот и все. В этом феномен Родченко. И в этом, верно, и заключена сила его всепронзающего ока. И, кажется, используемый им жанр, как и избранная тема, — это, вообще, разговор не о том, как, мало важно и то, карандашный ли это набросок, плакат ли, портрет ли,

коллаж или фоторепортаж, — все это также не очень существенно, как и то, например, что именно художник нам предлагает — фото ли матери, Ольги Евдокимовой (одна из известнейших его работ!) или портрет Лили Брик, или жены своей Варвары Степановны, или своей современницы — красавицы Эстер Чоб... Или вспомним «Террасу», на которой мы видим вздымаемые вверх ноги спортсменов или «Маяковский в шляпе», или «Женщины» (Лиля Брик, Раиса Кушнер и Лиля Краснощекова) — в конце концов, мы любимся не объектами, избранными художником, не жанром, в котором он выступает, мы любимся предлагаемой им эстетикой, его видением и пониманием прекрасного.

Когда окидываешь взором и пытаешься оценить сделанное в искусстве Александром Родченко, то невольно вспоминаешь слова великого поэта и остролова Велемира Хлебникова, однажды сказавшего, что среди многих других в жизни ему встречались два типа людей — дворяне и «творяне». Творяне — это люди, которые обладают даром работать и создавать вещи особым образом. Не является ли в этом смысле Александр Родченко художником особого рода — истинным творянином, оставившим после себя неизгладимый след в искусстве?..

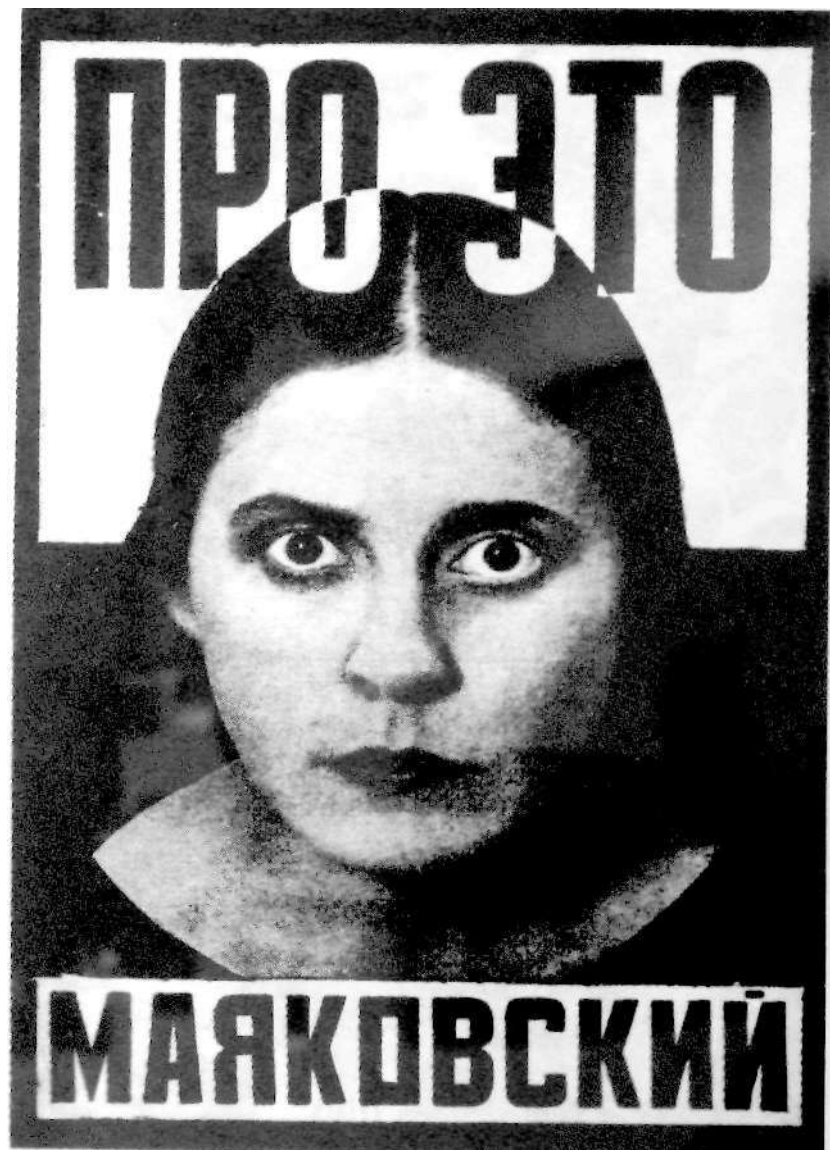
*В.БОРИСОВ*



Киноглаз



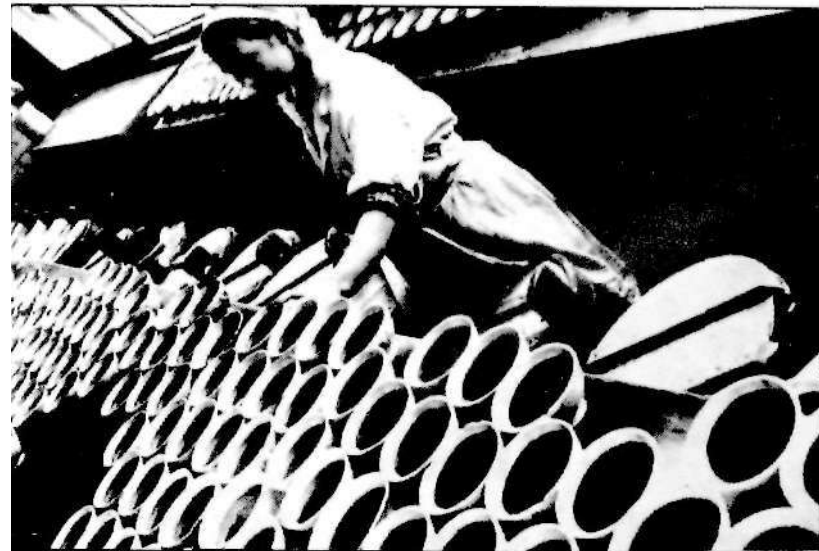
Мать художника



Про это



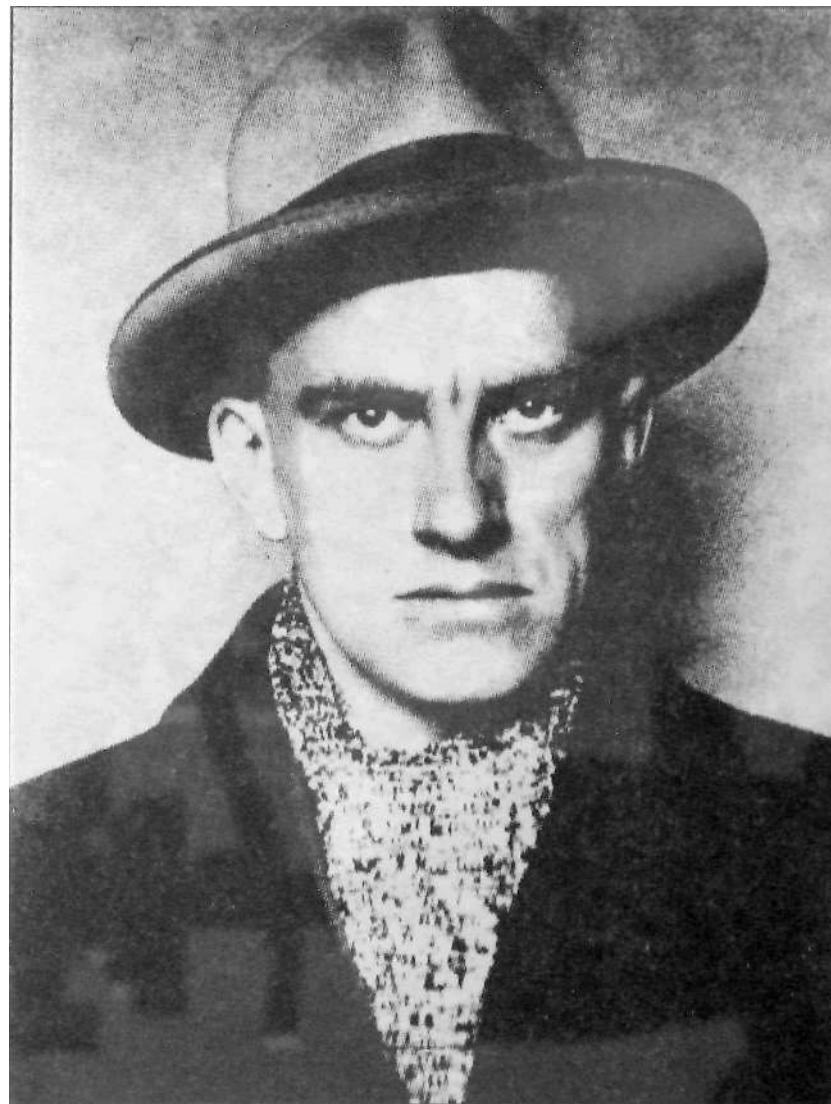
Портреты Лили Брик, Раисы Кучер, Лили Краснощековой



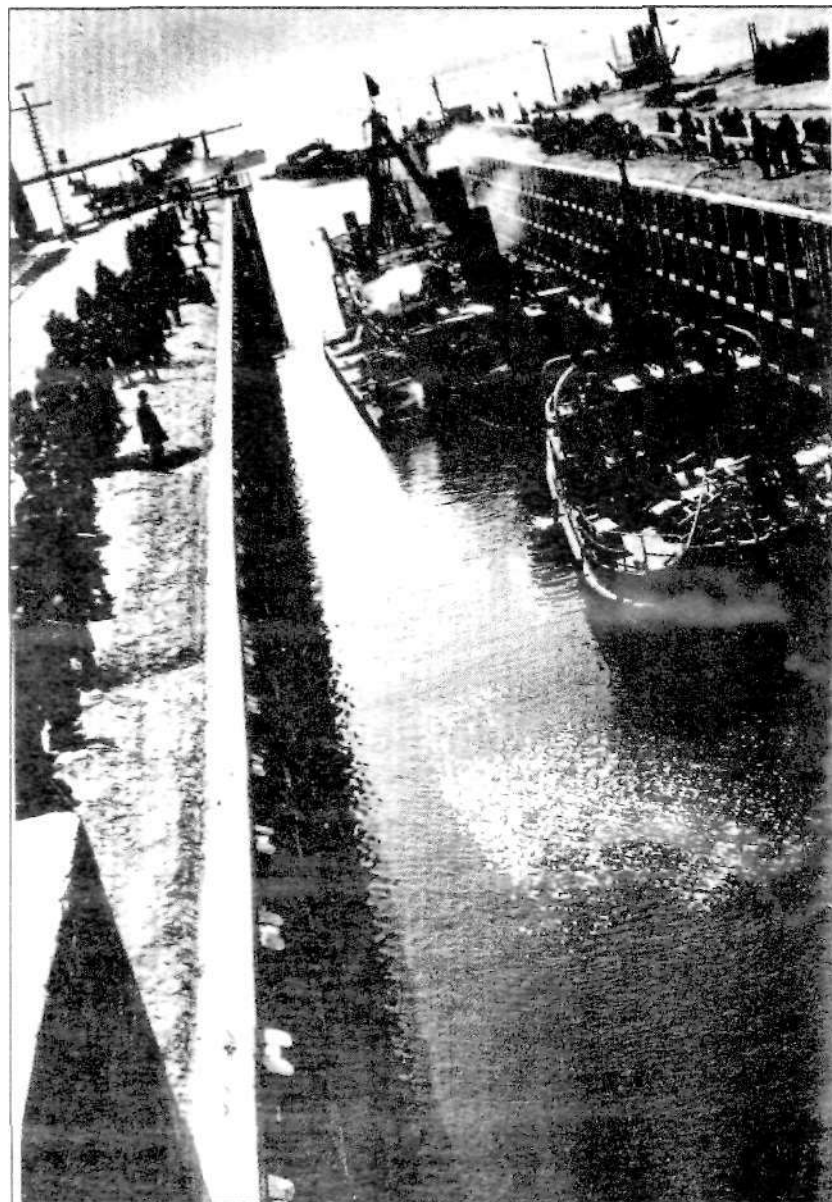
Столовая завода «Богатырь»



Осип Максимович Брик



Портрет Владимира Маяковского



Беломорско-балтийский канал

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Юрий ФУР (Юрий СОЛНЦЕВ).** Родился в Ленинграде, в 1937 году. Окончил Морское Училище им. Адмирала Макарова. Работал на судах дальнего плавания и в электронной промышленности. С 1988 г. — в Сан-Франциско. Публикации: «Куда падают листья», повесть, Журнал ЗВЕЗДА, №10 1998, «Иностранцы», рассказы, повесть, издательство «Эрмитаж», 1998. Рассказы и очерки в американских русскоязычных газетах.

**Виктория ПЛATOVA (БЕЛОМЛИНСКАЯ).** Родилась и жила в Ленинграде. Прозу пишет с 70-х годов, но в бывшем Союзе, несмотря на высокую оценку Юрия Домбровского, Александра Володина, Юрия Нагибина, смогла опубликовать только один рассказ в журнале «Нева». В 1989 году повесть «Неяркая жизнь Сани Корнилова» была напечатана в «Континенте». В 89-м году эмигрировала с семьей в США. Живет и работает в Нью-Йорке. В Америке в издательстве «Эрмитаж» вышли две книги: «Неяркая жизнь Сани Корнилова» и «Роальд и Флора». Последняя в 1994 году была названа в числе четырех финалистов Букеровской премии.

После эмиграции публиковалась в российских журналах: «Звезда», «Литературная учеба», в сборнике эмигрантской прозы — «Город и мир», в альманахе «Петрополь». В США печатается в газете «Новое русское слово» и в журнале «Время и мы» (повести «Вольфас», «Де-факто», «Обитатели»). Повесть «Берег», напечатанная в №141 журнала «Время и мы» была номинирована на соискание премии «Букер-99» издателем журнала Виктором Перельманом и названа в числе шести финалистов.

**Валерий ВЫСОЦКИЙ,** родился в 1936 году, в России, в Москве. Врач, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник. Работающий пенсионер (с 1996 г.). 17 лет занимался горным туризмом, главным образом в «Припамирье» и на Памире.

**Лада НЕГРУЛЬ.** Родилась и живет в Москве. Закончила Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии (ВГИК). Актриса, режиссер. Автор книг «И вот, я с вами» (проза о священнике о. Александре Мене) и «В чужом доме забытая свеча» (сборник стихов). Пишет киносценарии. Работает в театре и кино.

Владимир ДОБИН — известный израильский русский поэт, член ПЕН-клуба. Автор четырех поэтических книг, изданных в Москве и Тель-Авиве, а также многочисленных публикаций в журналах, альманахах, коллективных сборниках и газетах Израиля, России и США. Стихи Владимира Добина вошли в «Антологию русского верлибра» (Москва, 1991 г.), переведены на иврит. Член редколлегии журнала «Время и мы». Главный редактор газеты «Новости недели» (Тель-Авив).

Виктор ПЕРЕЛЬМАН. Издатель и главный редактор журнала «Время и мы». Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 годы был обозревателем израильской газеты «Аль Гамишмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы». В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинутая Россия», (удостоенной второй премии Иерусалимского университета), «Грехопадение Цезаря» и «Театр абсурда».

Лев НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазила Искандера. В 1972 году эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название «Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией». Отрывки из этой книги печатались в журнале «Время и мы», там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова «Что знает западная разведка о России», «Посредственность и спасение Запада», «Запад выходит напрямую к гибели», «Где так вольно дышит человек» и другие. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в Протоколы Конгресса.

Виктор ЛЕВЕНШТЕЙН. Родился в 1922 году в Николаеве. В 1944 году был арестован в Москве за участие в «антисоветской молодежной террористической группе». Провел 5 лет в лагерях и 4,5 года в ссылке. В 1957 году закончил Московский горный институт, а в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию. Работал в институте подземного и шахтного машиностроения. В 1980 году эмигрировал в США. В Америке с 1980 до 1999 года работал конструктором подземных горных машин в фирме «Джеффри» в Коламбусе, штат Охайо. 3 американских патента и машины, работающие на шахтах Кентакки, Вест Вирджинии, Пенсильвании, Англии, Австралии и Южной Африки. В 1999 году вышел на пенсию. Повесть «Метростроевские «диверсанты» — первая литературная публикация.

## НЕТ, НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ АРИСТОКРАТЫ ДУХА

*Прощание с Сергеем Ивановым*

Я был далеко в Европе, когда Сергей ушел от нас, не выдержав продолжавшейся без малого 10 лет борьбы за жизнь. И вот теперь, склонившись над компьютером, опять же за тысячи верст от Америки, пытаюсь я вспомнить день нашей первой встречи.

Когда же это было? В каком веке и десятилетии? Ах, не травите душу мыслями о мгновенно прожитой жизни. Так, вот, было это в году 46, когда ввела его к нам, в 9 класс «Б» 170 московской школы, наша маленькая, похожая на вороненка, литераторша Лидия Герасимовна: «Прошу, друзья, любить и жаловать, сказала она, наш новый ученик Сережа Иванов». Ну вот, собственно и все: новый ученик — эдакое прелестное, черноглазое создание в зеленом кительке и черных отглаженных брючках, — лукаво обглядывал всех нас по очереди и, положительно не зная куда деть руки, переминался с ноги на ногу. Кто тогда знал, что его ждет в жизни?.. Что в нашем взрослом будущем ждало всех нас? Однажды он затасил меня к себе в полутемную, труппонную квартиру, то ли на Никольской, то ли где-то подле Китай-города — из тех, что в те годы во множестве разваливались в самом центре Москвы и, усадив меня на старый бабушкин диван, торжественно сообщил: «Вот здесь, друг мой, я живу со своей мамой. Только не вздумай спрашивать про отца. Отца, друг мой, у меня нету. Да если бы и был, то теперь уж и точно его нету...»

Кто мог тогда знать, что пройдет более полувека, и напечатает он в журнале «Время и мы» свои написанные от руки воспоминания об отце, никаком ни Иванове, а человеке, носящем совсем другую фамилию, тоже журналисте, безвинно сложившем голову среди миллионов столь же безвестных сталинских узников.

Друзьями мы в той жизни так и не стали, а наши случайные встречи на улицах превращались в разные веселые хепенинги, на которые Сережа был великим мастером. Однажды, вспоминается мне, встретились мы у выхода из метро «Площадь революции». «Ну, как поживаем, друг мой, ничего спасибо? — спросил он. — А я вот такую чудную книжечку выискал. Читал? Ах, Боже! Какая прелесть. Прочти сей же час. Ставить их только некуда! Шкафов не хватает. Во, брат, какая трагедия!»

На чем тогда кончили, не помню, но не прошло и часу — выхожу из троллейбуса возле здания «Известий» и нате, пожалуйста: снова Иванов! Подмигнув мне и, величаво кивнув головой, он горделиво прошествовал мимо меня в редакцию. Но ведь и это не все. Зажглись уже фонари. Сворачиваю с Петровского бульвара в свой третий Колобовский и — о чудо-чудес! — снова собственной персоной Иванов. «Ну и надоел же ты мне, дружок! — в сердцах восклицает он, я уж вон сигнальный экземпляр из типографии ташу, а ты все за мной шпионишь!»

Позже, в Нью-Йорке, мы про эту «Илиаду» не раз вспоминали. Спросите, с чего это вдруг Сережа оказался в Нью-Йорке? Прежде всего ни по каким таким диссидентским причинам, хотя в те времена вряд ли можно было найти диссидента, кто бы не слышал про Сережину деятельность по сбору денег для отъезжающих. Но дело было и ни в диссидентстве и ни в деньгах. Только в Нью-Йорке я

понял, как ничтожно мало знал этого человека. Он писал и издавал научпоповские книги, ненавидел всякие присутственные места и до полудня не появляясь на людях, вел откровенно барский образ жизни. Он обожал женщин, и дамы обожали его. Ах, кажется, опять я не о том! Как же мне выразить главное в его характере? Уж очень боязно одним красивым словом опошлить эту его необыкновенную, аристократическую натуру, его тайную страсть к литературе и книгам, к Консерватории, к Эрмитажу и Третьяковке. А на Западе были еще никогда не виденные им Эври Фишер Холл, Метрополитен музей и опера, были Прадо, Собор Парижской Богоматери, Лувр...

Размышляя над его судьбой, я думаю, что и на Западе он оказался не от страха перед КГБ и уж, конечно, не в погоне за сладкой жизнью и даже не за свободой, нет, нет — он жил своей особой, внутренней свободой — как можно больше прочесть, увидеть, исходить, узнать, изведать. Он сотрудничал со многими нью-йоркскими изданиями, но иногда мне казалось, что он просто отписывался в «Новом Русском слове» или там на радио «Либерти». Он никогда не ходил в рестораны и не собирался менять свою более чем скромную квартиру в окраинном районе Квинса. Деньги ему нужны были на другое, отчаянно нужны на его высшие цели и каким-то диковинными путями он их всегда добывал. И вот на пути к этим его высшим целям, ради которых он собственно и поселился в Нью-Йорке, и стали его болезни. Как это легко говорится — «встали на его пути болезни» и как все это мучительно происходило в жизни, с самого первого дня, когда врачи Нью-Йоркского госпиталя Бельвью — пристанища для всех неприкаянных, вынесли свой первый приговор. Думаю, что никакие власти, никакой КГБ не могли бы его преследовать с такой неотвратимой жестокостью, с какой его преследовали болезни — давно уже был потерян счет больницам и операциям, (разве только его жена Лиля, несшая до последнего эту горестную ношу, знала, чего стоила его жизнь). Но стоило ему лишь привстать на ноги, да хоть на месяц-два, как тотчас оба они — и Сережа и Лиля бросались складывать чемоданы и отправлялись в Италию, в Париж, в Бельгию... «Человек — говорил он мне незадолго до смерти — должен чем-то обязательно жить. Кто-то мечтает написать еще одну «Анну Каренину», кто-то отправиться на другие планеты, а я плебей? О чем мечтаю я? Стыдно даже сознаться! Моя высшая мечта — получить, наконец, Эс-эс-сай и, заделавшись паразитом общества, отвалить на Канарские острова, слышал про Лас Пальмас и Домик Колумба? Где он останавливался на своем долгом пути в Новый Свет». Это же ведь его, Сережины, слова — дай Боже силы объехать все музеи мира, все до одного. Ах, вожделенные Канары и Лас Пальмас с фрегатами Колумба — золотая мечта его жизни!

По-разному уходят от нас современники и друзья. Кому-то, как, например, воспетому Маяковским знаменитому товарищу Нетте, человеку и пароходу, дано было зажечь второй жизнью во множестве хрестоматий и букварей. И сколько на земле было таких великих и звонких! Но, не о них я думаю сейчас, а о таких, как мой друг Сережа Иванов, тихо скончавшийся в своей тихой квартирке в «Астории». Ему-то точно не светят анналы истории. Да и на что ему, интеллигенту и аристократу духа, эти анналы?

Последний раз я видел его примерно за две недели до смерти. Седой и умиротворенный, он слабо помахал нам с женой ладошкой и устало закрыл глаза. Кто знает, о чем он думал в последние минуты жизни? Может, и вправду летел на гигантском Боинге авиакомпании «Сабена» в бесконечно далекий Лас Пальмас, предвкушая встречу с фрегатами Колумба?

## Виктор ПЕРЕЛЬМАН

# ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимиемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

НЬЮ-ЙОРК; ПРАВИТЕЛЬСТВО В ИЗГНАНИИ; ШИНАУ; ИЗРАИЛЬ; БЕЙТ-БРОДЕЦКИЙ; РУВЕН ВЕРИТАС И ДРУГИЕ; СНОВА НЬЮ-ЙОРК; «СВОБОДНЫЙ МИР»; Мой ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ; ДЯДЯ СОЛ; ПОД ЗНОЙНЫМ СОЛНЦЕМ ТЕЛЬ-АВИВА; ЧТО НУЖНО БЕДНОМУ ЕВРЕЮ?; ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИЛ.

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

ИНЖЕНЕР СЭМ ЖИТНИЦКИЙ; «ОПЛОТ ИЗРАИЛЯ»; МЫ ЖИЛИ... МЫ ЖДАЛИ; СУДЬБОНОСНЫЙ ДЕНЬ; САГА О ЧЕРЕМУХЕ.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой АТЛАНТИК-СИТИ; ЛОРД ШАЦМАН И ЕГО ПЕРСОНАЛ; ПРО МЕЙЕРХОЛЬДА И ВОРОШИЛОВА; СТРАННАЯ ШТУКА — ЖИЗНЬ; ЛЕФОРТОВСКАЯ ОДИССЕЯ, ЛЕНИН-БЛАНК И НАША ЭМИГРАЦИЯ; МАТЬ И МАЧЕХА; ПИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ; ОБЛАКА ПЛЫВУТ, ОБЛАКА.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

«TIME AND WE», 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, Usa  
Tel. (201) 592-6155

Цена книги 10\$  
В книге 254 стр.



**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**  
**«УЗНИК РОССИИ»**

По следам неизвестного Пушкина

*Легальные и тайные попытки Александра Сергеевича Пушкина выбраться за границу сразу после окончания Лицея в качестве дипломата и путешественника, а затем из Кишиневской и Одесской ссылки (1817-1824). Решение бежать в Константинополь, а оттуда в Италию с помощью контрабандистов. Новый взгляд на известные факты психологической биографии поэта.*

Antiquary Publisher, 1992, 254 с, \$25  
 594 Chestnut Ridge Rd. Orange, CT 06477

**«ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»**

По следам неизвестного Пушкина

*Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1812-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа — подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзрум с целью нелегально перейти турецкую границу.*

Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$15  
 P.O.Box 410 Tenafly, NJ 07670

*На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.*

## ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 2001

### Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки журнала и стоимость журнала в розничной продаже определяется договором между Сторонами. В России оплата производится в рублях.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в адрес корпорации "Время и мы" по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey  
 07605, USA

Тел.: (201) 592-61-55

В России стоимость подписки устанавливается по соглашению сторон

### Подписной талон

Фамилия.....  
 Имя.....  
 Адрес.....

Подписной период.....  
 Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы"  
 на.....год.  
 Высылать с номера..... Журнал высылается обычной (авиа)  
 почтой по адресу:

Подпись.....

*Редакция оставляет за собой право предоставлять в отдельных случаях скидки в размере до 50 % от стоимости подписки.*

*Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.*

*Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.*

**MAIN OFFICE**

**409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605**

**USA (201) 592-61-55**

**На первой странице обложки:  
работа Вагрича Бахчаняна**

**На четвертой странице обложки:  
работа Александра Родченко**

Верстка «Новое время» тел. 229-23-26  
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»  
121099, Москва, Шубинский пер., 6.  
Заказ № 1523

